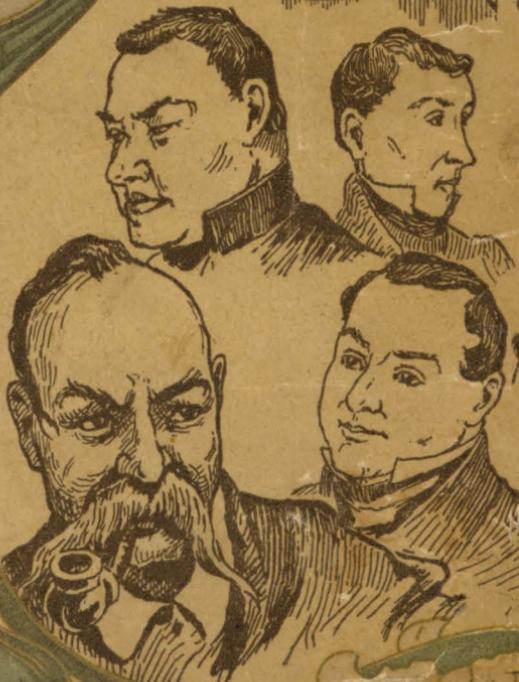


АВЕНАРІУСЪ.

ШКОЛА ЖИЗНИ  
ВЕЛИКАГО ЮМОРИСТА





# **УЧЕНИЧЕСКИЕ ГОДЫ ГОГОЛЯ.**

**БИОГРАФИЧЕСКАЯ ТРИЛОГИЯ**

**В. П. А венаріуса.**

**I. Гоголь - гимназистъ.**

**II. Гоголь - студентъ.**

**III. Школа жизни великаго юмориста.**



# ШКОЛА ЖИЗНИ

ВЕЛИКАГО ЮМОРИСТА.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ ПОВѢСТЬ.

---

Съ 15 портретами и рисунками.

—♦ ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ. ♦—

Печатано безъ измѣненій съ первого изданія, одобреніаго Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар. Просвѣщенія для ученическихъ библіотекъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній, допущеніаго въ бесплатныя народныя читальни и библіотеки и рекомендованіаго Ученымъ Комитетомъ по учрежденіямъ Императрицы Маріи для ученическ. библіотекъ средняго и старшаго возраста среднихъ учебн. заведеній Вѣдомства.

---

Цѣна 1 р. 50 к., въ папкѣ 1 р. 75 к., въ переплѣтѣ 2 р. 25 к.

---

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Издание Книжнаго Магазина П. В. Луковникова.  
Лештуковъ переулокъ, № 2.

---

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 3 Января 1904 года.

---



Николай Васильевичъ  
ГОГОЛЬ.



## О ГЛАВЛЕНИЕ.

	стр.
Глава I. Съ заоблачныхъ высей на четвертый этажъ . . . . .	7
» II. Первый день новичковъ въ школѣ жизни. . . . .	17
» III. Иванъ-царевичъ на распутьѣ . . . . .	28
» IV. Козырнуль . . . . .	40
» V. Ауто-да-фе . . . . .	52
» VI. Безъ оглядки . . . . .	65
» VII. На морѣ на океанѣ . . . . .	74
» VIII. На островѣ на Буйнѣ . . . . .	82
» IX. Въ хомутѣ . . . . .	92
» X. Первая ласточка . . . . .	108
» XI. «Бисаврюкъ» . . . . .	124
» XII. Отъ Капитолія до Тарпейской скалы . . . . .	137
» XIII. Какъ иногда одна ласточка дѣлаетъ весну . . . . .	153
» XIV. У двухъ отцовъ литературы . . . . .	165
» XV. Подъ скальпелемъ критики . . . . .	173
» XVI. Басня о сапожникѣ и пирожникѣ . . . . .	182
» XVII. Пасичникъ на Олимпѣ. . . . .	195
» XVIII. Donna Sol . . . . .	207
» XIX. Двѣ писательскія идилліи . . . . .	213
» XX. Грозная гостья . . . . .	223
» XXI. Въ специальному классѣ школы жизни . . . . .	231
» XXII. Дипломъ на «мастера своего дѣла» . . . . .	242
Эпилогъ . . . . .	253
Перечень главнѣйшихъ источниковъ, послужившихъ матеріаломъ для трилогіи «Ученические годы Гоголя» . . . . .	261

## Р и с у н к и.

стр.

I. Н. В. Гоголь . . . . .	1
II. Книжный магазинъ Смирдина . . . . .	54
III. Н. Я. Прокоповичъ . . . . .	58
IV. П. П. Свининъ . . . . .	116
V. Н. И. Гречъ . . . . .	130
VI. Графъ Л. А. Перовскій. . . . .	154
VII. В. И. Панаевъ . . . . .	160
VIII. В. А. Жуковскій. . . . .	168
IX. П. А. Плетневъ . . . . .	172
Х. И. А. Крыловъ, А. С. Пушкинъ, В. А. Жуковскій и Н. И. Гнѣдичъ . . . . .	198
XI. А. О. Россетъ (впослѣдствіи Смирнова) . . . . .	208
XII. Н. Н. Пушкина . . . . .	215
XIII. Обѣдъ у Смирдина . . . . .	242
XIV. «Скора Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ» .	244
XV. Могила Н. В. Гоголя . . . . .	260





## ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Съ заоблачныхъ высей на четвертый этажъ.

**А**киме!

— Эг!

— Не видать еще заставы?

— Не видать, панычу.

Первый голосъ исходилъ изъ глубины почтовой кибитки; второй отзывался съ облучка и принадлежалъ сидѣвшему рядомъ съ ямщикомъ малому изъ хохловъ: національность его обличалась какъ характеристичнымъ выговоромъ уроженца Украины, такъ и висячими колбасиками усовъ, заиндивѣвшихъ отъ декабрьскаго мороза и придававшихъ нестарому еще хлопцу видъ сивоусаго казака.

Нетерпѣливый паничъ ему, однако, не повѣрилъ. Приподнявъ рукою край опущенного рогожнаго верха кибитки, онъ высунулъ оттуда свой длинный, загнутый крючкомъ носъ. Въ самомъ дѣлѣ, впереди тянулось безконечной лентой царскосельское шоссе съ двумя рядами опущенныхъ снѣгомъ березъ и терялось вдали въ полумракѣ раннихъ зимнихъ сумерекъ; по сторонамъ же безотрадно разстилались однообразною бѣлою скатертью поля да поля, по которымъ разгуливала вольный вѣтеръ. Налетѣвъ на кибитку, онъ не замедлилъ обвѣять снѣжнымъ вихремъ любопытствующій носъ, да кстати пустилъ цѣлую пригоршню порошистаго мерзлаго снѣга и подъ кузовъ кибитки къ сидѣвшему тамъ другому молодому путнику, такъ

что тотъ взмолился «ради Христа опустить рогожу» и плотнѣе запахнулся въ приподнятый воротникъ своей мѣховой шубы.

То были двадцатилѣтній Гоголь и его однолѣтка, однокашникъ и другъ дѣтства—Данилевскій. Полгода назадъ—въ юнѣ 1828 года—окончивъ вмѣстѣ курсъ Нѣжинской гимназіи «высшихъ наукъ» съ чиномъ XIV класса, они направлялись теперь въ Петербургъ—одинъ для гражданской карьеры, другой—для военной, для которой, впрочемъ, ему предстояло еще сперва одолѣть военные науки въ школѣ гвардейскихъ подпрапорщиковъ.

— Мы точно обмынялись натурами,—замѣтилъ пріятелю Гоголь:—ты мерзнешь въ своемъ енотѣ, а я въ моемъ старомъ плащѣ не чувствую даже мороза. А отчего? Оттого, что я буквально горю нетерпѣніем...

— Да и мнѣ очень любопытно взглянуть на Петербургъ,—отвѣчалъ Данилевскій:—что это за диковина—Невскій проспектъ?

— А знаешь что, Александръ,—подхватилъ Гоголь:—какъ только прибудемъ, такъ тотчасъ же отправимся на Невскій?

— Понятно, если вообще поспѣнемъ. Вѣдь теперь, пожалуй, седьмой уже часъ, а когда еще порѣшили съ квартирой, когда доберемся до Невскаго...

— Правда, правда, чортъ возьми! Какъ, бишь, былъ тотъ адресъ, что ты записалъ для насть на послѣдней станції?

— У Кокушкина моста, домъ Трута.

— Вѣрно. Эй, ямщикъ!

Ямщикъ обернулся.

— Что, баринъ?

— Далеко ли отъ Кокушкина моста до Невскаго?

— Отъ Кокушкина? Да версты полторы, почитай, будетъ.

— А когда закрываютъ на Невскомъ магазины?

— Да которые въ восемь, которые въ девятомъ.

— Ну, вотъ, ну, вотъ! навѣрное, опоздаемъ.

— Такъ хоть на красавицу Неву полюбуемся,—сказалъ Данилевскій.—Вѣдь Кокушкинъ мостъ, ямщикъ, черезъ Неву?

— Эвона! — усмѣхнулся ямщикъ. — Черезъ Катерининскую канаву. До Невы оттолѣ сколько еще улицъ и переулковъ. Да и смотрѣть-то на Неву чего зимою? А вотъ тебѣ и Питеръ.

— Гдѣ? гдѣ?

Ямщикъ указалъ кнутовищемъ направо и налево:

— Вонъ огонечки свѣтятся.

Въ самомъ дѣлѣ, въ отдаленіи и справа и слѣва сквозь вечерній сумракъ мелькали, мигали десятки, сотни огней.

— Наконецъ-то! — заликовалъ Гоголь. — Александръ! смотри же, смотри: Петербургъ!

Оба чуть не на полкорпуса высунулись изъ-подъ кузова кибитки.

— Ну, Невскаго тутъ, пожалуй, и не разглядишь, — замѣтилъ Данилевскій.

— А я уже совершенно ясно вижу!

— Внутреннимъ окомъ поэта?

— Вотъ именно. Вокругъ каменные громады въ пять, въ шесть, въ десять этажей... Колонны, баллюстрады, гранитные ступени; по бокамъ — львы да сфинксы; въ нишахъ статуи... Великолѣпіе и красота изумительныя, неизобразимыя!.. А это что въ окошкѣ магазина? Фу, ты, пропасть! цѣлый Монбланъ, Эльборусъ книгъ самоновѣйшихъ, неразрѣзанныхъ, съ свѣжимъ еще душкомъ типографской краски, слаще амбры и мирры... Ай-ай-ай, что за миниатюрное изданіе! Душу отдать — и то мало... А тамъ вдали что свѣтится, играетъ такимъ яркимъ огнемъ, что передъ нимъ всѣ эти безчисленныя брызги лампъ, свѣчей и фонарей, какъ плошки, меркнуть? Не комета ли? Нѣть, адмиралтейскій шпиль — путеводная звѣзда для всего Петербурга, для всей Россіи!.. Чортъ тебя побери, Петербургъ, какъ ты хороши!

— Ты Николай, сегодня что-то особенно въ ударѣ, — прервалъ Данилевскій разглагольствованія своего друга-поэта. — Молчишь себѣ, молчишь, да вдругъ прорвешься. Но видишь ты до сихъ поръ одинъ каменный бездушный городъ...

— Бездушный!! Самъ ты, душенька, бездушный, коли

эти камни душъ твоей ничего не говорять! Но вотъ тебъ и люди: каждый въ отдельности среди этихъ вѣковѣчныхъ созданій человѣческой мысли, человѣческаго искусства—мелкій, ничтожный мурашъ, но въ массѣ—внушительная сила.

«Какое торжество готовить древній Римъ?  
Куда текутъ народны шумны волны?..  
Кому тріумфъ?..»<sup>1)</sup>

Всѣ, вишь, останавливаются, озираются на одного человѣчка, который скромненько плетется по тротуару. Кто же сей? Съ виду онъ неказистъ и простъ, но всякий его оглядываетъ съ особеннымъ почтеніемъ, всякий готовъ воскликнуть: «Да здравствуетъ Гоголь! нашъ великий Гоголь!»

Выкрикнулъ это будущій тріумфаторъ съ такимъ одушевленіемъ, что поперхнулся, захлебнулся морозною струею удариившей ему прямо въ лицо и въ ротъ сиверки, и жестоко раскашлялся. Данилевскій поспѣшилъ усадить пріятеля на мѣсто и спустить сверху рогожу въ защиту отъ новаго порыва вѣтра.

— Экій ты, братець! Здоровье у тебя и безъ того неизважное, а матушка твоя взяла еще съ меня слово беречь ея Никошу какъ зѣницу ока. Того гляди, схватишь капитальную простуду.

Гоголю было не до отвѣта: въ теченіе нѣсколькихъ минутъ онъ безпрерывно кашлялъ и сморкался.

— А вона и трухмальныя!—раздался тутъ съ облучка голосъ возницы.

— Какія трухмальныя?—переспросилъ Данилевскій.

— А ворота, значитъ.

Данилевскій расхохотался.

— Тріумфалныя! Ну, братъ Николай, какъ бы твой тріумфальный вѣездъ не обратился тоже въ трухмальныи.

Кибитка остановилась у городской пограничной гауптвахты передъ спущеннымъ шлагбаумомъ. Подошедшій солдатъ потребовалъ у проѣзжающихъ паспорты. Когда онъ тутъ посвѣтилъ фонаремъ подъ кузовъ кибитки, у него вырвалось невольно:

<sup>1)</sup> Изъ «Умирающаго Тасса»—Батюшкова.

— Эй, баринъ! да ты вѣдь носъ себѣ отморозилъ.

Гоголь схватился рукою за носъ, который у него давно уже пощипывало.

— Ну, такъ, напророчилъ!— укорилъ онъ пріятеля.— Не угодно ли дѣлать завтра визиты съ дулей вмѣсто носа!

— Снѣгу, Якимъ, поскорѣе снѣгу!— заторопилъ Данилевскій, которому было уже не до шутокъ.

Пока оттирали злосчастный носъ, паспорты на гауптвахтѣ были спрѣвлены и шлагбаумъ поднятъ.

— Съ Богомъ!

Мнительный по природѣ Гоголь настолько вдругъ упалъ духомъ, что, уткнувшись въ своей плащѣ, почти не глядѣль уже по сторонамъ. Да правду сказать, и глядѣть-то было не на что: отъ заставы вплоть до Обуховскаго моста попадались только тамъ да сямъ убогіе, одноэтажные домишкі, раздѣленные между собою длиннѣйшими заборами и пустырями. Пробивавшійся сквозь замерзшія окна этихъ домиковъ скудный свѣтъ былъ единственнымъ уличнымъ освѣщеніемъ, если не считать натурального освѣщенія безчисленныхъ звѣздъ, все чаще и ярче проступавшихъ въ вышинѣ на темномъ фонѣ неба.

— Ну, столица! И фонарей-то не имѣется!— воскликнулъ Данилевскій.— Ничѣмъ, ей-богу, не лучше любого уѣзднаго городишки.

Гоголь отозвался сердитымъ «гмъ!». Зато ямщикъ, слышавшій такое легкомысленное замѣчаніе молодого провинціала, счелъ нужнымъ вступиться за честь столицы.

— Ты, баринъ, Питера нашего, не видавши, не хай! Это— пригородъ; за Фонтанкой только пойдетъ самый городъ.

И точно, по ту сторону Фонтанки потянулись почти сплошные ряды каменныхъ домовъ, двухъ, трехъ и даже четырехъ-этажныхъ, а передъ домами довольно рѣдкая цѣпь тусклыхъ масляныхъ фонарей.

— Вотъ тебѣ и фонари,— сказалъ ямщикъ.

— Такъ и сверкаютъ!— пробрюзжалъ изъ-подъ своего плаща Гоголь:— самихъ себя освѣщаютъ.

— А вотъ и базаръ нашъ—Сѣнная,—продолжалъ поучать ямщицъ, когда они добрались до Сѣнной площади, запруженной, по случаю рождественскихъ праздниковъ, кромѣ постоянныхъ ларей и открытыхъ навѣсовъ, еще сотнями крестьянскихъ саней съ свинymi тушами и грудами всякой живности.— Есть, небось, на что посмотреть! А вамъ-то отъ Кукушкина моста ужъ какъ способно: хоть каждый день ходи. Вамъ чай домъ-то?

— Трута.

— Эй, ты, кавалеръ! гдѣ тутъ домъ Трутова?

Топтавшійся съ ноги на ногу отъ мороза у своей будки будочникъ ткнулъ алебардой внизъ по Садовой.

— Вонъ на углу-то, какъ свернуть къ мосту, видишь домино? Онъ самый и будетъ.

Когда кибитка остановилась передъ большимъ четырехъ-этажнымъ домомъ, Якимъ соскочилъ съ облучка и розыскалъ подъ воротами дворника, а тотъ, получивъ отъ Данилевскаго пятакъ, услужливо проводилъ молодыхъ господъ вверхъ по лѣстницѣ въ четвертый этажъ. На одной лишь первой площадкѣ кончала печальная лампа; за ближайшимъ поворотомъ начался полумракъ, который, чѣмъ выше, тѣмъ болѣе все сгущался. Ступени вдобавокъ обледенѣли, и Гоголь, поскользнувшись, едва удержался за плечо товарища.

— Подлинно столичныя палаты!—сказалъ онъ.—Что, дворникъ, скоро ли дополземъ?

— Доползли-сь.

На стукъ въ дверь изнутри послышался хриплый собачій лай, потомъ шаги и женскій голосъ:

— Кто тамъ?

— Это я, Амалія Карловна, дворникъ съ прѣзжими гостями: комнаты у васъ снять хотятъ.

Желѣзный крюкъ щелкнулъ, и дверь растворилась. Передъ прѣзжими предстала со свѣчею въ рукахъ барыня среднихъ лѣтъ въ чепцѣ, въ которой, и безъ ея иностранного акцента, по чертамъ лица и опрятному наряду не трудно было признать нѣмку.

— Войдите, пожалуйста! — пригласила Амалия Карловна, отступая назадъ въ прихожую. — А ты поди, поди! — махнула она рукой дворнику, какъ бы опасаясь его вмѣшательства въ предстоящіе переговоры съ новыми жильцами.

Гоголь былъ, видно, уже порядкомъ простуженъ, потому что отъ внезапно брызнувшаго ему въ глаза свѣта разразился такимъ звонкимъ чихомъ, что хозяйка ахнула: «Ach, Herr Jesus!» и отшатнулась, а вертѣвшаяся у ногъ ея мохнатая собаченка, поджавъ хвостъ, съ визгомъ отретировалась за свою госпожу.

Данилевскій, повѣшившій между тѣмъ на вѣшалку свою тяжелую енотовую шубу, стала объяснять барынѣ, что на послѣдней станціи въ Пулковѣ они прочли ея объявленіе о сдаваемыхъ комнатахъ.

— О, да, да! двѣ какъ разъ еще не заняты, — засуетилась она и провела молодыхъ людей изъ прихожей сперва въ одну пустую комнату, потомъ въ другую.

— А мебель-то гдѣ-же?

— Мебель? — словно удивилась она и принялась излагать чрезвычайно убѣдительно, что въ Петербургѣ-де солидные молодые люди (*«solide junge Herren»*) всегда обзаводятся собственною мебелью...

— Но при насъ еще и человѣкъ...

Для «человѣка» Амалия Карловна готова была поставить въ коридорѣ желѣзнную кровать, и все за тѣ же сто рублей въ мѣсяцъ<sup>1)</sup>.

— Сто рублей! — ужаснулся Данилевскій. — Можетъ быть, съ єдою?

Оказалось, что безъ єды, но жильцамъ предоставлялось право, безъ особой надбавки, варить себѣ кушанье на хозяйствской кухнѣ.

— Но это и все! — решительно заключила Амалия Кар-

<sup>1)</sup> До сороковыхъ годовъ счетъ у насъ былъ ассигнаціонный: на 1 рубль серебромъ приходилось ассигнаціями 3 р. 50 к.

ловна, взмахнувъ по воздуху своимъ шандаломъ, какъ фельдмаршалскимъ жезломъ.

— Неужели ничего не спустите?

— Ни копейки!

— Придется, кажется, покориться,—шопотомъ замѣтилъ пріятелю Данилевскій.

— Молчи!—тихо буркнулъ тотъ и какъ-то особенно добродушно и привѣтливо заглянулъ снизу въ строгое лицо квартирной хозяйки.—А знаете ли, почтеннѣйшая Амалія Карловна, чѣмъ болѣе я этакъ всматриваюсь въ ваши черты, тѣмъ болѣе онѣ мнѣ кажутся знакомыми и даже родствѣнными. Посмотрѣка, Александръ, вѣдь ни дать, ни взять тетушка Пульхерія Трофимовна?

— И то правда,—согласился Данилевскій, съ трудомъ подавляя усмѣшку: хотя у Амаліи Карловны, благодаря легкому пушку надъ верхнею губою, и можно было при желаніи найти отдаленное сходство съ нѣкоей Пульхеріей Трофимовной, по-жилой барыней-помѣщицей, которую они оба встрѣчали когда-то въ деревнѣ, но Пульхерія Трофимовна ни въ какой степени родства не приходилась тетушкою ни Гоголю, ни Данилевскому, и особенной привлекательности въ ней до тѣхъ поръ никто еще не находилъ.

— Только Амалія Карловна, понятное дѣло, куда красивѣе, да и лѣтъ на двадцать моложе,—продолжалъ Гоголь.—Простите за нескромный вопросъ: вѣдь вамъ не болѣе тридцати?

Улыбка удовольствія раздвинула сжатыя губы Амаліи Карловны.

— Ну, да! У меня уже сынъ—такой же большой, какъ вы.

— Вы шутите? Это просто невѣроятно, непостижимо! Но сынъ у васъ, вѣрно, не свой, а мужнинъ?

— Нѣть, свой.

— Удивительно! Ganz wunderbar! Такъ какъ же намъ быть-то, meine liebe Madam? Сто рублей намъ, право, не под карману. Сердце у васъ, я знаю, предобренѣкое. Лицо ваше не станетъ обманывать! Уступите, ну, ради сына?

Просилъ молодой человѣкъ такъ умилъно, глядѣлъ на нее такими маслянистыми глазами (благодаря отчасти и насморку)... Амалія Карловна минутку, видимо, колебалась, однако выдер-жала характеръ.

— Извините, господа, но комнаты у меня никогда не ходили дешевле.

Гоголь тяжело вздохнулъ и съ чувствомъ началъ смор-каться.

— И изволь-ка теперь, простуженный, искать себѣ по го-роду другого пристанища! Ну, что же дѣлать?! *Was thun?* Но на прощанье, мадамъ, вы не откажете мнѣ въ послѣдней милости — въ салѣ отъ вашей свѣчки для моего несчастнаго носа?

Въ послѣдней милости мадамъ не отказалася. Гоголь былъ, казалось, искренне тронутъ.

— И жилось бы намъ у васъ, какъ у Христа за пазу-хой... Ну, да не задалось! Прощенья просимъ, *liebe, gute Ma-dam,* за беспокойство. Идемъ, Александръ.

— *Warten Sie!* — остановила ихъ въ дверяхъ хозяйка. — Двадцать рублей я, такъ и быть, сбавлю.

— Чѣдѣ я говорилъ? Сердце у васъ все-таки ангельское! Я увѣренъ, что еще десяточекъ спустите.

— О, нѣть! Восемьдесятъ рублей въ мѣсяцъ — дешевле ни-какъ нельзя. И только потому, что хорошиe, вижу, господа...

Друзья украдкой переглянулись. «Больше не сбавить», прочли они въ глазахъ другъ друга.

— Но тюфяки-то на одну ночь у васъ найдутся?

— Можетъ быть, и охапка дровъ и самоваръ! — добавилъ Данилевскій. — Комнаты эти какъ будто не топлены, даже паръ изо рта идетъ.

Нашлись и тюфяки, и дрова, и самоваръ. Тѣмъ не менѣе, или, можетъ быть, вслѣдствіе именно внезапнаго перехода отъ холода къ теплу за горячимъ стаканомъ чая насморкъ у Го-голя такъ усилился, что Якимъ долженъ былъ достать изъ чемодана пачку свѣжихъ платковъ.

Хлопотавшая около самовара Амалия Карловна съ возвращающимъ участіемъ поглядывала на новаго жильца.

— У меня есть отъ насморка одно симпатическое средство,—сказала она:—надо взять бумажку, написать: «я дарю вамъ мой насморкъ» и бросить на улицѣ.

— А кто подниметъ, тотъ и будетъ съ подаркомъ? Пресимпатичное средство! Сейчасъ испробуемъ. Карандашъ и бумагка у меня найдутся: нѣть только конверта...

— А конвертъ я вамъ дамъ отъ себя,—подхватила хозяйка.

— Ну, какъ есть тетушка! Чтò я говорилъ, Александръ? Хорошо тому жить, кому тетушка ворожитъ.





## ГЛАВА ВТОРАЯ.

### Первый день новичковъ въ школѣ жизни.

---

**С**импатическое средство почтенной Амалии Карловны на этотъ разъ, однако, не оказалось своего цѣлебнаго дѣйствія. Когда Гоголь на слѣдующее утро протеръ глаза, то много-кратно расчихался: насморкъ его былъ еще въ полномъ расцвѣтѣ; когда же онъ взглянулъ на себя въ дорожное складное зеркальце, то даже плюнуль:

— Тыфу! и глядѣть непристойно.

Тутъ оказалось, что Данилевскій не только уже всталъ и напился чаю, но и изъ дома отлучился—закупить въ Апраксиномъ рынкѣ мебель и постельныя принадлежности.

— А оттуда вѣдь, злодѣй, бьюсь объ закладъ, завернетъ еще на Невскій! Господи, Господи! а я сиднемъ сиди,—убивался Гоголь.—Смотри-ка, Якимъ: никакъ снѣгъ идетъ?

— Идетъ,—подтвердилъ Якимъ:—еще съ вечера пошелъ, какъ я письмо съ насморкомъ относилъ.

— Такъ, вѣрно, потеplѣло! Подай-ка мнѣ новый фракъ.

— Да куды вы, паночку? Ще пуще занедужаете.

— Не могу я сидѣть въ четырехъ стѣнахъ и киснуть, когда знаю, что здѣсь же, въ Петербургѣ, живеть мой лучшій другъ—Высоцкій, съ которымъ я не видѣлся цѣлую вѣчность—два года слишкомъ.

— Такъ я бы сѣѣздили за нимъ...

— Нѣть, нѣть, я хочу застать его врасплохъ; да, кромѣ

того, мнъ надо еще къ одному важному господину съ поклономъ.

Напрасно отговаривали его и Якимъ и хозяйка, которая, повидимому, все еще не теряла надежды, что ея хваленое средство въ концѣ концовъ оправдаетъ свою славу.

— Не надѣйтесь, мадамъ, я ужъ такой неудачникъ,—сказалъ Гоголь:—письмо, вѣрно, снѣгомъ замело, и никто его не поднялъ. А вотъ кабы у васъ нашлась пудра, чтобы маломальски облагообразить мое нюхало...

Пудры косметической у мадамы не нашлось, но назначение ея съ успѣхомъ исполнила домашняя пудра—картофельная мука, которой небольшой запасецъ заботливая нѣмка завернула еще ему въ бумажку на дорогу.

И сидитъ онъ опять въ саняхъ и ёдетъ къ Высоцкому. Извозчикъ попался ему изъ жалкихъ «ванекъ»; малорослая деревенская лошаденка, лохматая и пѣгая, смахивавшая болѣе на корову, чѣмъ на коня, плелась мелкою рысцой.

«Колесница тріумфатора!» иронизировалъ сѣдокъ надъ са-  
мимъ собою. «Спасибо, хоть не такъ ужъ холодно»...

Въ самомъ дѣлѣ, какъ это нерѣдко бываетъ въ нашей приморской столицѣ, жестокій морозъ смѣнился разомъ чуть не оттепелью. Тѣмъ не менѣе, Гоголь, не отдѣлавшись еще отъ вчерашней простуды, ежился въ своеемъ старенькомъ плащѣ и накрылся на всякий случай еще широкимъ воротникомъ, какъ капюшономъ, чтобы охранить свое «нюхало» отъ крутившихся кругомъ снѣжныхъ хлопьевъ. Путь впереди лежалъ довольно долгій—на Петербургскую Сторону, въ какую-то Гулярную; надо было какъ-нибудь скротать время, и, зажмурясь, Гоголь предался мечтаніямъ о предстоящей встрѣчѣ съ Высоцкимъ.

«Неужто расчувствуемся, обабимся опять оба, какъ тогда при послѣднемъ прощаньѣ, прижмемъ другъ друга къ сердцу, или выдержимъ характеръ и просто пожмемъ другъ другу руку? А можетъ быть, его и дома-то не будетъ? Ну, что-жъ, обожду у него въ кабинетѣ, пороюсь въ его книгахъ: что-то онъ теперь читаетъ? И вотъ что,—да, да, непремѣнно! какъ

услышу только его шаги въ прихожей, спрячусь поскорѣй за какой-нибудь шкапъ или печку. Войдетъ онъ, ничего не подозрѣваетъ, и вдругъ ему сзади зажимаютъ руками глаза: «Кто я? Угадай-ка?»—Сердце ему, разумѣется, подскажетъ. Но онъ не покажетъ виду, а преспокойно, какъ ни въ чемъ не было, обернется и протянетъ руку: «Какъ поживаешь, дружище?»—«Помаленьку; а ты какъ?» И пойдутъ разспросы и отвѣты безъ конца. «А что, Николай Васильевичъ», скажетъ онъ тутъ,—«хочешь мѣсто въ 1200 рублей?»—«Какъ! у тебя есть для меня такое мѣсто?»—«Есть. Для начала вѣдь недурно? 100 рублей въ мѣсяцъ; а тамъ, черезъ годъ, найдемъ и лучше». Вотъ другъ, такъ другъ! Тутъ, пожалуй, ужъ не выдергишь, облапишь его, чмокнешь въ обѣ щеки. «Но вотъ бѣда-то, Герасимъ Ивановичъ: вѣдь надо представиться новому начальству, а у меня нѣтъ еще и порядочнаго, параднаго фрака»... Герасимъ же Ивановичъ, побѣдоносно улыбаясь, идетъ къ шкатулѣ и достаетъ оттуда фракъ, великолѣпнѣйшій, синяго цвѣта съ металлическими пуговицами: «Какъ вамъ покажется, синьоръ, сія штука? Специально для васъ заказана у Руча—перваго столичнаго портныхъ дѣль мастера. Суконце тончайшее, аглицкое. Не угодно ли пощупать: персики! А фасонъ-то: послѣднєе слово науки!»

— Эй, баринъ, заснулъ, что ли?—окликнулъ возница съ докомъ, замечтавшагося подъ своимъ капюшономъ.

— Развѣ мы уже въ Гулярной?

— Въ Гулярной. Да чей домъ-то?

Гоголь назвалъ домохозяина. По счастью, мимо нихъ по занесеннымъ снѣгомъ деревяннымъ мосткамъ перебиралась какая-то не то кухарка, не то чиновница съ кулькомъ провизіи. На опросъ извозчика она указала на одинъ изъ убогихъ, одноэтажныхъ домиковъ столичнаго захолустья.

Господи, Боже! И это прославленный Петербургъ? Это Нѣжинъ, хуже Нѣжина! Дрянь, совсѣмъ дрянь! И здѣсь-то пріютился онъ, другъ сердечный?

Разсчитавшись съ извозчикомъ, Гоголь, увязая въ снѣгу,

добрался кое-какъ до калитки, а оттуда во дворъ до покосившагося крылечка.

А что, если Герасимъ Ивановичъ ему даже не обрадуется? На послѣднія письма къ нему не было вѣдь и отвѣта...

Звонка на крыльцѣ не оказалось, и Гоголь съ невольнымъ замираніемъ постучался въ низенькую дверь. Только на третій стукъ дверь въ половину отворилась. Но показавшійся за нею старичекъ въ ермолкѣ и ветхомъ ватномъ шлафрокаѣ,—изъ отставныхъ, видно, чиновниковъ,—держась за дверную скобку, заслонилъ входъ и пробрюзжалъ довольно нерадушно:

— Вамъ кого?

— Высоцкаго, Герасима Ивановича. Вѣдь онъ здѣсь жи-  
веть?

— Жить-то жилъ, да слѣдѣ простыль.

— Выѣхалъ? Но не изъ Петербурга же?

— Изъ Петербурга.

Гоголь былъ совсѣмъ ошеломленъ.

— Въ провинцію, значитъ! Но куда?

— А почемъ мы знаемъ. Снималъ хоть у насъ комнату, да сторонился нашей бѣдности, гордецъ, зубоскаль, не тѣмъ будь помянуть. Самъ, вишь, важная птица! Ну, и скатертью дорога!

Дверь закрылась. Гоголь все еще не могъ опомниться.

Да, да! Высоцкій хоть и зубоскаль, точно, но одного съ нимъ поля ягода. Они понимали другъ друга съ полуслова, жить бы только душа въ душу... И вдругъ, не говоря дурного слова, скрылся съ горизонта безслѣдно, какъ метеоръ, не оставивъ даже ни строчки. Открылось, изволите видѣть, гдѣ-то въ провинціи, теплое мѣстечко,—не нужны стали прежніе друзья, и отряхнуль ихъ съ себя, какъ пыль, какъ соръ... Но нѣтъ же, нѣтъ, не можетъ быть! Неужели такъ и не придется больше свидѣться въ жизни <sup>1)</sup>?

Безотраднѣйшее чувство первого разочарованія въ незы-

<sup>1)</sup> Сколько известно, Гоголь, действительно, до самой смерти не встрѣтился уже съ Высоцкимъ.

блемой святости дружбы съ нестерпимою горечью поднялось въ груди отвергнутаго друга. Отъ навернувшейся на глаза сырости ничего не различая передъ собою, онъ, спотыкаясь, выбрался снова изъ калитки. Разсчитанный имъ ванька по счастью еще не отъѣхалъ: надо было дать передохнуть слабосильной лошаденкѣ, а можетъ, и сѣдокъ не застанеть кого нужно.

- Не засталъ, знать, дома?
- Не засталъ...
- Такъ подавать опять?
- Подавай.
- Куда жъ теперь везти-то?

И то, куда теперь? Тотъ, на котораго онъ полагался, какъ на каменную гору, спину показалъ; приходится самому ужъ ковать желѣзо. Рекомендательное письмо Трощинскаго къ чиновному тузу Кутузову, благо, въ карманѣ.

- Знаешь Малую Милліонную<sup>1)</sup>?
- Какъ не знать.

Снѣгъ валилъ рыхлыми хлопьями гуще прежняго. Накрываясь опять воротникомъ плаща, Гоголь долженъ былъ хорашенько отряхнуться.

- Ну, повалилъ! — пробормоталъ онъ про себя.

Научился, — незлобиво отозвался ванька, застегивая по лость, и легонько тронулъ свою лошадку вожжами. — Эй, милая, не лѣнися: добрый баринъ не поскупится.

А баринъ подъ своимъ капюшономъ сидѣлъ истуканомъ; на него нашло ожесточеніе до самозабвенія, до одеревѣнѣлости. Только когда недолго погодя санки разомъ остановились, онъ очнулся и приподнялъ край воротника.

- Что тамъ такое?

— А вонъ потянулись, — былъ благодушный отвѣтъ съ облучка: — ровно дрова по рѣкѣ гонять — никакой силой не удержишь.

---

<sup>1)</sup> Въ настоящее время просто Милліонная.

Поперекъ пути ихъ, въ самомъ дѣлѣ, тянулся непрерывный обозъ, которому конца видать не было. Разъ покорившись неумолимой судьбѣ, Гоголь безропотно снесъ и эту мелкую напасть.

— Впередъ! — послышался, наконецъ, голосъ возницы, и санки покатились далѣе.

Вдругъ толчокъ, и еще, и еще, точно спускаются круто подъ гору. Что за оказія? Какія въ Петербургѣ горы? Гоголь выглянула опять изъ-подъ своей покрышки. Оказалось, что то былъ спускъ на Неву. Путь ихъ лежалъ такъ близко отъ проруби, что ихъ обдало оттуда облакомъ пара.

— Дышеть! — замѣтилъ опять извозчикъ, который, полюбивъ, видно, своего молчаливаго сѣдока, находилъ удовольствіе дѣлиться съ нимъ впечатлѣніями.

Да, у этихъ сѣверянъ-великороссовъ есть тоже своя наблюдательность, свои словечки; да что толку-то, коли твоя собственная комическая жилка изсякла?

Вотъ они и на Малой Миллионной. Будочникъ наставилъ ихъ, гдѣ жительствуетъ «генераль» Кутузовъ. Выѣзая ужъ изъ саней передъ генеральскимъ подъѣздомъ, Гоголь вспомнилъ, что дорогою неоднократно прибѣгалъ къ помощи носового платка.

Эхъ-ма! надо опять вѣдь напудриться, чтобы явиться передъ сановникомъ въ надлежащемъ видѣ. Но куда, въ какой карманъ онъ сунулъ свой запасецъ? Экая, право, куриная память... Ага! вотъ.

Но пока онъ шарилъ по карманамъ, на подъѣздѣ показался уже великолѣпный толстякъ-швейцарь, завидѣвшій въ стеклянную дверь подкатившія утлыя извозчицы санки.

— Отъѣзжай, отъѣзжай! — властно гаркнулъ онъ на ваньку, а затѣмъ съ высокомѣрнымъ недоумѣniемъ оглядѣлъ молодого сѣдока, который пока набѣлилъ себѣ только одну сторону носа. — Вамъ кого?

— Минѣ его превосходительства Логгина Ивановича, — отвѣчалъ Гоголь, съ замѣшательствомъ пряча бумажку съ косметикой.

- Не принимаютъ.
- Нѣть? Почему такъ?
- Хворать изволять.
- Вотъ тебѣ, бабушка, и Юрьевъ день! И серіозно прихвортнуль?
- Очень даже суріозно.

Не находя нужнымъ тратить еще лишнія слова, ливрейный стражъ не спѣша вошелъ обратно въ подъездъ и звонко хлопнуль стекляною дверью.

— Господинъ въ ливреѣ! — пробормоталъ вслѣдъ ему Гоголь.

— Какой ужъ господинъ — собака! — сочувственно подалъ голосъ ванька, отѣхавшій всего шаговъ на десять и слышавшій весь діалогъ: — съ жиру хозяйствскаго бѣсится: кто одѣтъ поплоше, того область, а кто почище, — передъ тѣмъ виляетъ. А теперя, батюшка, что же, обратно на фатеру, я чай, къ Кокушкину мосту?

— На фатеру, сыночекъ, охъ! на фатеру...

Временный подъемъ духа поддерживаетъ и тѣлесныя силы, зато съ упадкомъ духа тѣмъ сильнѣе реакція. Когда Гоголь вскарабкался къ себѣ на четвертый этажъ, то тутъ же въ полномъ изнеможеніи повалился на неубранный еще съ полу матрацъ и защелкалъ зубами отъ жестокаго озоба. Но хозяйка, смотрѣвшая на него уже какъ на члена своей квартирной семьи, настояла на томъ, чтобы онъ совсѣмъ улегся, сама накрыла его двумя одѣялами и напоила липовымъ цвѣтомъ съ малиной до второго пота. Якимъ тѣмъ временемъ напѣвалъ паничу про непомѣрную петербургскую дорожовизну: «За десятокъ рѣши плати не много, не мало — 30 копеекъ! Картофель покупай тоже десятками, точно апельсины»...

— Добивай меня, добивай! — отвѣчалъ изъ-подъ своихъ двухъ одѣялъ паничъ, да такимъ жалобнымъ тономъ, что Якимъ, не допѣвъ, умолкъ.

Незадолго до обѣда были доставлены изъ Апраксина двора закупленныя Данилевскимъ кровати съ тюфяками и прочая ме-

бель, а къ обѣду вернулся и онъ самъ. На него, здороваго человѣка, Петербургъ произвелъ совершенно иное впечатлѣніе, чѣмъ на Гоголя, и онъ своимъ восторженнымъ настроеніемъ нѣсколько подбодрилъ опять своего раскисшаго друга.

— А затѣмъ въ кофейнѣ я сдѣлалъ еще очень цѣнное для меня знакомство съ однимъ отставнымъ кавалеристомъ,—продолжалъ Данилевскій.—Онъ прошелъ также школу подпрапорщиковъ и сообщилъ мнѣ цѣлую массу прелюбопытныхъ свѣдѣній. Какъ видишь, и я иду по твоимъ стопамъ—занимаюсь изученіемъ обычаевъ и нравовъ!

— Напримѣрь?

— Напримѣрь, младшій курсъ—вандалы, старшій—корнеты, и корнеты муштруютъ вандаловъ, потому что отвѣчаютъ за нихъ передъ начальствомъ.

— Въ чемъ отвѣчаютъ?

— Въ томъ, чтобы у тѣхъ всѣ пуговицы были застегнуты, всѣ ремешки подтянуты; да вѣдь какъ самихъ ихъ подтягиваютъ, какъ честять отборными словами!

— А вандалы молчи?

— Вандалы молчи. На то и вандалы.

— Поздравляю; завидная у тебя перспектива!

— Что, братъ, подѣлаешь! Всякаго варвара надо сперва отполировать хорошенъко, чтобы сдѣлался «полированнымъ» человѣкомъ. Зато я выйду во всякомъ случаѣ въ гвардію.

— Почему же во всякому случаѣ? Прилежаніемъ ты, какъ и я, никогда особенно не отличался.

— Прилежаніемъ, братъ, тамъ никого не удивишь. Въ «зубрилкѣ» корнеты заставляютъ вандаловъ даже надѣвать перчатки, чтобы не пачкать рукъ о «вонючія» книги—физику, механику. Первое тамъ условіе—верховая Ѣзда и тѣлесная ловкость. Ну, а по этой части я хоть съ кѣмъ потягаюсь. «А есть у васъ свой конскій заводъ?» спросилъ меня мой новый знакомый.—«Нѣтъ», говорю, «а что?» — «Да чтобы пыли въ глаза пустить. На первый-то хоть разъ подѣзжайте туда на лихачѣ, да дайте ему рубль на водку, такъ,

чтобы видѣлъ швейцарь, отъ котораго потомъ всѣ другіе узнаютъ»<sup>1)</sup>.

— Ай да совсѣмъ! Подлинно, что цѣнное знакомство.

Данилевскій почесалъ за ухомъ, но тотчасъ безпечно усмѣхнулся.

— Цѣннѣе, чѣмъ ты думаешь, — сказалъ онъ. — Сорвалъ съ меня изрядный кушъ — двадцать цѣлковыхъ!

— Неужто ты, въ самомъ дѣлѣ, далъ незнакомому человѣку сразу въ долгъ?

— Нѣть, онъ взялъ ихъ съ меня на билліардѣ.

— Такъ! Не можешь отстать отъ этой глупой страсти. Какъ ты вообще сошелся съ этимъ франтомъ?

— А въ кофейнѣ, говорю тебѣ, на Невскомъ, противъ Казанского собора. Зашелъ я только закусить; но тутъ вдругъ гдѣ-то въ третьей комнатѣ, слышу, стучать билліардные шары. Какъ, скажи, было устоять?

— Тебѣ-то — еще бы! И мышь на запахъ сала въ мышеловку лѣзетъ.

— Вхожу въ билліардную; тамъ играетъ какой-то усачъ съ маркеромъ, — не то, чтобы неважно, а такъ, спустя рукава. Проигралъ партію, обращается ко мнѣ: «Вы, я вижу, тоже любитель; не желаете ли сразиться?» — «Съ удовольствиемъ». — «А по какой?» — «Да я, извините, по крупной не играю», говорю ему: «дѣло вѣдь не въ выигрышѣ». — «Само собою! но чтобы былъ все-таки нѣкоторый интересъ. Угодно: копейка очко?» Чего, думаю, скромнѣе? Больше шести гривенъ не рискую. «Извольте», говорю. Стали мы играть. Играль онъ по прежнему кое-какъ, проигралъ мнѣ 20 очковъ. «Эй, человѣкъ! коньяку. Не прикажете ли?» Я поблагодарилъ: «Простите, не пью». — «Эхъ, молодой человѣкъ, молодой человѣкъ! Ваше здоровье! А теперь не удвоить ли намъ кушъ?» Отказаться было

<sup>1)</sup> Считаемъ нужнымъ здѣсь оговориться, что приведенные выше порядки былой юнкерской школы относятся ко временамъ давно минувшимъ и отошли, разумѣется, уже въ область преданій.

уже неловко; да при его игрѣ какой же и рискъ? Тутъ онъ сталъ играть иначе.

— Ага! старательнѣ?

— Не то, чтобы, нѣть; кій онъ держалъ въ рукахъ все такъ же небрежно, будто и не цѣлясь, а между тѣмъ, удивительное дѣло! шары у него такъ и летали по билліарду, попадали въ лузу: хлопъ да хлопъ! Глядь: закатилъ мнѣ сухую. Захохоталъ, потрепалъ меня по плечу. «Видали вы, какъ выигрываютъ фуксами? Однако, съ выигрыша я, какъ угодно, долженъ васъ угостить. Одну хоть рюмочку для храбрости, а?» — «Увольте...» говорю. — «Нѣть, молодой человѣкъ, вы меня кровно обидите!» Налилъ онъ мнѣ рюмочку, а коньякъ оказался высшаго качества,—такъ и разлился у меня по жиламъ. Храбрости у меня, точно, прибавилось: когда онъ мнѣ теперь предложилъ играть по гривеннику очко, я уже не сталъ упираться. Тутъ онъ развернулся во всю; такихъ клапшотовъ, триплетовъ, квадруплетовъ мнѣ въ жизнь видать не случалось!

— И вздуль тебя напропалую?

— Да, задаль мнѣ подъ рядъ три комплектныхъ.

— Такъ тебѣ, младенцу, и надо. Это, очевидно, профессио-нальный шulerъ.

— Можетъ быть, и профессиоnalный, но профессоръ въ своемъ дѣлѣ несомнѣнно; чтѣ за комбинаціи, чтѣ за ударъ, чтѣ за чистота отdѣлки! Не жаль, право, и 20-ти рублей за урокъ.

— Благодарю покорно! А платка онъ у тебя изъ кармана не вытащилъ?

— Напротивъ, онъ повелъ себя настоящимъ джентльменомъ: послѣ третьей комплектной самъ предложилъ прекратить игру: «Вы нынче не въ ударѣ». Потомъ любезно надавалъ еще разныхъ совѣтовъ на счетъ юнкерской школы...

— И не менѣе любезно обѣщался дать тебѣ завтра ре-ваншъ?

— Да...

— Ну, вотъ. Но ты, конечно, не пойдешь?

— Право, не знаю... Жаль какъ-то упустить случай поучиться у такого мастера! Ахъ, да! изъ головы вонъ,—вспомнилъ вдругъ Данилевскій и хлопнулъ себя по лбу:—вѣдь привезъ тебѣ оттуда гостинецъ.

— Откуда?

— Да изъ той же кофейни. Эй, Якимъ! Въ шубѣ у меня ты найдешь кусокъ кулебяки, снеси-ка на кухню и разогрѣй для барина.

— Но у меня нѣтъ ни малѣйшаго аппетита,—отговорился Гоголь.

— Пустяки! Отъ одного вида явится. Такая, я тебѣ скажу, аппетитная штука, что пальчики оближешь.





## ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

### Иванъ-царевичъ на распутьѣ.

**С**етыре мѣсяца спустя мы видимъ двухъ друзей опять вмѣстѣ—на Екатерингофскомъ гулянѣ. Въ 1829 году, когда желѣзныхъ дорогъ еще и въ поминѣ не было, и цѣна заграничныхъ паспортовъ у насть не была еще понижена, когда число дачныхъ мѣстъ въ окрестностяхъ самого Петербурга было очень ограничено, и воздухъ въ Екатерингофѣ еще не отравлялся нестерпимымъ смрадомъ костеобжигательного и другихъ заводовъ,—тамошній великолѣпный паркъ былъ однимъ изъ излюбленныхъ мѣстъ гулянья столичнаго населенія, а 1-го мая туда тянулся весь Петербургъ: кто побогаче—въ собственномъ или наемномъ экипажѣ, кто побѣднѣе—«на своихъ на двоихъ». Въ числѣ послѣднихъ были также Гоголь и Данилевскій, двигавшіеся впередъ шагъ за шагомъ среди густой разряженной толпы по главной аллѣ. И они были одѣты по праздничному: Гоголь въ новомъ весеннемъ плащѣ и новомъ цилиндрѣ, надвинутомъ довольно отважно на одно ухо; Данилевскій же, еще два мѣсяца назадъ принятый въ школу гвардейскихъ подпрапорщиковъ,—въ новой юнкерской формѣ, которая шла какъ нельзя лучше къ его стройной, молодцеватой фигурѣ, къ его красивому, цвѣтущему лицу. Замѣчай, какъ онъ привлекаетъ взоры всѣхъ встрѣчающихся имъ особъ прекраснаго пола, онъ весело поглядывалъ по сторонамъ, однимъ ухомъ только слушая, что ему разсказывалъ въ это время пріятель

про недавно закрывшуюся выставку въ академіи художествъ.

— Грѣхъ, право, что ты туда ни разу не собрался! — говорилъ Гоголь. — Были вѣдь тамъ картины и по твоей, братъ, батальной части.

— Напримѣрь?

— Напримѣрь, одна чудеснѣйшая, душу возвышающая: партизанъ въ отечественную войну. Сидитъ онъ верхомъ на лафетѣ орудія, весь въ отрепьяхъ, съ перевязаннымъ лицомъ, забрызганнымъ кровью, запаленнымъ отъ порохового дыма, но въ правой руцѣ у него отбитое французское знамя, а поза, я тебѣ скажу, выраженіе лица — поразительны! Безъ словъ читаешь: вотъ они, истинные спасители отечества!

Данилевскій окинулъ тщедушную фигуру пріятеля сомнительнымъ взглядомъ.

— А ты самъ, видно, до сихъ поръ тоже не отказался спасать отечество?

Въ глазахъ Гоголя вспыхнулъ вдохновенный, чуть не фанатический огонь.

— Не отказался, нѣтъ! — съ самоувѣренною гордостью произнесъ онъ. — И на меня, сознаюсь, послѣ всѣхъ моихъ неудачъ находило порою малодушіе; но одно меня потомъ всегда поддерживало, ободряло: молитва и упованіе на Бога! Послѣ горячей молитвы во мнѣ всякий разъ укрѣплялась снова вѣра въ себя, въ свое призваніе — не прожить безслѣдно...

— Все это прекрасно и похвально. Но въ чёмъ же твоё призваніе? Остановился ты уже на какомъ-нибудь занятіи окончательно?

— Окончательно?.. — повторилъ Гоголь, и голосъ его упалъ на одну ноту. — Легко, братъ, сказать! Ты знаешь вѣдь сказку про Ивана-царевича: пойдешь прямо — будешь голоденъ и холоденъ; возьмешь направо — коня потеряешь, нальво — самъ пропадешь. И вотъ, стою я теперь этакъ на распутѣ: какую дорогу выбрать?

— Прямая дорога всего ближе: кратчайшее разстояніе между двумя точками.

— По геометрии—да. Чего, кажется, прямъе—путь въ юстицію? Защищать угнетенныхъ и невинныхъ, карать злыхъ и неправыхъ—какая высокая цѣль! И направилъ я туда стопы, какъ ты знаешь, съ рекомендацией отъ нашего «кибинцкаго царька»; но сперва Кутузовъ меня по болѣзни не принялъ...

— А когда выздоровѣль, то быль, кажется, очень миль, обѣщаешь тебя скоро пристроить?

— Изъ обѣщаній, голубушка, шубы не сошьешь. Въ то время не было еще получено извѣстія о смерти Трощинскаго<sup>1)</sup>. А теперь никакого толку не добьешься: ни два, ни полтора.

— Но у тебя были вѣдь, кажется, еще къ кому-то письма?

— Быть-то были, да результать все тотъ же—любезное отвиливаніе. Такимъ образомъ, отъ твоего прямого пути я испыталъ, по сказкѣ, буквально только голодъ да холодъ: пока ма-менька не выслала опять денегъ, я цѣлую недѣлю сидѣль безъ обѣда.

— Такъ отъ чиновной карьеры ты вообще уже отказался?

— Отъ переписыванія съ утра до вечера бредней и глупостей господъ столонаачальниковъ? Помилуй Богъ! Да что я—чурбанъ или живой человѣкъ?

— Что же у тебя еще на примѣтѣ?

— Очень многое: я умѣю шить, варить, расписывать стѣны альфresco...

— Ну, Ивану-царевичу заниматься портняжнымъ, поварскимъ или малярнымъ дѣломъ, пожалуй, и не совсѣмъ пристало. Я спрашиваю тебя, братъ, серіозно: что ты, наконецъ, думаешь предпринять?

— Пока я, говорю серіозно, еще ни на чемъ не остановился. Отъ нечего дѣлать хожу, какъ ты знаешь, въ академію художествъ и копирую тамъ съ знаменитыхъ мастеровъ. (Кстати сказать: господа художники, съ которыми я свелъ тамъ знакомство, премилые все ребята!) Но этакими копіями не прогормишься. Пробовалъ было взяться за иконопись: не это ли

<sup>1)</sup> Бывшій министръ юстиціи Трощинскій, «кибинцкій царекъ», скончался въ февралѣ 1829 года.

мое настоящее призвание? Да нѣтъ! слишкомъ мало во мнѣ еще этой строгости, этой святости, слишкомъ много мірской суеты. Но однажды,—я далъ себѣ въ томъ уже обѣтъ,—непремѣнно соберусь къ святымъ мѣстамъ, ко гробу Господню...

— Ну, ну, ну! опять заханжиль.

— Нѣтъ, Александръ, это у меня не ханжество, а совершенно искренняя религіозность, впитанная, такъ сказать, съ материнскимъ молокомъ.

— Противъ религіозности я и самъ, конечно, ничего не имѣю. Но когда человѣкъ только вступилъ въ жизнь,—помышлять уже о паломничествѣ, какъ хочешь, не дѣло.

— Согласенъ. Времени впереди довольно. И я изыскиваю всякия средства, чтобы что-нибудь хоть заработать и не быть въ тягость роднымъ. Такъ теперь здѣсь, въ Петербургѣ, мода на все малороссійское. Мнѣ пришло въ голову поставить на сцену одну изъ папенькиныхъ малороссійскихъ комедій, и я нарочно пишу теперь маменькѣ, чтобы выслала мнѣ ихъ сюда. Потомъ я чуть было вѣдь не укатилъ въ чужіе края въ качествѣ компаньона одного больного.

— Вотъ какъ! Но ты мнѣ ничего еще не говорилъ объ этомъ?

— Не говорилъ, чтобы не сглазить. Да врагъ рода человѣческаго, какъ не разъ, подшутилъ опять надо мною, помазалъ по губамъ!

— А изъ-за чего же у васъ дѣло разстроилось?

— Изъ-за того, что больной мой не выждалъ, взялъ да и отправился безъ меня въ мѣста еще болѣе отдаленные—въ елисейскія. Царство небесное! Мимо... Но на рукахъ у меня остается еще одинъ, самый крупный козырь. Я хотѣлъ бы знать твое чистосердечное мнѣніе, какъ друга: козырнуть ли мнѣ ужъ или нѣтъ?

Данилевскому, однако, такъ и не было суждено познакомиться съ загадочнымъ козыремъ своего друга. Изъ боковой аллеи навстрѣчу ему показались двое такихъ же хватовъ-юнкеровъ.

— А! Данилевскій! Мы идемъ слушать цыганъ. А ты?

— И я, понятно, съ вами. Но сперва позвольте, господа, представить вамъ моего друга дѣтства.

Тѣ снисходительно пожали руку невзрачному «другу дѣтства».

— А мы сюда вѣдь водой на катерѣ,—рассказывалъ Данилевскому одинъ изъ товарищѣй-юнкеровъ:—на Невѣ сплошной ладожскій ледъ, и мы пробивались между льдинами, какъ теперь вотъ между народомъ. Да что же мы, господа, толчемся на одномъ мѣстѣ? Впередь! Справа по одному ры-ы-ы-сью-ю-ю!

— Корпусъ прямо! голову выше! ногу въ каблукъ!—со смѣхомъ скомандовалъ въ свою очередь второй юнкеръ.

— Не оттягивать дистанціи-и-и!—подхватилъ въ тонъ имъ Данилевскій.—Разъ-два! разъ-два! разъ-два!

И три бравыхъ молодыхъ воина съ неудержимымъ натискомъ врѣзывались въ разношерстную толпу, которая невольно передъ ними разступалась и затѣмъ снова смыкалась, понемногу отирая отъ нихъ четвертаго, болѣе скромнаго путника.

Нагналъ ихъ Гоголь уже на большой открытой лужайкѣ, гдѣ народное «гулянье» было въполномъ разгарѣ. Оркестръ военныхъ трубачей, карусели, «Петрушки», медвѣди съ козобарабанщикомъ, ходячія панорамы, палатки съ сластями, громадные самовары и исполинскія пивныя бочки—собрали тутъ тысячи алчущихъ «хлѣба и зрышицъ». Въ окружности же, подъ оголенными еще деревьями, на болотистой почвѣ, сквозь которую кое-гдѣ лишь пробивалась первая травка, расположились живописныя группы неприхотливыхъ горожанъ и угощались взятою изъ города снѣдью и выпивкой. Отъ общаго говора, крика и смѣха, отъ разныхъ музикальныхъ инструментовъ: барабановъ и трубъ, шарманокъ и гармоникъ, въ воздухѣ стоялъ невообразимый хаосъ звуковъ; но этотъ одуряющій гамъ и гуль, казалось, никого не беспокоилъ, а, напротивъ, возбуждалъ во всѣхъ еще большее веселье.

Для трехъ подпрапорщиковъ, впрочемъ, все это представляло мало интереса. На минутку только приковало ихъ вни-

маніе семейство атлетовъ, которые, одѣтые въ трико, рельефно выказывавшее ихъ развитую мускульную систему, очень ловко и красиво выдѣлывали всевозможныя головоломныя штуки, а въ заключеніе составили живую пирамиду.

— Браво, брависсимо! — одобрили въ одинъ голосъ наши юнкера.

Но когда тутъ окружающая толпа эхомъ завопила то-же, одинъ изъ нихъ бросилъ къ ногамъ акробатовъ серебряный рубль, и всѣ трое двинулись далѣе.

— Завтра, братцы, въ зубрилкѣ продѣлаемъ то-же самое, — замѣтилъ Данилевскій.

— Само собою. Но слышите, какія ноты выводить мошенникъ? Воль-ты-ы-ы, ма-а-ршъ!

Навстрѣчу имъ изъ открытыхъ оконъ ресторана долетали звуки нѣсколькою хоть разбитаго, но сильного еще и пріятнаго тенора. На крыльцѣ ихъ принялъ съ низкимъ поклономъ половой. Помахивая салфеткой, онъ проводилъ ихъ въ ресторанъ, но на порогѣ черезъ плечо обернулся къ отставшему отъ нихъ Гоголю:

— Пожалуйте, господинъ, и для васъ найдется мѣсто.

Тотъ, однако, остановился подъ окошкомъ, въ которое можно было вполнѣ обозрѣть главное помѣщеніе ресторана. На деревянной эстрадѣ стояло полуокругомъ до десяти смуглолицыхъ, чернобровыхъ цыганокъ въ яркихъ цвѣтныхъ нарядахъ, съ картинно-прицѣпленными къ одному плечу расшитыми золотомъ шальми, въ серыгахъ съ подвесками и монистахъ изъ мелкихъ золотыхъ монетъ.

Но покамѣсть онъ еще бездѣйствовали и служили только живописною гирляндой своему наиболѣшему — такому же черномазому цыгану, пожилому и на славу откормленному, еще очень видному, въ нарядномъ бѣломъ кафтанѣ съ золотыми позументами. Пѣль онъ одинъ, сопровождая свое пѣніе притопываніемъ то одной, то другой ногой, легкимъ, но выразительнымъ и преизящнымъ подергиваніемъ плечъ и локтей, и этотъ, такъ сказать, аккомпанементъ тѣлодвиженій необычайно эффектно иллюстрировалъ задушевно-игривый напѣвъ.

Но чтò это онъ запѣлъ теперь? Никакъ ту самую полу-  
малороссийскую, полуцыганскую пѣсню, которую такъ чудесно  
распѣвала когда-то въ Васильевкѣ тетушка Катерина Иванов-  
на, и которую всѣ, начиная отъ маменьки и кончая послѣдней  
дворовой дѣвчонкой, такъ охотно слушали? Да, да!

— «Ой у поли долина,  
А въ долинѣ калина»,

залился пѣвецъ; а подначальный женскій хоръ звучно подхва-  
тиль:

— «Бойденрѣмъ, янтеромъ,  
Духрейдомъ, духтеромъ!»

Онъ спѣлъ, безподобно спѣлъ, надо честь отдать. Но  
что же это такое? Одна изъ цыганокъ внезапно вырвалась изъ  
полукруга и, плавно взмахивая руками, поплыла вокругъ цы-  
гана; за нею другая, за другою третья... Вотъ и всѣ десять,  
подпѣвавъ, кружатся вокругъ своего повелителя все быстрѣе и  
неистовѣе, съ какими-то дикими взвизгиваніями и завыванія-  
ми... Тыфу, безбожницы!

Гоголь отошелъ отъ окошка: та пѣсня, которая въ памяти  
его хранилась до сихъ поръ неприосновенно въ числѣ дру-  
гихъ дорогихъ воспоминаній о милой Украинѣ, была опошлена,  
осквернена.

Не будь только Данилевскаго... Да вѣдь онъ съ своими  
новыми друзьями вернется въ городъ водою на катерѣ. Благодарю  
покорно! Хоть и не потонешь, такъ схватишь навѣрняка  
капитальный насморкъ.

А «старшій козырь», которымъ Данилевскій заинтересо-  
вался было? До козыря ли ему теперь! Вонъ онъ вмѣстѣ съ  
другими рукоплещетъ фараоновымъ дочерямъ, голосить тоже  
какъ сумасшедший: «Бисъ! бисъ!»

Прочь, прочь изъ этого омута!

И нелюдимъ нашъ опять у себя дома, на четвертомъ эта-  
жѣ—не въ домѣ Трута, у Кокушкина моста (откуда онъ  
съѣхалъ послѣ того, какъ Данилевскій переселился въ юнкер-  
скую школу), а неподалеку оттуда по Столлярному переулку

близъ Большой Мѣщанской (теперь Казанская), въ домѣ каретника Іохима<sup>1)</sup>). Заботливый Якимъ заварилъ уже для панича чай, и, прихлебывая изъ стакана, Гоголь погрузился опять въ размышленія: козырнуть или нѣть?

Тутъ взоръ его скользнулъ въ сторону письменного стола и слегка омрачился. На краю стола лежала старая подковка, которую онъ недавно поднялъ на мостовой «на счастье», а подъ подковою—начатое наканунѣ письмо.

Эхъ! первымъ дѣломъ надо дописать, поблагодарить маменьку за присланныя деньги, а тамъ уже мечтать о томъ, чтѣ и ей и Данилевскому еще тайна.

Допивъ залпомъ стаканъ, онъ пересѣлъ къ письменному столу и перечелъ написанное. Послѣ жалобъ на столичную дорожевизну слѣдоваль легкій намекъ на козырь:

«Какъ въ этакомъ случаѣ не приняться за умъ, за вымыслъ, какъ бы добыть этихъ проклѣтыхъ, подлыхъ денегъ, которыхъ хуже я ничего не знаю въ мірѣ? Вотъ я и рѣшился...»

На этомъ письмо прерывалось. А ну, какъ планъ не осуществится? Маменька же, при ея неудержимой фантазіи, вообразить, что все уже сдѣлано, и на радостяхъ подѣлится своею новостью со всѣмъ околоткомъ. Нѣть! лучше до времени промолчать.

Обмакнувъ перо, онъ приписалъ:

«Но, какъ много еще и отъ меня закрыто тайною и я съ нетерпѣнiemъ желаю вздернуть таинственный покровъ, то въ слѣдующемъ письмѣ извѣщу васъ о удачахъ или неудачахъ. Теперь же разскажу вамъ слова два о Петербургѣ».

Перо, не запинаясь, побѣжало по бумагѣ. Изъ двухъ словъ нарости десятки, изъ десятковъ сотни. Разсказавъ о Петер-

<sup>1)</sup> Въ этомъ домѣ Гоголь прожилъ слишкомъ два года. Фамилія и профессія домохозяина остались ему настолько памятны, что впослѣдствіи въ своемъ «Ревизорѣ» онъ заставилъ своего Хлестакова сожалѣть, что «Іохимъ не далъ на-прокатъ кареты; а хорошо бы, чортъ побери, прїѣхать домой въ каретѣ; подкатишь этакимъ чортомъ къ какому-нибудь сосѣду-помѣщику подъ крыльцо съ фонарями» и т. д.

бургъ, нельзя было, понятно, обойти и майское гулянье въ Екатерингофъ.

«Все удовольствіе состоять въ томъ», писалъ онъ, «что прогуливающіеся садятся въ кареты, которыхъ рядъ тянутся болѣе нежели на 10 верстъ, и притомъ такъ тѣсно, что лошадиные морды задней кареты дружески цѣлуются съ богато-убранными длинными гайдуками. Эти кареты безпрестанно строятся полицейскими чиновниками и иногда пристанавливаются по цѣлымъ часамъ для соблюденія порядка, и все это для того, чтобы объѣхать кругомъ Екатерингофъ и возвратиться чиннымъ порядкомъ назадъ, не вставая изъ каретъ...»

Теперь не повѣдать ли еще о народныхъ потѣхахъ, о трехъ подпрапорщикахъ и цыганахъ? Боже упаси! Маменька отъ беспокойства цѣлые ночи спать не будетъ. Лучше на этомъ и закончить:

«Я было направилъ смиренныя стопы свои, но, обхваченный облакомъ пыли и едва дыша отъ тѣсноты, возвратился вспять.»

— Возвратился вспять... — повторилъ онъ про себя вслухъ съ глубокимъ вздохомъ и отложилъ въ сторону перо.

Нѣть, писать рѣшительно невозможно, когда этакъ въ мозгу, рядомъ съ тѣмъ, чтѣ надо писать, жужжитъ цѣлый рой мыслей о чемъ-то другомъ, во сто разъ болѣе важномъ, — о вопросѣ, такъ сказать, жизни и смерти!

Рука его машинально потянулась за книжкой, лежавшей тутъ же на столѣ. То былъ номеръ журнала «Сынъ Отечества и Сѣверный Архивъ», именно № 12, вышедший, какъ значилось на обложкѣ, 23-го марта. Книжка раскрылась сама собой на требуемой страницѣ: видно, не разъ уже была читана и перечитана. Чтѣ же стояло тамъ? Да для обыкновенного читателя ничего особеннаго: стихи какъ стихи, октавы, озаглавленная «Италія»:

«Италія — роскошная страна!  
По ней душа и стонетъ и тоскуетъ...»

Но Гоголь, принявши читать, не могъ уже оторваться и дочелъ до послѣдняго куплета:

«Земля любви и море чарованій!  
Блистательный мірской пустыни садъ!  
Тотъ садъ, где въ облакѣ мечтаній  
Еще живутъ Рафаэль и Торкватъ!  
Узрю-ль тебя я, полный ожиданій?  
Душа въ лучахъ, и думы говорятъ,  
Меня влечетъ и жжетъ твое дыханье,  
Я въ небесахъ весь звукъ и трепетанье!..»

Кто же былъ авторъ этихъ вдохновенныхъ стиховъ? Подписи внизу не значилось. Но достаточно было взглянуть теперь на молодого чтеца, который, пробѣгая тѣ-же строки чуть не въ сотый разъ, былъ «весь звукъ и трепетанье», чтобы угадать автора.

И никто вѣдь въ цѣломъ мірѣ до сей минуты не подозрѣваетъ, что онъ—авторъ! Даже редакторъ его въ глаза не видѣлъ. О! онъ устроилъ это чрезвычайно тонко, политично: отославъ стихи безъ подписи по городской почтѣ; но въ письмѣ къ редактору выставилъ небывалую фамилію «Аловъ», показалъ вымышленный адресъ у черта на куличкахъ—за Нарвскою заставой: не угодно ли справиться на мѣстѣ! Да чего спрятаться о стихахъ невиннѣйшаго свойства? И вотъ они напечатаны даже безъ поправокъ.

А номеръ журнала онъ пріобрѣлъ въ собственность не менѣе практически: подпісался на одинъ мѣсяцъ въ библіотекѣ для чтенія, при чемъ, вмѣстѣ съ платою, внесъ и 2 рубля залога.

- А буде, не дай Богъ, потеряется у меня ваша книга?
- Тогда вы отвѣтите залогомъ.
- И только?
- Только.
- Претензій никакихъ?
- Никакихъ.
- Примемъ къ свѣдѣнію.

Такъ книга на законномъ основаніи была потеряна для библіотеки и ея читателей, а для него пропалъ залогъ: полюбовно разсчитались.

Но то былъ лишь первый пробный опытъ, мелкій козы-

рекъ—стихотвореньице въ пять куплетовъ; теперь же предстояло пустить въ ходъ старшій козырь—цѣлую поэму въ 18-ти картинахъ и съ эпилогомъ—работу двухъ лѣтъ! Какъ тутъ быть? Псевдонимомъ передъ редакціей уже не отвертишься. А тамъ, того гляди, еще и не примутъ: «Простите, но вещь для насъ неподходящая». — «Развѣ такъ ужъ слаба?» — «О, нѣть, въ своемъ родѣ даже очень недурна; но намъ нужны имена, имена! Вотъ когда ваше имя станетъ болѣе извѣстнымъ...» — «Но какъ же ему стать извѣстнымъ, коли вы отказываетесь печатать?» — «Попытайтесь въ другомъ журнale; мы завалены рукописями нашихъ постоянныхъ сотрудниковъ; ваша поэма для насъ слишкомъ, знаете, грузна. Не взыщите». Вотъ тутъ и поди! Держали рукопись у себя цѣлую вѣчность, измѣяли, запачкали; а теперь—«не взыщите!» Сунешься въ другую редакцію—тамъ ужъ по захватанному виду тетради смекнутъ, что она раньше побывала въ другихъ рукахъ, изъ приличія возьмутъ, пожалуй, для просмотра, но хорошенъко и читать не станутъ: «получите, не взыщите!» Обѣгаешь этажъ всѣ редакціи, и въ концѣ концовъ все-таки поневолѣ самъ издашь; а въ журналахъ какой-нибудь злока-рецензентъ еще пустить шпильку: «читали, дескать, уже въ рукописи, да забраковали». И вѣдь правда; возражать даже не приходится.

Гоголь вскочилъ со стула и, заложивъ руки за спину, шагалъ изъ угла въ уголь.

Развѣ отнести къ Смирдину? Онъ издаетъ вѣдь поэмы Пушкина... Но потому-то какъ разъ и не возьмется издать: «Будете Пушкинъ—милости просимъ; а теперь не взыщите».

Нѣть! чѣмъ бѣгать, кланяться какому-то толстосуму, который въ стихахъ смыслить ровно столько же, какъ нѣкое животное въ апельсинахъ, лучше уже издать на свой страхъ. Талантъ, такъ ли, сякъ ли, возьметъ свое. Разослать по экземпляру всѣмъ корифеямъ: судите, рядите, господа! На досугѣ прочтуть, расскажутъ другимъ собратьямъ, что «вотъ, моль, новый талантъ проявился; читали? Прочтите». Глядь, кто-нибудь и въ газетѣ, въ журналѣ откликнется добрымъ словомъ—

и дѣло въ шляпѣ: публика требуетъ уже расхваленную книгу, книга пошла въ ходъ! О, талантъ возьметъ свое!

Давно уже ночь; давно молодой поэтъ лежитъ въ постели и потушилъ свѣчу. Но ему не спится: мысли его, какъ стая легкокрылыхъ птичекъ, порхаютъ по редакціямъ, по типографіямъ, по книжнымъ магазинамъ...

Была не была! Издавать такъ издавать, для осторожности хоть подъ псевдонимомъ. Что еще, въ самомъ дѣлѣ, медлить? Рукопись переписана; снести въ типографію, условиться... Вотъ развѣ что предпослать маленькое предисловіе, чтобы напередъ нѣсколько склонить въ свою пользу читателя?

Гоголь зажегъ опять свѣчу, накинулъ халять, въѣхалъ въ туфли и расположился у письменного стола сочинять предисловіе. Задача тоже! Сколько извелъ онъ тутъ четвертушекъ бумаги! Но наконецъ-то предисловіе было готово и могло быть перебѣлено на оборотѣ заглавной страницы. Было оно очень недлинно:

«Предлагаемое сочиненіе никогда бы не увидѣло свѣта, если бы обстоятельства, важныя для одного только автора, не побудили его къ тому. Это—произведеніе его восемнадцатилѣтней юности. Не принимаясь судить ни о достоинствѣ, ни о недостаткахъ его, и предоставивъ это просвѣщенной публикѣ, скажемъ только то, что многія изъ картинъ сей идилліи, къ сожалѣнію, не уцѣлѣли; онѣ вѣроятно связывали болѣе нынѣ разрозненные отрывки и дорисовывали изображеніе главнаго характера. По крайней мѣрѣ мы гордимся тѣмъ, что по возможности спопѣществовали свѣту ознакомиться съ созданьемъ юнаго таланта».

Дописавъ, Гоголь еще разъ перечелъ написанное и тонко усмѣхнулся. Кому въ голову придетъ, что самъ авторъ гордится такъ «созданьемъ» своего «юнаго таланта»! Гадай, «просвѣщенная публика», разгадывай, кто сей юный талантъ! Ахъ, скорѣе бы утро!





## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

### К о зы р н у л ь.

**Д**оутру Якимъ, заглянувъ въ обычное время въ комнату барина, былъ не мало удивленъ, что тотъ еще спить. Кажись, напился чаю, легъ во-время, а виши ты!..

Когда онъ, спустя часъ, снова просунулъ туда голову, то засталъ Гоголя уже вставшимъ, но молящимся въ углу передъ образомъ съ неугасимой лампадой. Доброе дѣло! Какъ ни какъ, а маменька-то благочестію съ малыхъ лѣтъ пріучила.

Якимъ осторожно притворилъ опять дверь; но когда онъ, нѣсколько погодя, растворилъ ее въ третій разъ, въ полной уже увѣренности, что теперь-то, конечно, не помѣшаетъ, то, къ большему еще изумленію своему, увидѣлъ барина все тамъ же на колѣняхъ кладущимъ земные поклоны. Э-э! что-то не спроста!

А тутъ, когда наконецъ баринъ крикнулъ его, чтобы подальше самоваръ, то такъ заторопилъ, что на поди, точно на пожаръ:

— Живо, живо, друже милый! Поворачивайся! экой туленъ, право!

— Да что у васъ на умѣ, панычу? — не утерпѣлъ спросить Якимъ, подавая барину плащъ. — Молились сегодня что-то дуже усердно. Мабуть, затѣваете що важное? Занюхали ковбасу въ борщи?

— Занюхаль, — былъ отвѣтъ. — Хочу козырнуть.

— Козырнуть?

— Да, и отъ этого козыря для меня все зависитъ: либо панъ, либо прошалъ! Молись, братъ, и ты за меня.

Съ разинутымъ ртомъ глядѣль Якимъ вслѣдъ: «отъ вырвався, якъ заяцъ съ конопель!», — стоялъ самъ еще, какъ пригвожденный, на томъ же мѣстѣ, когда паничъ его сидѣль уже на дрожкахъ-«гитарѣ» и погонялъ возницу, чтобы ѿхалъ скопѣе. Обѣ адресѣ лучшаго типографа Плюшара Гоголь узналъ еще за мѣсяцъ назадъ. Коли разъ печататься, то, понятно, въ первоклассной типографіи: товаръ лицомъ!

Самого Плюшара не оказалось дома; принялъ Гоголя факторъ.

— «Ганцъ Кюхельгартенъ. Идиллія въ картинахъ. Сочиненіе В. Арова. Писано въ 1827 году», — вполголоса проговорилъ онъ на заглавной страницѣ поданной ему тетрадки, перевернувъ страницу, заглянулъ и въ конецъ. — Да вѣдь рукопись ваша не была еще въ цензурѣ?

— Нѣтъ.

— А безъ цензорской помѣтки, простите, мы не въ правѣ приступить къ печатанію.

— Цензоръ-то навѣрное пропустить: содержаніе ни чуть не вольнодумное.

— Почемъ знать, что усмотрить цензоръ: вонъ Красовскій — такъ тотъ «вольный духъ» даже изъ поваренной книги изгналъ! Впрочемъ, условиться можно и до цензуры. Какимъ шрифтомъ будете печатать?

— А право, еще не знаю... Минѣ нравится самый мелкий шрифтъ...

— А я соѣтовалъ бы вамъ взять шрифтъ покрупнѣе да форматъ поменьше; иначе книжечка ваша выйдетъ черезчуръ ужъ жидковата.

Передъ молодымъ писателемъ развернулся огромный фоліантъ съ образцами всевозможныхъ шрифтовъ. У него и глаза разбѣжались. Какъ тутъ, ей-богу, выбрать? Послѣ долгихъ колебаній выборъ его остановился все-таки на излюбленномъ его

шрифтъ—самомъ бисерномъ петитъ, форматъ же онъ принялъ предложенный факторомъ—въ 12-ю долю листа.

— Останетесь довольны,—увѣрилъ факторъ.—Покупатель только взглянетъ—не утерпитъ: «Экая вѣдь прелестъ! Надо ужъ взять». И будетъ разбираться экземпляръ за экземпляромъ, какъ свѣжіе калачи, нарасхватъ. Не успѣете оглянуться, какъ всѣ уже разобраны, приступайте къ новому изданію. А вы, г-нъ Аловъ, сколько располагаете на первый разъ печатать: цѣлый заводъ или полъ-завода?

Гоголь былъ какъ въ чаду. Съ нимъ трактовали самымъ дѣловымъ образомъ, какъ съ заправскимъ писателемъ, предрекали уже второе изданіе... Только что такое « заводъ »? Чортъ его знаетъ!

— Все будетъ зависѣть отъ того, во что обойдется изданіе,—уклонился онъ отъ прямого отвѣта.—Не можете ли вы сдѣлать мнѣ приблизительный разсчетъ.

— Извольте. Бумага ваша или отъ насъ?

— Положимъ, что отъ васъ.

— Въ какую цѣну?

— Да такъ, видите ли, чтобы была не черезчуръ дорога и чтобы все-таки видѣть былъ.

— И такая найдется; хоть и не веленевая, а въ родѣ какъ бы. Карандашъ фактора быстро вывелъ рядъ цифръ.

— Рублей этакъ въ 300 вамъ станеть, если пустить полъ-завода въ 600 экземпляровъ. Но я на вашемъ мѣстѣ печаталъ бы полный заводъ. Весь разсчетъ въ бумагѣ.

— А уступки не будетъ?

Факторъ пожалъ плечами.

— У насъ прификсъ!

— Но я печатаю въ первый разъ, и средства мои...

— Переговорите съ самимъ г-номъ Плюшаромъ; но и онъ врядъ ли вамъ чтѣ уступить. Наша фирма не роняетъ своихъ цѣнъ. Однакожъ печатать-то мы можемъ во всякомъ случаѣ не ранѣе разрѣшенія цензуры. Угодно, мы отошлемъ рукопись отъ себя; но тогда она, чего доброго, залежится до осени.

— До осени!

— Да-сь, время вѣдь лѣтнее; цензора тоже по дачамъ...

— Такъ что же, Боже мой, дѣлать?

— А сами попытайтесь снести къ цензору на квартиру. Оно хоть и не въ порядкѣ, но цензоръ Срединовъичъ, напр., авось, не откажется прочесть вѣдь очереди до переѣзда на дачу.

— Срединовъичъ? — переспросилъ Гоголь. — Но мнѣ, кажется, говорили, что это старый ворчунъ...

— Ворчунъ-то ворчунъ, но вы не очень пугайтесь: не всякая собака кусаетъ, которая лаетъ.

Предупрежденіе фактора было не лишне. Одинъ вѣнчаній видъ цензора, который самъ открылъ дверь Гоголю, могъ хоть кого запугать.

«Ай да голова!» сказалъ себѣ Гоголь, увидѣвъ передъ собою голову съ ввалившимися глазами и щеками и всю опутанную не столько густымъ, сколько запущеннымъ боромъ волосъ: «точно вѣдь дворовые ребята играли ею въ мячъ, пока не забросили на чердакъ, и пролежала она тамъ въ самомъ дальнемъ углу Богъ-вѣсть сколько лѣть и зимъ въ пыли, съ разнымъ старымъ хламомъ, и крысы ее кругомъ обгладали...»

— Ну-съ? — сухо спросилъ владѣлецъ этой головы, окидывая молодого посѣтителя исподлобья враждебно-подозрительнымъ взглядомъ и не пропуская его далѣе прихожей.

— Я имѣю честь говорить съ г-номъ цензоромъ Срединовичемъ?

— Имѣете честь! Вѣрно опять съ рукописью?

— Да, но съ самою маленькою...

— Съ маленькою или большою — не въ томъ дѣло. Извольте обратиться по принадлежности въ цензурный комитетъ.

— Но въ типографіи меня обнадежили, что вы будете столь милостивы...

— Въ типографіи! Въ какой типографіи? Ужъ не Плюшара ли?

— Именно Плюшара.

— Такъ я и зналъ! Вѣчно та-же исторія! Они меня изведутъ... Надо положить этому предѣль!

— Но мнѣ, г-нъ цензоръ,увѣряю васъ, ужасно къ спѣху, и потому только я осмѣлился...

— Всѣмъ господамъ авторамъ одинаково къ спѣху!

— Но иному, согласитесь, все же можетъ быть спѣшнѣе? Ваше превосходительство! у васъ вѣрно есть тоже матушка?

Цензоръ съ недоумѣніемъ уставился на вопрошающаго.

— Что-о-о?

— Матушка у васъ вѣдь есть?

— Странный вопросъ! У кого-же ея нѣть?

— Но жива еще, надѣюсь? Живеть даже, можетъ-быть, съ вами?

— Хоть бы и такъ; однако...

— Дай Богъ ей долгаго вѣку! Вы ее, конечно, любите, почитаете тоже, какъ подобаетъ примѣрному сыну?

— Но, милостивый государь! — нетерпѣливо перебилъ цензоръ. — Я рѣшительно не понимаю...

— Сейчасъ поймете, ваше превосходительство, сю минуту! поймете святая чувства, одушевляющія такого же сына. У меня тоже есть мать, отца, увы! я лишился еще четыре года назадъ, и я у нея одна надежда и опора. До сихъ поръ, до окончанія мною учебнаго курса, она имѣла отъ меня однѣ заботы; теперь я оперился и хотѣлъ бы представить ей въ томъ наглядное доказательство, хотѣлъ бы показать, что могу обратить на себя вниманіе тысячи образованныхъ людей, подобно... не говорю: Пушкину, а все-же...

Мрачныя черты цензора освѣтились, какъ мимолетнымъ лу-  
чомъ, снисходительной усмѣшкой.

— Лавры Мильтиада не даютъ спать Фемистоклу! — прого-  
ворилъ онъ. — Вы еще нигдѣ не печатались?

— Какъ же: въ журналахъ... но пока безъ подписи.

— Зачѣмъ же безъ подписи? Одни искусственные цвѣты дождя боятся. Вѣрно стишки?

— Да. И это вотъ у меня тоже стихотворная поэма.

— Такъ, такъ. Нѣть, кажется, на свѣтѣ грамотнаго юно-  
ши, который не садился бы разъ на Пегаса. Но изъ сотни

этакихъ всадниковъ одинъ развѣ усидить въ сѣдлѣ. Впрочемъ, если журналы, дѣйствительно, не отказывались васъ печатать, то кое-какие задатки у васъ, пожалуй, есть. Такъ и быть, сдѣлаю для васъ исключеніе. Рукопись съ вами?

Гоголь подалъ рукопись и разсыпался въ благодарностяхъ.

— Хорошо, хорошо. А адресъ вашъ здѣсь показанъ?

— Да... т.-е. на оборотѣ вотъ показано, у кого обо мнѣ можно навести справку.

Цензоръ прочелъ написанное на оборотѣ: «Объ авторѣ спрavitься у Николая Васильевича Гоголя, по Столярному переулку, близъ Большой Мѣщанской, въ домѣ Іохима».

— Но намъ нуженъ вашъ собственный адресъ. Васъ зовутъ, я вижу, Аловымъ?

Гоголь покраснѣлъ и замялся.

— Н-нѣть... это псевдонимъ.

— Что же, свое имя вамъ слишкомъ дорого для этихъ стиховъ, или стихи эти слишкомъ хороши для вашего имени? Я надѣюсь, что вы не скрываетесь отъ полиції?

Гоголь принужденно разсмѣялся.

— О, нѣть! Я готовъ назваться вами, если безъ того нельзя, но только вами однимъ. Меня зовутъ... Гоголемъ.

— Николаемъ Васильевичемъ?

— Николаемъ Васильевичемъ.

Цензоръ опять улыбнулся.

— У васъ же, значитъ, о васъ и спрavitься?

Улыбнулся и Гоголь.

— У меня: чего ужъ вѣрнѣ? Такъ когда разрѣшите зайти?

— Зайдите въ концѣ той недѣли.

— Ой, какъ долго! Вѣдь тетрадочка совсѣмъ, посмотрите, тоненькая, да еще стихами... Нельзя ли завтра или хоть послѣ завтра?

— Такъ скоро не обѣщаюсь...

— Ну, такъ дня черезъ три? Будьте великодушны! Вамъ даже прямой расчетъ: скорѣе развязетесь съ надоѣдливымъ человѣкомъ.

— Хорошо; но впередъ говорю: не отвѣчаю.

— И за то несказанно благодаренъ! Но у меня къ вашему превосходительству еще одна просьбица, маленькая, ма-люсенькая, ничуть для васъ не обременительная.

— Чѣдѣ еще тамъ? — съ прежнею рѣзкостью проворчалъ цензоръ, снова нахмурясь.

— Будьте добры передать вашей досточтимой матушкѣ заочный поклонъ отъ неизвѣстнаго ей юноши, который имѣеть вдали, въ глухой провинціи, столь же любимую матушку, денно и нощно возсылающую также молитвы къ Всевышнему о здравьѣ своего первенца.

Цензоръ зорко заглянулъ въ глаза молодого провинціала: что онъ издѣвается, что ли? Но выраженіе лица юноши было такъ простосердечно, что складки на лбу цензора сгладились, и онъ протянулъ наивному провинціалу руку.

— Передамъ, извольте. Вы вѣрно малороссъ?

— Малороссъ.

— По всему видно. Сюжетъ у васъ тоже изъ малороссийскаго быта?

— Нѣть, изъ нѣмецкаго.

— Что такое! Вы, можетъ быть, побывали уже въ Германіи?

— Нѣть еще, но собирался...

— И изучили нѣмцевъ по книгамъ? Этого мало, слишкомъ мало. Удивляюсь я вамъ, право! Когда у васъ подъ рукой такой богатый, нетронутый источникъ, какъ Малороссія съ ея своеобразными обычаями, повѣрьями; только бы черпать... Впрочемъ, навязывать автору сюжеты не слѣдуетъ; пишите о томъ, чѣдѣ вамъ Богъ на душу положить. До свиданья.

Чѣдѣ значитъ иной разъ случайно брошенная, но плодотворная мысль! На доброй почвѣ она, какъ сѣмя, можетъ взойти пышнымъ колосомъ, а тамъ, годъ-другой, глядь, зацвѣется отъ него и цѣлая нива. Брошенная цензоромъ мысль пала на такую добрую почву.

«И въ самомъ дѣлѣ вѣдь», разсуждалъ про себя по пути

домой Гоголь:— «чѣмъ нѣмцы взяли передъ хохлами? Клецками, что ли, и пивомъ? А гдѣ у нихъ наши безподобные «варѣныки-побидѣнки», гдѣ малороссийское сало, которое во рту такъ и таетъ, что помадная конфетка, но въ которомъ они, дурни, даже вкуса не смыслять? А наливки вишневыя, черно-смородинныя, сливовыя, персиковыя и чортъ знаетъ еще какія? А парубки и дивчины съ ихъ звонкими пѣснями и раскатистымъ смѣхомъ, съ ихъ играми и колядками? А казацкая старина и всякая народная чертовщина? А степь разольная, неоглядная, украинская лунная ночь, дивно-серебристая, теплая и мягкая, сказочно-волшебная?..»

Спавшія гдѣ-то въ глубинѣ памяти юноши чувства, свѣжія впечатлѣнія дѣтства внезапно проснулись, оживились, и въ тотъ же день неотосланное еще письмо къ матери дополнілось слѣдующими строками:

«Теперь вы, почтеннѣйшая маменька, мой добрый ангель-хранитель, теперь вѣсъ прошу сдѣлать для меня величайшее изъ одолженій. Вы имѣете тонкій наблюдательный умъ, вы много знаете обычай и нравы малороссіянъ нашихъ, и потому, я знаю, вы не откажетесь сообщить мнѣ ихъ въ нашей перепискѣ. Это мнѣ очень, очень нужно. Въ слѣдующемъ письмѣ я ожидаю отъ васъ описанія полнаго наряда сельскаго дѣячка, отъ верхняго платья до самыхъ сапоговъ, съ поименованіемъ, какъ все это называлось у самыхъ закоренѣлыхъ, самыхъ древнихъ, самыхъ наименѣе перемѣнившихся малороссіянъ; равнымъ образомъ названія платья, носимаго нашими крестьянскими дѣвками, до послѣдней ленты, также нынѣшними замужними и мужиками. Вторая статья: название точное и вѣрное платья, носимаго до временъ гетманскихъ. Вы помните, разъ мы видѣли въ нашей церкви одну дѣвку, одѣтую такимъ образомъ. Объ этомъ можно будетъ разспросить старожиловъ: я думаю, Анна Матвѣевна или Агафья Матвѣевна <sup>1)</sup> много знаютъ кое-чего изъ давнихъ лѣтъ. Еще обстоятельное опи-

<sup>1)</sup> Родныя тетки М. И. Гоголь.

саніе свадьбы, не упуская наималѣйшихъ подробностей. Объ этомъ можно разспросить Демьяна (кажется, такъ его зовутъ? прозванія не помню), котораго мы видѣли учредителемъ свадебъ и который зналъ, повидимому, всевозможные повѣры и обычай. Еще нѣсколько словъ о колядкахъ, о Иванѣ Купалѣ, о русалкахъ. Если есть, кромѣ того, какіе-либо духи или домовые, то о нихъ подробнѣе, съ ихъ названіями и дѣлами... Все это будетъ для меня чрезвычайно занимательно... Еще прошу васъ выслать мнѣ двѣ папенькины малороссійскія комедіи: «Овца-Собака» и «Романа съ Параскою»...

Просить ли также о деньгахъ на печатаніе «Ганца»? Всего два дня назадъ вѣдь пришелъ отъ нея денежный пакетъ, да съ жалобой, что едва-едва собрала столько. Нѣть, зачѣмъ огорчать ее, бѣдную, преждевременно, безъ крайней нужды? Обождемъ до послѣдней минуты; ну, а тамъ, если не будетъ уже другого исхода... Посмотримъ сперва, что скажетъ цензоръ.

Цензоръ разрѣшилъ зайти за рукописью черезъ три дня: ровно черезъ три дня въ тотъ же часъ Гоголь былъ опять у его двери. Отворила ему на этотъ разъ горничная.

— Вамъ барина? Они на службѣ въ комитетѣ.  
— Но не оставилъ ли онъ для меня рукописи?  
— А ваша фамилія?

Гоголь назвался.

— Кажись, что есть что-то. Сейчасъ вызову старую барыню.

Барыня оказалась не только старою, но археологическою древностью. Шаркая по полу нога за ногу, она съ видимымъ усилемъ приплелась до прихожей; дряхлая голова ея въ чепцѣ фасона временъ директоріи колыхалась на плечахъ,—того гляди, отвалится; но, благодаря чепцу, ея скомканый до безличія обликъ все-таки не пугалъ, подобно «чердачному» облику ея сына. Когда же на вопросъ ея: не отъ него ли, Гоголя, былъ переданъ ей сыномъ намедни поклонъ? онъ далъ утвердительный отвѣтъ, поблекшія до цвѣта пергамента черты старушки озарились даже какъ-будто розовымъ отблескомъ.

«Руина при закатѣ солнца», сказаъ себѣ Гоголь и спросиъ вслухъ, не для него ли свертокъ, который быль у нея въ рукахъ?

— Для васъ, голубчикъ мой, для васъ,—прошамкала беззубымъ ртомъ старушка.—Господь благослови васъ!

Странно, но это вполнѣ, очевидно, чистосердечное благословеніе отходящаго изъ міра существа тронуло Гоголя, и онъ какъ-то невольно, безотчетно приложился губами къ сморщенной ручкѣ, подававшей ему свертокъ.

— А не велѣлъ ли сынъ вашъ передать мнѣ еще что-нибудь на словахъ?

— Велѣлъ, родимый: чтобы вы взяли хорошаго корректора. Непремѣнно возьмите! Не всякому же далась грамота.

Кровь поднялась въ щеки Гоголя.

— И больше ничего?

— Говорилъ-то онъ еще... Да нѣтъ, зачѣмъ, зачѣмъ! Ступайте съ Богомъ!

— Нѣтъ, сударыня, теперь я убѣдительно прошу васъ сказать все.

— Охъ, охъ! Коли вы сами того желаете... Онъ находить, что лучше бы вамъ вовсе не писать стиховъ, а коли все-жъ-таки не можете устоять, то и впредь не подписывали бы подъ ними своего настоящаго имени... Нѣтъ, не сердитесь, милень-кій, не сердитесь на него!—всполошилась добрая старушка, увидѣвъ, какъ все лицо молодого стихотворца перекосило.— Можетъ, онъ на этотъ разъ и ошибается. Уповайте на милосердіе Божіе...

Она продолжала еще что-то, но Гоголь безъ словъ откланялся и быль уже на лѣстницѣ.

И дернуло же умнаго человѣка давать дурацкіе совѣты! Ну, чтѣ смыслить онъ въ поэзіи, этакій книжный кротъ?

«Печной горшокъ ему дороже:  
Онъ пищу въ немъ себѣ варить».

Вотъ будетъ напечатано, такъ посмотримъ, что скажутъ истинные цѣнители! А теперь къ Плюшару.

На этот разъ Плюшаръ оказался на мѣстѣ. Черниавый, вертлявый французъ принялъ Гоголя какъ стариннаго заказчика. Однако, на требование что-нибудь сбавить онъ отвѣчалъ вѣжливымъ, но рѣшительнымъ отказомъ.

— Monsieur напрасно жалѣть своихъ денегъ,—убѣдительно говорилъ онъ, безъ запинки мѣшная рѣчь съ французскою.—Во всемъ Петербургѣ, а стало-быть, и во всей Россіи никто вамъ такъ не напечатается. А хорошо отпечатанная книга—что хорошо поданное блюдо: благодаря уже своей вкусной сервировкѣ, возбудить хоть у кого аппетитъ.

— А какъ насчетъ уплаты? Я ожидаю еще денегъ изъ деревни...

— О! на этотъ счетъ monsieur можетъ не беспокоиться. Печатаніе и брошюровка возьмутъ все-таки мѣсяцъ времени; тогда и разсчитаемся. А корректуру держать будетъ самъ monsieur?

— Корректуру?..—повторилъ Гоголь и невольно поморщился: ему припомнился совѣтъ «книжнаго крота».—Корректоръ у васъ вѣдь, вѣроятно, надежный?

— Чего лучше: студентъ-словесникъ.

— Въ такомъ случаѣ присылайте мнѣ одну только послѣднюю корректуру—такъ, знаете, для очистки совѣсти.

— Какъ прикажеть monsieur. Значить, рукопись можно сдать и въ наборъ?

— Да, попрошу васъ.

Такъ рукопись стала набираться, и только третья корректура каждого листа присыпалась автору «для очистки совѣсти». Но та-же совѣсть не давала ему еще писать матери о высылкѣ необходимыхъ для расплаты съ типографіей 300 рублей. Наконецъ, однако, скрѣпя сердце, пришлось взяться за перо.

«Я принужденъ снова просить у васъ, добрая, великодушная моя маменька, вспомоществованія. Чувствую, что въ это время это будетъ почти невозможно вамъ, но всѣми силами постараюсь не докучать вамъ болѣе. Дайте только мнѣ еще нѣсколько времени укорениться здѣсь; тогда надѣюсь какъ-ни-

будь зажить своимъ состояніемъ. Денегъ мнѣ необходимо нужно теперь 300 рублей».

Сознавай онъ въ самомъ дѣлѣ, какъ огорчать его мать эти строки, какихъ хлопотъ и лишеній будетъ стоить ей добыть для него требуемую сумму,—какъ знать? не отказался ли бы онъ отъ самаго изданія книжки? Но узналъ онъ о томъ только изъ ея отвѣтнаго письма, къ которому были уже приложены просимые 300 рублей. Ужели же тотчасъ отослать ихъ обратно? Книжка вѣдь уже отпечатана: разсчитаться съ мосье Плюшаромъ, такъ ли, сякъ ли, надо. Но скоро, скоро маменька будетъ утѣшена, вознаграждена за все сторицей...

И онъ разсчитался съ Плюшаромъ до копейки, поручивъ ему развезти книжки по книжнымъ магазинамъ; нѣсколько экземпляровъ только онъ взялъ домой для разсылки отъ себя по редакціямъ журналовъ и самымъ извѣстнымъ литераторамъ, адресы которыхъ онъ узналъ въ магазинѣ Смирдина. Къ немалой его досадѣ, Пушкинъ былъ въ отлучкѣ въ дѣйствующей арміи на Кавказѣ. Благо, хоть Жуковскій и Плетневъ, эти два покровителя начинающихъ талантовъ, были еще въ Петербургѣ.

— А пани, чи-то барынѣ въ Васильевку сколько штукъ мы отправимъ?—спросилъ Якимъ, помогавшій барину при упаковкѣ.

— Пока ни одной.

— Какъ ни одной!

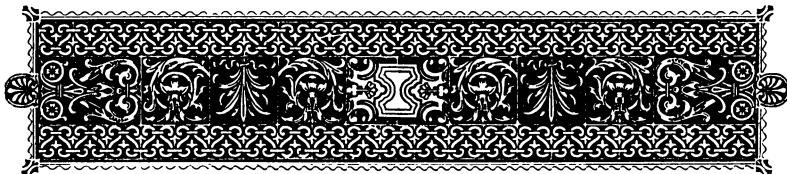
— Есть, знаешь, поговорка: «сиди подъ кустомъ, позакрывши листомъ», и другая: «жди у моря погодки».

— Да чего ждать-то?

— Погодки.

Якимъ головой покачалъ: чудить, ей-богу, баринъ! Но вскорѣ баринъ съ своей книжкой такъ зачудилъ, что окончательно сбилъ его съ толку.





## ГЛАВА ПЯТАЯ.

### А у т о · д а - ф е .

Ири недѣли ждалъ онъ у моря погодки—ни дуновенья! Въ газетахъ и журналахъ ни единаго звука; аппетитная, какъ воздушное пирожное, книжка заманчиво красуется на выставкахъ книжныхъ магазиновъ, а дура-публика проходитъ себѣ мимо, глазами только хлопаетъ! Въ который разъ уже вотъ прогулялся онъ къ Казанскому мосту справиться у Слѣнина,— и все тотъ-же безотрадный отвѣтъ:

— Ни одного экземпляра.

И побрелъ онъ далѣе до Полицейского моста, а здѣсь машинально завернуль по берегу Мойки и остановился не ранѣе, какъ передъ магазиномъ Смирдина, у Синяго моста <sup>1)</sup>). Зайти или нѣтъ? Но приказчикъ замѣтилъ уже его въ открытую дверь; нельзя было не войти.

— Чѣмъ новаго?

Приказчикъ повель плечами:

— Вы насчетъ вашей книжки? Намедни вѣдь я вамъ докладывалъ, что лѣтнєе время—самое глухое, покупателей и на Пушкина не найдется, не токмо...

— Да я вовсе не о томъ! Вообще нѣтъ ли чего новень-каго въ литературѣ?

<sup>1)</sup> Изображенія магазина Смирдина у Синяго моста не сохранилось. На прилагаемомъ рисункѣ, взятомъ съ заглавной виньетки смирдинского альманаха «Новоселье» за 1834 г., представленъ магазинъ того-же книгопродавца по переводѣ его въ 1832 г. на Невскій проспектъ.

— А вотъ обратитесь къ Петру Александровичу: первый источникъ.

Приказчикъ кивнулъ головой въ сторону хозяйствской конторки въ глубинѣ магазина. На своемъ обычномъ мѣстѣ за конторкой возсѣдалъ на высокомъ табуретѣ самъ Смирдинъ; передъ нимъ же стоялъ высокаго роста, широкоплечій и плотный господинъ, насколько можно было разсмотрѣть издали въ профиль его черты лица,—среднихъ лѣтъ.

— Кто это?—вполголоса переспросилъ Гоголь и весь встрепенулся.—Не Плетневъ ли?

— А то кто же? Вы его развѣ еще не знаете? Петра Александровича всѣ литераторы въ Петербургѣ знаютъ, да и онъ-то всѣхъ и все знаетъ...

Гоголь вдоль прилавка съ разложенными книгами сталъ помаленьку подбираться къ конторкѣ, по пути перелистывая то ту, то другую книгу. Приблизившись на десять шаговъ, онъ какъ бы погрузился въ содержаніе одной книги; но ухо ловило каждое слово бесѣдующихъ.

— Да! волка какъ ни корми, а онъ все въ лѣсь глядить,— говорилъ Смирдинъ.—Дивлюсь я, право, напимъ москвичамъ: на прощанье ему поднесли еще золотой кубочекъ съ своими именами!

— Великому таланту нельзя не отдать чести, будь онъ свой русскій или враждебной намъ національности,—отвѣчалъ Плетневъ, отвѣчалъ такимъ тихимъ, мягкимъ голосомъ, какого никакъ нельзя было подозрѣвать въ этомъ могучемъ тѣлѣ.—Впрочемъ, нашего Александра Сергеевича Мицкевичъ, кажется, искренне любить (кто его не любить!) и ставить, какъ поэта, чуть не выше себя самого. Вы слышали вѣдь, какъ они столкнулись разъ на узкомъ тротуарѣ?

— Нѣтъ, не помню что-то.

— Пушкинъ почтительно снялъ шляпу и посторонился: «Съ дороги двойка: тузъ идетъ!» Мицкевичъ же въ отвѣтъ ему: «Козырная двойка туза бѣть».

— Славный отвѣтъ!—разсмѣялся Смирдинъ; тихо засмѣялся за нимъ и Плетневъ.

«Погодите, други мои!» — сказалъ про себя Гоголь: — «придеть время, — и про нѣкоего третьяго станете этакъ анекдоты пересказывать».

— А гдѣ въ настоящее время Пушкинъ? — спросилъ Смирдинъ.

— Да надо думать — съ нашими войсками въ Эрзерумѣ, — отвѣчалъ Плетневъ. — Послѣднюю вѣсточку о себѣ — прелестнѣшіе стихи, отъ которыхъ такъ и вѣтъ Кавказомъ, — онъ прислая мнѣ съ береговъ Терека.

— А вы ихъ не знаете наизусть? Память у васъ, Петръ Александровичъ, на стихи вѣдь самая счастливая.

— Эти-то довольно длинны... Конецъ, впрочемъ, пожалуй, знаю:

... И ницій наѣзникъ таится въ ущельѣ,  
Гдѣ Терекъ играетъ въ свирѣпомъ весельѣ;  
Играетъ и воетъ, какъ эвѣръ молодой,  
Завидѣвшій пищу изъ клѣтки желѣзной;  
И бѣтъся о берегъ въ враждѣ безполезной,  
И лижетъ утесы голодной волной...  
Вотще! Нѣтъ ни пищи ему, ни отрады:  
Тѣснить его грозно нѣмыя громады».

Ну, кто еще у насъ, скажите, въ состояніи написать подобную картину? — съ умиленіемъ заключилъ Плетневъ.

— Художникъ, чтѣ и говорить, — согласился Смирдинъ. — Но у насъ рождаются уже новые таланты.

Добавилъ онъ послѣднюю фразу тономъ не столько ироническими, сколько добродушно-игривымъ, такъ что Гоголь невольно поднялъ голову. Такъ и есть! Злодѣй-книгопродавецъ, съ улыбкой поглядывая въ его сторону, беретъ съ полки и подаетъ Плетневу маленькую, тоненькую книжонку — очевидно, его «Ганца».

— Да, вы вотъ о комъ! — сказалъ Плетневъ. — Вещица эта мнѣ уже известна. Молодой авторъ былъ столь внимателенъ, что доставилъ мнѣ экземпляръ своей поэмы. Но оригинального въ ней, сказать между нами, очень мало.

— Онъ подражаетъ, должно быть, тоже Пушкину?

— Какъ вамъ сказать? Кое-что, точно, навѣяно будто



## Книжный магазинъ Смирдина

въ 1832 г.

(Рисунокъ Сапожникова).

На первомъ планѣ—Пушкинъ и князь Вяземскій (съ книгой въ рукѣ), лѣ-  
вѣ—приказчикъ Цвѣтковъ, знатшій наизусть, по нумерамъ каталога,  
всѣ книги въ магазинѣ, за конторкой—самъ Смирдинъ въ бесѣдѣ съ  
Сенковскимъ, далѣе, за той-же конторкой—приказчикъ Ножевщиковъ.



«Онъгинымъ»: есть у него и своя Татьяна съ няней, и сонъ Татьяны, и письмо Онъгина... Но въ общемъ онъ взялъ себѣ въ образецъ нѣмца Фосса, и именно идилю его «Луиза». Дѣйствіе происходитъ точно такъ же въ Германіи; даже имя героини—Луиза; у Фосса она—дочь пастора, у Алова—пасторская внучка. Тамъ и здѣсь кушаютъ очень вкусно, тамъ и здѣсь кончается свадьбой...

— Такъ что книгѣ г. Алова вы не предрекаете особенного сбыта?

— Это бы еще не бѣда: есть книги, которыя покупаются, да не читаются; есть другія, которыя читаются, да не покупаются; но есть и такія, которыя только пишутся, но не покупаются и не читаются.

— И къ этому-то третьему разряду вы относите «Ганца Кюхельгардена»?

— Можетъ быть, я и ошибаюсь,—продолжалъ все такъ же мягко Плетневъ.—Дай Богъ! Всякому такому начищающему автору впереди, конечно, мерещится слава. Но всякаго изъ нихъ я глубоко сожалѣю и хотѣлъ бы предостеречь словами Карамзина: «Слава, подобно розѣ любви, имѣть свое тернѣ, свои обманы и муки. Многіе ли бывали ею счастливы? Первый звукъ ея возбуждаетъ гидру зависти и злословія, которыя будутъ шипѣть до гробовой доски и на самую могилу вашу излѣоть ядъ свой». И Алову не избѣгнуть той же участіи: журнальные людоѣды, боясь, съѣдѣтъ живьемъ бѣднягу.

— А за него развѣ уже принялись?

— Принялись—въ «Московскомъ Телеграфѣ», и, по-моему, даже черезчуръ жестоко.

— Но Полевой, кажется, человѣкъ умный, европейски-цивилизованный...

— Да, людоѣдъ, умѣющій уже обходиться помошью ножа и вилки.

Въ глазахъ у Гоголя потемнѣло, руки и ноги у него похолодѣли, колѣни задрожали. Онъ долженъ былъ ухватиться за край прилавка и, самъ не зная какъ, выбрался вонъ изъ

магазина. Четверть часа спустя онъ въ общей залѣ Публичной библиотеки отыскивалъ въ послѣднемъ номерѣ «Московскаго Телеграфа» рецензію «цивилизованнаго людоѣда». Ка-каково же ему было прочесть слѣдующее о своемъ дорогомъ «Ганцѣ»:

«Издатель сей книжки говоритъ, что сочиненіе г. Алова не было назначено для печати, но что важныя для одного автора причины побудили его перемѣнить свое намѣреніе. Мы думаемъ, что еще важнѣйшія причины имѣль авторъ не издавать своей идилии. Достоинство слѣдующихъ стиховъ укажетъ на одну изъ сихъ причинъ:

«Миѣ лютыя дѣла не новость;  
Но демона отрекся я.  
И остальная жизнь моя—  
Заплата малая моя  
За остальную жизни повѣсть»...

Заплата такихъ стиховъ должно бы быть сбереженіе оныхъ подъ спудомъ».

Зашипѣла гидра! О славѣ пока, конечно, уже и не мечтай. Да и что въ ней, въ самомъ дѣлѣ? Не говорится ли и въ его «Ганцѣ»:

«Лучистой, дальнею звѣздой  
Его влекла, тянула слава,  
Но ложень чадъ ея густой,  
Горька блестящая отрава...»

А чѣмъ, напр., этотъ куплетъ не хороши? Въ томъ же «Московскомъ Телеграфѣ» попадаются стихи куда слабѣе. Погодимъ, что скажутъ другіе.

Съ «отравленнымъ» сердцемъ, но высоко-поднятою головой непризнанный авторъ отправился во-свойси. Здѣсь, при входѣ его въ комнату, навстрѣчу ему вскочила со стула краснощекій молодчикъ.

— Вотъ и мы въ вашей Сѣверной Пальмирѣ!

— Красненький! — успѣль только произнести Гоголь, и очутился уже въ объятіяхъ нежданнаго гостя.

То былъ Прокоповичъ, давнишній его нѣжинскій — если не другъ, то пріятель и самый вѣрный пособникъ его въ това-

рищескихъ спектакляхъ. Будучи классомъ ниже Гоголя, онъ теперь только окончилъ курсъ «гимназіи высшихъ наукъ» князя Безбородко и тотчасъ покатилъ также попытать счастья въ «Сѣверную Пальмиру».

— Вотъ и мы! — повторялъ онъ, потирая свои мягкія, влажные руки и въ третій или четвертый разъ отъ полноты чувствъ прижимая къ груди Гоголя.— Ну, что, дружище, какъ тебѣ здѣсь живется? Гдѣ пристроился? Часто видаешься съ Данилевскимъ?

Радость свиданія такъ и свѣтилась изъ его голубыхъ, на выкатѣ, безхитростныхъ глазъ, со всего его свѣжаго, лунообразнаго облика. Не дослушавъ, чтѣ отвѣчалъ ему пріятель, онъ подскочилъ вдругъ къ своему раскрытому на полу чемодану и, порывшись, съ торжествующимъ видомъ досталъ со дна его небольшую книжку.

— Привѣтъ съ Украины—Котляревскаго «Энеида»! Въ Москвѣ, братъ, одинъ землячекъ хотѣлъ было насильно отобрать у меня, но я отвоевалъ для тебя.

— Такъ ты ѿхалъ черезъ Москву?

— Понятное дѣло! Какъ же было не посмотреть на царь-колоколъ и на царь-пушку, на Ивана Великаго и на Михаила Погодина—пока еще не столь великаго? Послѣдній повезъ меня, разумѣется, тотчасъ въ Симоновъ монастырь поклониться праху бѣднаго Веневитинова. Прекрасную эпитафию начерталъ на его надгробномъ камнѣ старикъ Дмитріевъ:

«Здѣсь юноша лежитъ подъ хладною доской,  
Надъ нею роза дышетъ,  
А старость дряхлою рукой  
Ему надгробье пишетъ».

Ну, да вѣдь кому жить, кому помирать. Помнишь вѣдь нашего милаго Ландражина? «Le roi est mort—vive le roi!» А мы съ тобой можемъ воскликнуть: «умеръ поэтъ—да здравствуетъ поэтъ!» Якимъ твой выдалъ мнѣ сейчасъ подъ секретомъ, что ты напечаталъ уже цѣлую книжку стиховъ... .

— Вотъ вздоръ-то! чепуха! А ты и повѣрилъ? Ха-ха-ха-

ха! — разсмѣялся Гоголь, но смѣхъ его вышелъ не совсѣмъ естественъ. — Дурень этотъ видѣлъ, что мнѣ приносятъ изъ типографіи какіе-то печатные листы, и съ великаго ума заключилъ, что писаніе это мое.

— А то чье же?

— Да просто корректура, которую я веду для типографій; платить хоть гроши, но досуга у меня ровно двадцать четыре часа въ сутки.

— Но зачѣмъ же ты покраснѣлъ? Ну, ну, ладно, не буду. А знаешь ли, Яновскій, какъ я этакъ погляжу на тебя, ты вовсе мнѣ вѣдь не нравишься.

— Яновскаго, братъ, уже нѣть — ау! Есть только Гоголь. Чѣмъ же я тебѣ не нравлюсь?

— Всѣмъ видомъ твоимъ: и какъ-то осунулся, и покашливаешь, и завель себѣ на лицѣ какіе-то бутоны...

Гоголь горько усмѣхнулся.

— Лѣто — ну, и цвѣту! Докторъ увѣряетъ, что это отъ золотухи, — продолжалъ онъ, переходя на серіозный тонъ. — Но я такъ полагаю, что вообще отъ слабой комплекціи. Вонъ у стѣны видишь стулъ о трехъ ножкахъ.

— Ну?

— Сколько времени стоитъ онъ уже такъ, прислонясь, а стоять твердо не научился. Такъ вотъ и я: простудился весною — и все не могу оправиться: въ горлѣ скребеть, грудь ломить, на лицѣ эти украшенія...

— Да ты и мальчикомъ вѣдь былъ уже худенькій, хиленъкій. Какъ сейчасъ помню, какъ тебя родители привезли изъ деревни въ гимназію. Смотри: что такое? Раскутываютъ какую-то маленькую фігурку изъ цѣлой кучи одѣяль, платковъ, мѣховъ, точно куколку изъ ваты. Раскутали, — у меня, признаюсь, даже сердце сжалось: ахъ, бѣдненький! вокругъ глазъ вѣки вздутыя и красныя, лицо все въ пятнахъ, уши повязаны пестрымъ платкомъ...

— Да, я страдалъ тогда и ушами. Натура, говорю тебѣ, подлая.



Николай Яковлевичъ

ПРОКОПОВИЧЪ.



— Такъ тѣмъ нужнѣе тебѣ, голубчикъ, принять радикальныя мѣры, чтобы поправить изъянны натуры.

— Докторъ тоже совсѣмъ мнѣ съѣздить въ Любекъ: морскимъ воздухомъ-де заживить грудь и горло, а купаньемъ въ Травемюнде—кожу. О, какъ охотно я послѣдовалъ бы его совсѣму! Сегодня же, сию минуту сѣль бы на пароходъ, чтобы убраться изъ этого гнилого болота и никогда уже не возвращаться!

Слова эти вырвались у Гоголя чуть не воплемъ отчаянья, такъ что и Прокоповичъ, при всей своей простотѣ, понялъ, что пріятель его страдаетъ не только тѣломъ, но и духомъ. Какъ узнать его тайну, чтобы помочь страдальцу? Не лучше ли спросить прямо?

— А знаешь чтѣ, Николай Васильевичъ: мнѣ сдается, что къ тебѣ за воротникъ забралась букашка.

Гоголь, шагавшій изъ угла въ уголъ, въ недоумѣніи остановился передъ пріятелемъ.

— Букашка? какая букашка?

— А почемъ я знаю. Я самъ хотѣлъ спросить тебя. Въ деревнѣ тебѣ, безъ сомнѣнія, случалось гулять въ обществѣ по полямъ, по лугамъ?

— Сколько разъ.

— Такъ вотъ, усядешься ты, бывало, съ другими отдохнуть на траву, болтаешь, шутишь; какъ вдругъ, о, ужасъ! чувствуешь, что у тебя по спинѣ ползеть что-то. Ты продолжаешь говорить, пріятно улыбаться, но въ то-же время мысленно невольно слѣдишь за путешествіемъ непрошенаго гостя по твоему тѣлу, и нѣтъ у тебя уже другой мысли, какъ бы отѣлаться отъ этой мелкой, но ненавистной нечисти...

— И удрать для этого хоть въ Любекъ?—досказалъ Гоголь.—Но ни тебѣ, любезный, ни кому другому до моей букашки нѣтъ дѣла, и отряхаться отъ нея публично я никогда не буду. Такъ и знай!

— Да я, братъ, изъ одной дружбы...

— Настоящая дружба не залѣзаетъ лапой куда не просятъ, хотя бы и за букашкой.

— Ну, хорошо, хорошо, не буду.

Поселившись вмѣстѣ съ Гоголемъ, Прокоповичъ имѣлъ теперь полную возможность во всякое время дня наблюдать за нимъ, и съ каждымъ днемъ все болѣе убѣждался, что по спинѣ его друга, дѣйствительно, ползетъ букашка. Но и Якиму, видно, была дана бариномъ на этотъ счетъ строгая инструкція, потому что на всѣ разспросы у него былъ одинъ отвѣтъ: «знать не знаю, вѣдь не вѣдаю».

Самъ Гоголь, между тѣмъ, сдѣлался ежедневнымъ посѣтителемъ знакомой кофейни и тщательно просматривалъ всѣ получавшіяся тамъ петербургскія и московскія газеты: не отзовется ли еще кто обѣ его букашкѣ — «Ганцѣ»? И вотъ 20 іюля въ «Сѣверной Пчелѣ» ему тотчасъ бросилась на глаза слѣдующая библіографическая замѣтка:

«Идилія сія состоить изъ осмнадцати картинъ. Въ сочинителѣ замѣтно воображеніе и способность писать (со временемъ) хороши стихи, ибо издатели говорятъ, что «это произведеніе его восемнадцатилѣтней юности»; но скажемъ откровенно: сіи господа издатели напрасно «гордятся тѣмъ, что по возможности спопыществовали свѣту ознакомиться съ созданіемъ юнаго таланта». Въ «Ганцѣ Кюхельгартенѣ» столь много несообразностей, картины часто такъ чудовищны, и авторская смѣлость въ поэтическихъ украшеніяхъ, въ слогѣ и даже въ стихосложеніи такъ безотчетлива, что свѣть ничего бы не потерялъ, когда бы сія первая попытка юнаго таланта залежалась подъ спудомъ. Не лучше ли бѣ было дождаться отъ сочинителя чего-нибудь болѣе зрелага, обдуманнаго и обработаннаго?»

— Господинъ! чтѣ вы дѣлаете? — раздался надъ его ухомъ испуганный окрикъ полового.

Тутъ только Гоголь замѣтилъ, что судорожно мялъ и комкалъ газету. Пробормотавъ что-то въ свое оправданіе, онъ выпустилъ газету изъ рукъ и выбѣжалъ вонъ на улицу.

Весь Петербургъ, вся Россія прочитаетъ вѣдь эту ядовитую отповѣдь; многіе, конечно, и теперь уже прочли. Вонъ и прохожіе смотрятъ на него какъ-то странно, точно имъ кто подсказалъ, что «вотъ, моль, авторъ чудовищной поэмы!» Но откуду же имъ знать-то? Даже книгопродающимъ онъ, къ счастью, не открылъ своего настоящаго имени. Теперь склонить бы лишь концы. Но какъ? Дома—Прокоповичъ, а ему признаться въ своеемъ позорѣ невозможно... Да! тѣкъ всего лучше.

Взбѣжалъ впопыхахъ на свой четвертый этажъ, онъ, не снимая плаща, досталъ изъ комода пачку комиссіонныхъ квитанцій книжныхъ магазиновъ и украдкой сунулъ въ карманъ, чтобы не замѣтилъ Прокоповичъ, сидѣвшій тутъ же на диванѣ съ книгой.

— Ты что же это, братъ, не раздѣваешься?—спросилъ Прокоповичъ, поднимая голову.—Уходишь снова?

— Да...

— Такъ я, пожалуй, прогуляюсь съ тобою; не мѣшаетъ тоже провѣтриться.

— Но я по дѣлу...

— Ну, что жъ, я провожу тебя; можетъ-быть, могу быть тебѣ еще полезенъ.

— Нѣть, нѣть, спасибо... Не такое дѣло... Я возьму Якима... Мы пойдемъ на извозчикъ... отсюда далеко...

— Но отчего, скажи, я не могу замѣнить Якима? Я всегда радъ услугить тебѣ, дружище. Въ чемъ дѣло?

Вотъ привязался! Чтобы тебѣ, дружище, провалиться съ твоими услугами!

— Объяснять долго,—отвѣчалъ Гоголь вслухъ,—да и дѣло для тебя вовсе не интересное. Эй, Якиме!

— Эге!

— Бери картузъ и иди со мной.

Отъ Столлярнаго переулка до Банковскаго моста рукой пойдатъ. Здѣсь былъ нанять на часы ломовой извозчикъ.

— Да что мы опять съѣзжаемъ?—проворчалъ Якимъ.

— Нѣть, мы обѣдемъ всѣхъ книжниковъ и соберемъ всѣ

мои книги,— объяснилъ баринъ.— Но обѣ этомъ ни Николаю Яковлевичу, ни кому другому ни-гугу. Понимаешь?

— Понимаю... а все-жъ-таки ничего не понимаю!

— И нечего тебѣ понимать. Не для Гриця паляница.

Начиная съ Смирдина и кончая Глазуновыемъ, они обѣздили всѣхъ книжниковъ, которые не безъ удивленія, но, по-видимому, и безъ сожалѣнія возвращали всѣ показанные въ квитанціяхъ экземпляры злосчастнаго «Ганца». Якимъ только головой качалъ, укладывая пачку къ пачкѣ на подводу.

— А теперечки куды?

— Сейчасъ узнаешь.

Уже прежде какъ-то на своихъ «географическихъ» странствіяхъ по столицѣ, Гоголь замѣтилъ въ одномъ глухомъ переулкѣ надпись надъ подъѣздомъ «Номера». Передъ этимъ-то подъѣздомъ остановилъ онъ свой транспортъ, самъ поднялся наверхъ и нанялъ номеръ, а затѣмъ приказалъ Якиму тащить туда книги. За отсутствіемъ въ лѣтнюю пору постоянъцевъ, коридорный охотно помогалъ Якиму при этой операциі.

— Прикажете самоваръ?— спросилъ онъ Гоголя, когда была внесена послѣдняя пачка.

— Ничего мнѣ не нужно, кромѣ покоя! Нѣ, получи и проваливай!

Гоголь сунулъ ему въ руку пятиалтынный и захлопнулъ дверь передъ его носомъ. Якимъ стоялъ посреди комнаты, отдуваясь отъ перенесенныхъ трудовъ, и съ недоумѣніемъ слѣдилъ глазами за бариномъ: что-то у него на умѣ? Виши ты, досталъ изъ угла кочергу, открылъ дверку печки и шаритъ внутри.

— Открой-ка, братику, трубу.

Якимъ, вмѣсто того, только ротъ разинулъ.

— Я не о твоей трубѣ говорю, а о печной... Вьюшку вынѣ, слышишь?

— Да на что, паночку? Невже въ такую духоту топить еще станемъ? Да и дровъ-то не положено...

— И безъ нихъ затопимъ. Дѣлай, чтѣ приказываются, и не мудри, пожалуйста.

Якимъ вынулъ выюшку. Баринъ же тѣмъ временемъ за-свѣтилъ свѣчу, поставилъ ее на полъ около открытой печки, пододвинулъ себѣ стуль и усѣлся съ кочергой въ рукахъ.

— Ну, а теперь развязывай-ка пачки.

— Царица Небесная! Что вы, паночку, затѣваете?

— Ауто-да-Фе.

— Это что-же такое?

— А сейчасъ увидишь. Развязывай же, говорять тебѣ, да поближе сюда пододвинь. Ну, скоро ли?

Взявъ верхнюю книжку изъ развязанной пачки, Гоголь разодралъ ее по листамъ, зажегъ послѣдніе на огнѣ и бросилъ въ глубину печки, послѣ чего принялъся точно такъ же за слѣдующую книжку.

Якимъ, не безъ основанія вообразивъ, что бѣдный баринъ спятилъ съ ума, хотѣлъ было удержать его за руку. Но Гоголь отстранилъ его и злобно разсмѣялся.

— Слыхалъ ты, братику, или нѣть, что въ былые времена еретиковъ да и книги ихъ еретическія на кострахъ сжигали?

— Гдѣ слыхать-то!

— Такъ эта-кая-то штука и называется ауто-да-Фе.

— Каждый дидко въ свою дудку грае! Ой, лихо! А ваши книжки хиба тоже еретическія?

Гоголь снова усмѣхнулся.

— Да, ересь поэтическая...

— Какая тамъ ни будь, а коли ересь, такъ, знамо, лучше сжечь! Ахъ, ахъ, до чего мы дожили! Да нельзя ли хошь въ мелочную лавочку сбыть...

— Чтобы тамъ сельди завертывали? Удружишь! Для этого моя ересь все-таки слишкомъ хороша. Однако, на вотъ кочергу: можешь тоже подсоблять.

И стала Якимъ подсоблять барину: одинъ рвалъ книжки и предавалъ ихъ огню, другой поворачивалъ вспыхивавшіе листы кочергою, чтобы лучше горѣли, и въ какой-нибудь часть времени вся поэтическая ересь, потребовавшая на свое созданіе

цѣлыхъ два года, въ количествѣ безъ малаго 600 экземпляровъ, въ искрахъ и дымѣ вылетѣла буквально въ трубу.

О! еслибы чудомъ какимъ-нибудь съ неба свалился крупный, тысячный кушъ, чтобы на первомъ же иностранномъ пароходѣ умчаться на край свѣта! Вѣдь совершались же чудеса въ былое время? Отчего бы не быть имъ и въ девятнадцатомъ вѣкѣ?





## ГЛАВА ШЕСТАЯ.

### Б е зъ о г л я д к и.

---

**А** къ тебѣ, братъ, изъ почтамта пришла повѣстка и на тысячуную сумму.

Такими словами встрѣтилъ Гоголя дома Прокоповичъ. У того и руки опустились.

Вотъ оно, чудо-то!

— Что съ тобой, Николай Васильевичъ? — озабоченно спросилъ Прокоповичъ, видя, что пріятель его совсѣмъ измѣнился въ лицѣ и стоить какъ вкопанный.

Тутъ только Гоголь очнулся и быстро подошелъ къ столу, на которомъ лежала повѣстка.

Вѣрно: «Денежный пакетъ на 1.450 рублей». Да на его ли имя? Какъ же: «Николаю Васильевичу Гоголю-Яновскому».

— Отъ кого бы это могло быть? — заговорилъ опять Прокоповичъ, вслухъ произнося вопросъ, который мысленно задалъ себѣ уже самъ Гоголь. — Ты, можетъ быть, писалъ своей матушкѣ о своей болѣзни, просилъ выслать тебѣ на поѣздку въ Любекъ?

А что же? Хоть онъ и не просилъ именно на это денегъ, но маменька знать о совѣтѣ докторовъ и по своей безграницной добротѣ достала для него гдѣ-нибудь... А если деньги не отъ нея? Отъ кого бы ни были, развѣ онъ могутъ имѣть теперь какое-нибудь иное назначеніе?

— Писалъ, да, — отвѣчалъ онъ и взглянулъ на часы: экая Школа жизни великаго юмориста.

вѣдь досада! уже пятый часъ: почтамтъ закрыть; придется ждать до завтра.

Давно не провелъ онъ такой беспокойной ночи; съ восходомъ солнца онъ не могъ уже сомкнуть глазъ, а въ половинѣ восьмого былъ на ногахъ. Якимъ едва успѣль уговорить барина выпить передъ уходомъ хоть стаканъ чаю. Второпяхъ онъ обжегъ себѣ горячимъ чаемъ и внутренности. Ну, да чортъ съ ними! Почтамтъ вѣдь открывается уже въ 8.

Прокоповичъ оказался правъ: денежный пакетъ былъ, въ самомъ дѣлѣ, отъ матери Гоголя, но, увы! не на поѣздку его въ Любекъ. Васильевка ея была заложена въ ссудной казнѣ опекунского совѣта, и всѣ высланные 1.450 рублей она поручала сыну внести туда въ уплату срочныхъ процентовъ, горько жалуясь при этомъ, что только сосѣдъ Борковскій согласился ссудить ее такою крупною суммою, но тутъ же отобралъ у нея большой мѣдный кубъ изъ винокурни...

Эхъ, маменька, маменька! кубъ кубомъ, а вѣдь и сынъ-то единственный, будущая опора въ жизни, чего-нибудь да стоять? Остаться въ Петербургѣ развѣ не то же, что дать свести себя прямо на Волково? Протянешь еще, пожалуй, мѣсяцъ, другой, а тамъ Прокоповичъ отправить къ ней лаконическую, но громовую цидулу: «Съ душевнымъ прискорбiemъ имѣю честь увѣдомить, что любезнѣйшій сынъ вашъ Николай волею Божией...» и т. д. И вѣсть эта убьетъ несчастную, навѣрное убьетъ! Пусть она читаетъ ему чуть не въ каждомъ письмѣ «мораль», да вѣдь все отъ безмѣрной родительской любви. Вотъ и теперь даже къ этому письму приложила цѣлый во-рохъ матеріаловъ о малороссийскихъ обычаяхъ и повѣряхъ, которые онъ просилъ собрать для него. Какихъ хлопотъ ей это, вѣрно, стоило! Ахъ, маменька, милая, безцѣнная моя! Чѣмъ дѣлать, чтобы не слишкомъ огорчить ее да и сохранить ей сына? Творецъ Небесный, просвѣти Ты меня!

Терзаясь такимъ образомъ, онъ безотчетно шелъ впередъ да впередъ—сперва по Почтамтской, потомъ по Малой Морской, пока не уперся въ Невскій. Здѣсь повернуль онъ въ

сторону Казанского собора, а увидѣвъ его передъ собою, какъ бы подталкиваемый невидимою силой, поднялся на паперть и вошелъ въ соборъ. На улицѣ, внѣ стѣнъ соборныхъ, слѣпило и жгло юльское солнце, гудѣлъ и грохоталъ многолюдный городъ. Здѣсь вошедшаго разомъ охватило торжественнымъ безмолвиемъ, прохладнымъ полумракомъ, словно онъ вступилъ въ совершенно иной, неземной міръ. И въ самомъ отдаленномъ притворѣ онъ опустился на колѣни, чтобы припасть пылающимъ лбомъ къ холодному каменному полу...

Когда онъ, полчаса спустя, вышелъ опять изъ собора, на душѣ у него не то, чтобы полегчало, но было зловѣще-спокойно, какъ у больного, приговоренного врачами къ смерти: что пользы волноваться? По крайней мѣрѣ чистъ передъ людьми и передъ Богомъ. Сейчасъ снесетъ всю сумму въ ссудную казну, а тамъ будь что будетъ! Который часъ-то? Только девять. Никого изъ господъ чиновниковъ тамъ, конечно, еще не застанешь. Пройтись развѣ покамѣстъ по набережной Невы? Немножко хоть освѣжиться отъ этого несноснаго зноя...

Со взморья, дѣйствительно, вѣялъ препріятныи, живительный вѣтерокъ, и Гоголь впивалъ его полною грудью. Точно, вѣдь, здоровье глотками пьешь! Вотъ бы куда, въ море, за море!

И алчущій взоръ его устремилъся внизъ по Невѣ ко взморью. А на томъ берегу, за академией художествъ, виднѣлся цѣлый лѣсъ корабельныхъ мачтъ и дымящихъ пароходныхъ трубъ. Не иностранныя ли то суда? Эхъ-эхъ-эхъ! А любопытно все же взглянуть, на которомъ изъ нихъ онъ укатилъ бы въ Любекъ?

И вотъ онъ уже на мосту, вотъ и на Васильевскомъ за академией, противъ 10-й линіи. Вблизи, отдаленно взятыя, суда эти на видъ какъ-то менѣе надежны и не такъ ужъ привлекательны, за исключенiemъ развѣ вотъ этого, пузатаго, массивнаго, своею солидностью да и опрятностью внушающаго невольное довѣrie.

— Куда идеть этотъ пароходъ? — отнесся Гоголь къ одному изъ судорабочихъ, которые гуськомъ, одинъ за другимъ, перетаскивали туда съ берега хлѣбные кули.

— Nach Lübeck, mein Herr,—отозвался за рабочаго мужчина съ загорѣлымъ, обвѣтристившимся лицомъ, очевидно, капитанъ, наблюдавшій на палубѣ за нагрузкой и производившій своей коренастой фігурой, своимъ рѣшительнымъ видомъ столь же внушительное впечатлѣніе, какъ и его пароходъ.—Дней черезъ пять снимемся уже съ якоря. Если вы собираетесь за границу, то лучшей оказіи вамъ не найти. Милости просимъ.

Благодаря усердному чтенію нѣмецкихъ авторовъ въ послѣдній годъ своего пребыванія въ нѣжинской гимназіи, Гоголь не только изрядно понималъ обыкновенную нѣмецкую рѣчь, но и самъ могъ объясняться, съ грѣхомъ пополамъ, съ нѣмцами.

— Mnѣ и то представлялся случай ѿхать за границу,—отвѣчалъ онъ со вздохомъ.—Но дѣло разстроилось...

— Ну, можетъ-быть, еще и устроится. Перевезу я васъ не дороже другихъ; а удобства, комфорть—даже въ каютѣ второго класса. Или вы взяли бы мѣсто въ первомъ?

— Нѣтъ, въ первомъ ни въ какомъ случаѣ.

— Ну, что жъ, и во второмъ прекрасно, да и общество болѣе обходительное. Не угодно ли самимъ осмотрѣть каюту?

— Благодарю васъ; но такъ какъ я, все равно, не поѣду...

— Что жъ такое? Посмотрите—и только. За поглядѣніе мы ничего не беремъ. Въ другой разъ поѣдете; я вѣдь здѣсь въ Петербургѣ не въ первый разъ и не въ послѣдній.

Какъ было устоять противъ такого любезнаго приглашенія? Вѣдь въ самомъ дѣлѣ можно теперь и не ѿхать, а впередъ приглядѣть себѣ на всякий случай хорошенъкое, уютное мѣстечко...

Перебравшись по сходни на пароходъ, Гоголь слѣдомъ за капитаномъ спустился по трапу въ каюту второго класса.

— Вотъ, изволите видѣть, общая каюта,—объясняль капитанъ:—тутъ вы встрѣчаетесь, знакомитесь съ другими пассажирами, людьми всякихъ націй. Человѣку молодому, какъ вы, это должно быть даже поучительно для изученія нравовъ.

— Гмъ... А гдѣ же отдѣльныя каюты?

— Кають отдѣльныхъ нѣтъ, но есть отдѣльныя койки за

занавѣсками, чтò въ сущности одно и то-же. Вотъ не угодно ли взглянуть: задернется этаکъ занавѣской—и никто васъ не видить, не беспокоитъ. Верхнія койки имѣютъ еще то преимущество, что у каждой свой иллюминаторъ (капитанъ указалъ на круглое оконце въ бортъ судна): свѣту довольно; можете читать или мечтать—*ad libitum*. Матрацъ мягкий, бѣлье чистое. Хотите свѣжимъ воздухомъ подышать,—откроете иллюминаторъ, какъ форточку въ спальнѣ. Мало вамъ этого,—подниметесь на палубу, гуляете тамъ на просторѣ хоть до зари. Ночи теперь въ юлѣ вѣдь теплыя, южныя, а морской воздухъ—тотъ же жизненный элексиръ, здоровье даже воздуха Альпъ. Цвѣть лица у васъ, *mein lieber Herr*, простите, совсѣмъ нездоровы. Поговорите съ докторами: они навѣрное присовѣтуютъ вамъ этаکую поѣздку моремъ.

— Докторъ мой и то рекомендовалъ мнѣ морскія купанья въ Травемюнде...

— Ну, вотъ! чтò же я говорю? А отъ Любека до Травемюнде рукой подать. Нѣть, право же, молодой человѣкъ, подумайте о своемъ здоровье: здоровье дороже денегъ. Да скорѣе рѣшайтесь: свободныхъ у меня осталось всего три койки.

Искуситель, охъ, искусствитель!

— А которыхъ у васъ еще не заняты?—спросилъ Гоголь возможно-равнодушнымъ тономъ, но голосъ у него словно осѣкся, застрыль въ горлѣ.

— Вонъ тѣ двѣ нижнія да вотъ эта верхняя. На вашемъ мѣстѣ, признаться, я взялъ бы верхнюю: неравно съ сосѣдомъ вашимъ морская болѣзнь приключится. Прикажете сохранить для васъ?

— Ужъ, право, не знаю...

— Я вамъ ее сохранию; но не долѣе, какъ на два дня: на сегодня и завтра.

— Благодарю васъ; но пока я вовсе вѣдь еще не рѣшился...

— А рѣшиться вамъ надо, и до завтрашняго вечера я во всякомъ случаѣ просилъ бы васъ дать мнѣ окончательный отвѣтъ, потому что могутъ явиться другіе желающіе.

— Хорошо... До свиданья.

— До свиданья. Не упускайте же случая! Пожальбете и отомъ, да поздно.

Въ душѣ Гоголя поднялась цѣлая буря; куда дѣвалось давнине хладнокровіе! Сыновній долгъ—великое дѣло, но въ данномъ случаѣ и обоюдоострое: исполнить ли онъ свой сыновній долгъ, если пожертвуетъ собою? Нельзя ли разомъ достигнуть двухъ цѣлей? Что, если уплата процентовъ опекунскому совѣту не такъ уже срочна?

Петербургскіе чиновники собирались тогда на службу куда ранѣе, чѣмъ въ наше время. Несмотря на ранній часъ (пробило всего 10), Гоголь засталъ уже всѣхъ на своихъ мѣстахъ. Оказалось, что плательщикамъ давалось четыре льготныхъ мѣсяца, съ уплатою пени по 5-ти рублей съ 1.000. Этакую-то пеню кто не уплатить! До ноября маменька весь урожай сбудетъ и, конечно, ужъ не затруднится выслать опять полную сумму; а сынъ у нея будетъ спасенъ.

И чтобы не упустить此刻и спастись, сынъ взялъ, не рѣдясь, извозчика на Васильевскій и погонялъ его какъ на пожаръ.

— Здравствуйте, г-нъ капитанъ.

— А! здравствуйте. Что же, рѣшились?

— Рѣшился. Та верхняя койка, которую вы мнѣ предлагали, еще вѣдь не сдана?

— Нѣть, я ждалъ вашего отвѣта.

— Считайте ее за мною. А когда отѣздѣ?

— Дней черезъ пять, какъ сказано, а можетъ, даже и черезъ четыре: это зависитъ отъ нагрузки. Какъ бы то ни было, вамъ надо теперь же озабочиться насчетъ заграничнаго паспорта; не то можетъ выйти у васъ задѣржка. Деньги за билетъ позовите уже получить?

— Получите.

Надо ли говорить, какъ былъ удивленъ Прокоповичъ, а вечеромъ и навѣстившій товарищъ Данилевскій, когда Гоголь предъявилъ имъ билетъ съ надписью: «Von St.-Petersburg nach Lübeck». Но оба были за него сердечно рады, а Да-

нилевский предложилъ ему на дорогу и свою шубу, такъ какъ въ концѣ сентября, ранѣе котораго Гоголь не располагалъ вернуться, на морѣ должно было быть уже холодно и бурно.

Выправка заграничнаго паспорта потребовала не мало бѣготни, убѣжденій, просьбъ. Но къ вечеру 24-го іюля всѣ формальности были соблюдены, и паспортъ лежалъ уже въ карманѣ. Впереди оставался еще цѣлый день для укладки. Но одно дѣло не было еще сдѣлано, самое трудное; онъ нарочно отдалъ его, какъ бы боясь поколебаться въ своемъ рѣшеніи. Но дольше откладывать его уже не приходилось; надо было взяться за перо, и онъ выставилъ въ заголовокъ одно только слово:

«Маменька!»

Это былъ крикъ нестерпимой боли, вопль отчаянья, который долженъ быть сказать чуткому материнскому сердцу гораздо болѣе, чѣмъ почтительные, но избитые уже эпитеты: «безцѣннѣйшая», «драгоцѣннѣйшая», «почтеннѣйшая» и проч.

«Не знаю, какія чувства будутъ волновать васъ при чтеніи письма моего, но знаю только тѣ, что вы не будете покойны. Говоря откровенно, кажется, еще ни одного вполнѣ истиннаго утѣшения я не доставилъ вамъ. Простите, рѣдкая, великодушная мать, еще доселѣ недостойному васъ сыну.

«Теперь, собираясь съ силами писать къ вамъ, не могу понять, отчего перо дрожитъ въ руکѣ моей, мысли тучами налегаютъ одна на другую, не давая одна другой мѣста, и непонятная сила нудить и вмѣстѣ отталкивать ихъ излиться передъ вами и высказать всю глубину истерзанной души. Я чувствую налегшую на меня справедливымъ наказаніемъ тяжкую десницу Всеизвѣстнаго... Онъ указалъ мнѣ путь въ землю чуждую, чтобы тамъ воспитать свои страсти въ тишинѣ, въ уединеніи, въ шумѣ вѣчнаго труда и дѣятельности, чтобы я самъ по нѣсколькоимъ ступенямъ поднялся на высшую, откуда бы быть въ состояніи разсѣвать благо и работать на пользу мира. И я осмѣлился откинуть эти божественные помыслы!..»

Все это было только введеніе къ тяжелому признанію, и

оно все разрасталось да разрасталось, чтобы отдалить минуту самаго признанія. Однако, въ концѣ концовъ безъ признанія все-таки не обойтись. Но какъ убѣдить маменьку, на всемъ вѣку своеемъ не сочинившую ни единаго стиха, что для поэта, отказавшагося на вѣки вѣчные отъ своей музы, нѣть иного выбора, какъ смерть или бѣгство куда глаза глядятъ? Нѣть, ей этого все равно не понять! Иное дѣло—tronуть струны ея сердца. До сихъ поръ вѣдь цѣлые годы она оплакиваетъ мужа; своимъ чуткимъ женскимъ сердцемъ она пойметъ и безумную, безнадежную любовь сына къ прекрасному существу, отвергнувшему его чистыя пламенные чувства. Вѣдь что же такое муга, какъ не такое дивное, но недосягаемое для него существо? Онъ не скроетъ правды, хотя и въ иносказательной формѣ. И признаніе его вылилось на бумагу такъ:

«Вы знаете, что я былъ одаренъ твердостью, даже рѣдкою въ молодомъ человѣкѣ... Кто бы могъ ожидать отъ меня подобной слабости? Но я видѣлъ ее... нѣть, не назову ее... Лицо, котораго поразительное блистаніе въ одно мгновеніе печатлѣется въ сердцѣ, глаза быстро пронзающіе душу, но ихъ сиянія, жгучаго, проходящаго насквозь всего, не вынесеть ни одинъ изъ человѣковъ... Я увидѣлъ, что мнѣ нужно бѣжать отъ самого себя, если я хотѣлъ сохранить жизнь, водворить хотя тѣнь покоя въ истерзанную душу. Нѣть, это существо, которое Онъ послалъ лишить меня покоя, разстроить шатко-созданный міръ мой,—не была женщина. Если бы она была женщина, она бы всею силою своихъ очарованій не могла произвестъ такихъ ужасныхъ, невыразимыхъ впечатлѣній. Но, ради Бога, не спрашивайте ея имени. Она слишкомъ высока, высока!

«И такъ, я рѣшился. Но къ чему, какъ приступить? Выѣздъ за границу такъ труденъ, хлопотъ такъ много! Но лишь только я принялъся, все, къ удивленію моему, пошло какъ нельзя лучше; я даже легко полутиль пропускъ. Одна остановка была, наконецъ, за деньгами. Здѣсь уже было я совсѣмъ отчаялся; но вдругъ получаю слѣдуемыя въ опе-

кунской совѣтъ. Я сейчасъ отправился туда и узналъ, сколько они могутъ намъ дать просрочки на уплату процен-твъ, узналъ, что просрочка длится на четыре мѣсяца послѣ сроку, съ платою по пяти рублей отъ тысячи въ каждый мѣ-сяцъ штрафу. Стало быть, до самаго ноября мѣсяца будуть ждать. Поступокъ рѣшительный, безразсудный; но что же было мнѣ дѣлать? Всѣ деньги, слѣдуемыя въ опекунской совѣтъ, оставилъ я себѣ и теперь могу рѣшительно сказать: больше отъ васъ не потребую... Что же касается до того, какъ воз-наградить эту сумму, какъ внести ее сполна, вы имѣете пол-ное право, данною и прилагаемою мною при семъ довѣренностью, продать слѣдуетое мнѣ имѣніе, часть или все, заложить его, подарить, и проч. и проч... Не огорчайтесь, добрая, несравнен-ная маменька! Эта переломъ для меня необходимъ... Мнѣ нужно передѣлать себя, переродиться, оживиться новою жизнью, расцвѣсть силою души въ трудѣ и дѣятельности, и если я не могу быть счастливъ, по крайней мѣрѣ всю жизнь посвящу для счастія и блага себѣ подобныхъ. Но не ужасайтесь раз-луки, я недалеко пойду: путь мой теперь лежитъ въ Любекъ».

Уфъ! гора съ плечъ. Теперь еще въ постскрипту «чув-ствительнѣйшую и невыразимую благодарность за драгоцѣнныя извѣстія о малороссіянахъ», да секретное поясненіе: «Въ тиши уединенія я готовлю запасъ, котораго, порядочно не обрабо-тавши, не пущу въ свѣтъ... Сочиненіе мое, если когда выи-деть, будетъ на иностранномъ языкѣ».

Охъ, матинко риднесенъка, милесенъка! Ужели она не убѣ-дится, что несчастному сыну ея нѣть иного исхода, какъ бѣ-жать безъ оглядки?





## ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

### На морѣ на океанѣ.

**О**дущевленная морская громада задорно пыхтитъ и роеть лапами воду. Вотъ и третій колоколь. Провожающіе торонятся по сходню на берегъ, и сходень втаскивается на палубу. Пароходъ начинаетъ работать всѣми парами и, покачиваясь, взбивая каскады брызгъ, тяжеловѣсно поворачивается и отваливается отъ пристани. А тамъ машутъ платками, посылаютъ отъѣзжающимъ прощальный привѣтъ на разныхъ языкахъ:

— Farewell!

— Ade!

— Поправляйся и пиши почаше!

Послѣднее кричитъ Прокоповичъ, а стоящій у борта Гоголь откликается не менѣе громко:

— Добре, но не ручалось.

— А Данилевскому чѣдѣ сказать?

— Что онъ Иуда: могъ бы тоже прійти провожать.

Прокоповичъ хочетъ, кажется, сказать еще что-то въ оправданье неприбывшаго, но долженъ приѣгнуть къ платку: разлука съ сожителемъ и другомъ очень ужъ переполнила его чувствительное сердце. А вотъ и онъ, какъ и вся толпа на пристани, остались уже позади, становятся все меньше да меньше, пока совсѣмъ не исчезаютъ изъ виду.

Прощай, Питеръ! Прощай, Русь! какъ знать—не навсегда ли? Впереди вѣдь весь Западъ, весь свѣтъ; на душѣ такъ

легко и привольно... да, но и какъ-то пусто, словно что-то тамъ оторвалось и осталось дома.

— Farewell!

Совершенно безотчетно Гоголь произнесъ это слово вслухъ и съ такимъ чувствомъ, что стоявшій тутъ же у борта молодой англичанинъ счелъ его, видно, за земляка и быстро залопаталъ что-то по-своему, выставляя при этомъ кончикъ языка. Но, взглянувшись въ насыщенные черты молодого малоросса, вдругъ замолкъ и съ высокомѣрнымъ видомъ отвернулся. Съ этого момента сынъ Альбиона затаилъ въ себѣ, видно, непріязнь къ сыну Украйны: когда, по обѣденному колоколу, пассажиры второго класса собирались въ общей каюте, и Гоголь за столомъ очутился случайно рядомъ съ своимъ тайнымъ недругомъ, тотъ, принявъ отъ другого сосѣда салатникъ и отваливъ себѣ на тарелку двойную порцію, передалъ салатникъ не Гоголю, а наискосокъ черезъ столъ блокури нѣмочкѣ, любезно оскаливъ при этомъ свои крѣпкие и длинные зубы.

«Гдѣ я, бишь, видѣлъ эту лошадиную морду? — мелькнуло въ головѣ у Гоголя. — Ага! вспомнилъ: за прилавкомъ въ аглицкомъ магазинѣ, когда покупалъ себѣ перочинный ножикъ. Приказчику, понятно, не пристало щѣхать въ первомъ классѣ съ соотчичами синей крови; а держитъ себя, бишь, съ тѣмъ же благородствомъ и изяществомъ неподѣльного дубового бревна!»

Большинство пассажировъ, впрочемъ, были нѣмцы обоего пола и всякихъ возрастовъ, отъ старческаго до дѣтскаго, и вели они себя совсѣмъ иначе: за первымъ же обѣдомъ всѣ перезнакомились, чокались стаканами и дружно хохотали надъ шутками балагура-капитана, предсѣдательствовавшаго за столомъ. Море онъ сравнивалъ съ пустыней Сахарой, а корабль съ верблюдомъ, на которомъ съ непривычки хоть кого укачаетъ; оттого-де и обѣдъ подается еще до открытаго моря «на черный день».

Послѣ десерта слѣдовала еще чашка кофе. Но въ это время пароходъ, миновавъ Кронштадтъ, вышелъ въ открытое море, и «верблюдъ» подъ сидѣньями обѣдающихъ такъ явно заколыхался, что всѣ рады были выбраться изъ душной ка-

юты на вольный воздухъ. Выбрался туда и Гоголь, которому подъ конецъ какъ-то стало не по себѣ. Облокотясь на бортъ обѣими руками, онъ оглядывался теперь по сторонамъ. Справа и слѣва едва-едва уже обозначались берега Финскаго залива, а тамъ, впереди, гдѣ лучезарное солнце только-что готово было окунуться въ сверкающее море,—что за ширь безпрѣдѣльная, необъятная! И вѣтеръ-то какой славный, чистый! Не петербургскій изъ задворковъ—фу! а морской, такъ-сказать, трипль-экстрактъ воздушной ключевой воды. Вѣчно бы этаѣ упивался имъ; чувствуешь, какъ оживаешь, перерождаешься. А что самое главное—что никто-то тебя тутъ не знаетъ, никого и самъ ты знать не хочешь. Совѣмъ байроновскій Чайлдъ-Гарольдъ: впередъ, впередъ, въ невѣдомую даль! Какъ это поется въ его «Доброй ночи»?

«Прости, прости, мой край родной!  
Ужъ скрылся ты въ волнахъ;  
Касатка выется, вѣтръ ночной  
Играеть въ парусахъ.  
Ужъ тонуть огненны лучи  
Въ бездонной синевѣ...  
Мой край родной, прости, прости!  
Ночь добрая тебѣ» <sup>1)</sup>!

Простите, конечно, и вареники съ галушками, маковники съ пампушками, простите и вы, маменька, добрѣйшая, милѣйшая, какой у Чайлдъ-Гарольда, конечно, никогда не было, быть не могло...

Сердце въ груди юноши тоскливо сжалось; по спинѣ его прѣбѣжали мурашки. Онъ плотнѣе запахнулся въ плащъ и долженъ былъ достать изъ кармана платокъ. Ну, вже такъ! Неужто онъ тоже раскисаетъ?

Съ закатомъ солнца пассажиры собирались снова въ каюту къ чайному столу; а послѣ чая дамы, уложивъ дѣтей, деликатно удалились на палубу, чтобы дать мужчинамъ улечься и задернуться занавѣсками. Тѣмъ временемъ стуартъ (корабельный слуга) уменьшилъ пламя въ лампѣ и протянулъ поперекъ

<sup>1)</sup> Переводъ Козлова.

каюты между дамской и мужской половиной веревку, а на веревкѣ развѣсиль нѣсколько большихъ платковъ на подобіе драпировки. Подъ ея защитой, въ полумракѣ, дамы имѣли полную возможность устроить свой ночной туалетъ.

Полчаса спустя въ каюте воцарилась общая тишина, нарушавшаяся только мирнымъ храпомъ или носовымъ свистомъ за той или другой занавѣской. Всѣхъ убаюкали равномѣрная качка, однообразный глухой шумъ пароходныхъ колесъ, мягкий плескъ волнъ въ обшивку судна. Всѣхъ, кромѣ одного, который до самой зари ворочался съ боку на бокъ, по временамъ тихонько охая про себя и вздыхая. Отчего же ему не спалось? Отъ непривычныхъ звуковъ моря, или отъ неотвязныхъ думъ?

— Встанете вы нынче, mein Herr, или останетесь лежать? — раздался надъ самымъ ухомъ его чей-то голосъ, и кто-то потрясъ его за плечо.

Гоголь проторъ глаза и увидѣлъ передъ собою знакомое уже ему лицо стуарта.

— Да развѣ пора вставать?

— Всѣ пассажиры уже на палубѣ.

— И чай отпили?

— И чай, и кофе.

Гоголь быстро присѣлъ, но, не разсчитавъ вышины койки, ударился головой о потолокъ ея такъ шибко, что въ глазахъ у него потемнѣло.

— Donnerwetter! — выбранился онъ по-нѣмецки.

— Да, тутъ у насъ требуется нѣкоторая сноровка, — усмѣхнулся слуга, — но прежде, чѣмъ вы станете одѣваться, позвольте мнѣ завинтить иллюминаторъ.

— Да онъ закрыть.

— Закрыть, но не завинченъ, а на морѣ посвѣжѣло; неравно плеснетъ къ вамъ въ койку.

Въ самомъ дѣлѣ, въ окошечко надъ койкой звучно хлестала волна за волной. Когда Гоголь вошелъ, или, вѣрнѣе сказать, когда его втолкнуло невидимой рукой въ тѣсный чуланчикъ, именуемый уборной, и онъ вздумалъ было съ про-

хладцей умываться, налитая имъ въ умывальную чашку вода пlesнула ему разомъ и въ рукава, и за разстегнутую жилетку. Вотъ такъ исторія! Прошу покорно!

Когда затѣмъ ему подали стаканъ чаю, изъ предосторожности обвернутый салфеткой, онъ принялъ уже съ своей стороны мѣры: ради баланса пиль стоя, прислонясь къ дверямъ; однако малую толику все-жъ-таки пролилъ на полъ. Вотъ и поди-жъ-ты!

На палубу онъ вскарабкался безъ особаго труда, благодаря поручнямъ трапа; но тутъ его вдругъ качнуло въ сторону съ такой силой, что онъ сдѣлалъ воздушный пируэтъ, и если бы во-время не ухватился за ванту, то неизбѣжно очутился бы на колѣняхъ у вчерашней нѣмочки-блондинки, которая съ страдальческой миной пристостилась на какомъ-то тюкѣ, накрытомъ парусиной. Барышня ахнула, но вслѣдъ затѣмъ улыбнулась—улыбнулась слабой, блѣдной улыбкой, какъ осенне солнышко сквозь тучи. Улыбайся, миличка, не стѣсняйся; чѣмъ бы дитя ни тѣшилось, лишь бы не плакало.

А вонъ и англичанинъ-приказчикъ; чтобы вѣтромъ картуза съ головы не сорвало, подвязалъ его себѣ носовымъ платкомъ подъ подбородкомъ—удивительно, братъ, къ лицу! «Якъ свинъ монисто», сказалъ бы Якимъ. И куда это несетъ его? Ну, такъ, конечно! Балансируя на своихъ длинныхъ ходуляхъ, подбирается къ блондиночкѣ, предлагая ей свои услуги—принести стаканъ лимонаду; но та, не глядя, отрицательно головой мотаетъ и попрежнему тоскливо устремляетъ свои незабудочные глазки въ неопределенную даль. Молодчика же подхватило уже неудержимымъ движениемъ судна и откинуло далеко въ сторону: куда лѣзешь съ неумытымъ рыломъ! Пошелъ вонъ!

Носовая часть парохода была отведена подъ товарный грузъ, между которыми кое-какъ размѣстились палубные пассажиры третьаго класса. Подъ капитанскимъ мостикомъ у дымовой трубы, гдѣ менѣе всего качало и дуло, расположилась аристократія первого класса; корму же занимала почти исключительно буржуазія второго класса, къ которой принадлежала и Гоголь.

Видя, какъ матросы ходятъ по шаткой палубѣ, точно по твердому грунту, ловко наклоняясь всѣмъ корпусомъ то туда, то сюда, сообразно наклону судна, онъ вздумалъ было по примѣру ихъ прогуляться по кормѣ, чтобы поразмять члены: да какъ бы не такъ, черта съ два! Палуба то возставала передъ нимъ горой, то вдругъ опять опускалась крутымъ откосомъ, уходила изъ-подъ ногъ, и онъ бѣжалъ въ припрыжку подъ гору. Того гляди, поскользнешься и растишнешься. Вѣрнѣе все-таки пристроиться гдѣ-нибудь у борта.

А славно тутъ, ей-богу, хорошо! Вонъ солнце-то какъ высоко поднялось, точно для того, чтобы лучше обозрѣть своимъ огненнымъ окомъ разстилающуюся внизу огромную картину. Гдѣ полотно, гдѣ кисти и краски, чтобы достойно передать эту необъятную ширь? Куда ни глянь—море да небо, небо да море! Но въ то самое время, какъ въ вышинѣ лазурный небесный куполъ—илицетвореніе олимпійскаго покоя, внизу море, столь же чистое и прозрачное, но чуднаго цвѣта аквамарина,—сама жизнь земная, неугомонная, кипучая, на всемъ пространствѣ своеемъ колышется и дышеть. Вонъ отъ самаго горизонта надвигается полоса потемнѣе, все ближе да ближе, растеть и растеть. Ого-го! какъ важно развернулась. Это уже не волна, а какое-то морское чудище съ пѣнистымъ хребтомъ: «Эй вы, людишки, на вашемъ суденышкѣ держитесь крѣпче за веревочки: неравно проглочу!» Само оно, однако, видно, съто; вздымаетъ только суденышко на хребтѣ своемъ, обдаетъ людышекъ водяною пылью и катится себѣ далѣе. А слѣдомъ уже новая волна, такая же пышная, грозная; куда ни обернись,—все волны да волны, одна громаднѣе другой, и на всѣхъ-то тѣ же бѣлые зайчики, гонятся одинъ за другимъ и никакъ не нагонятъ. Играеть море, противъ солнца такъ и сверкаетъ расплавленнымъ стекломъ, и только за кормою далеко-далеко тянется широкая глянцовитая лента... Чортъ возьми, что за рожкошь, невѣроятная, непостижимая!

Не всѣ, впрочемъ, пассажиры, должно быть, подобно Гоголю, восхищались разыгравшимся моремъ: къ обѣденному столу

собралось ихъ куда менѣе. Чтобы посуда не скатывалась со стола, его обложили кругомъ рамкой; но тарелку съ супомъ все-таки приходилось каждому балансировать въ рукахъ.

— Кушайте, господа, кушайте на здоровье,—поощрялъ капитанъ:—чѣмъ плотнѣе набьете чрево, тѣмъ оно будетъ устойчивѣй.

Слѣдя благому совѣту, Гоголь нагружалъ себя возможно плотно; но оттого ли, что онъ былъ черезчуръ ужъ усерденъ, оттого ли, что табуретъ подъ нимъ ходуномъ ходилъ, оттого ли, наконецъ, что висѣвшая надъ столомъ лампа, какъ маятникъ, раскачивалась у него передъ самымъ носомъ,—какъ бы то ни было, куски застрѣвали у него въ горлѣ и отъ сбирающейся во рту желчной слюны казались пропитанными горькою полынью. Силы небесныя! да что жъ это такое?.. изнутри подступаетъ къ самому горлу...

Не досидѣвъ, онъ рванулся вонъ изъ-за стола, второпяхъ опрокинулъ табуретъ и самъ навѣрное полетѣлъ бы черезъ него, не подхвати его сосьдъ во-время подъ руку. На палубѣ, подобно годовалому ребенку, обучающемуся ходить отъ стула къ стулу, онъ сталъ было пробираться вдоль борта судна отъ снасти къ снасти на конецъ кормы, но еще на полпути почувствовалъ себя такъ нехорошо, что долженъ былъ наклониться черезъ бортъ... Ахъ, какъ нехорошо! ай, ай...

Тутъ на плечо его легла рука капитана.

— А не лучше ли вамъ, любезнѣйшій, улечься въ постельку?—отеческимъ тономъ предложилъ весельчакъ.—Дайте-ка, я возьму васъ на буксиръ. Вотъ такъ. Представьте себѣ теперь, что мы танцуемъ съ вами гроссфатеръ: вы за даму, я за кавалера.

И гроссфатеръ благополучно «пробуксировалъ» свою гроссмуттеръ до каюты и койки.

Въ койкѣ и то какъ будто покойнѣе; но подъ ложечкой попрежнему сосеть и ноеть. Пароходныя же колеса, знай, работаютъ безъ отышки, тяжело шумятъ, точно подъ самымъ изголовьемъ. Нелегко, небось, бѣднягамъ справиться съ цѣльнымъ моремъ-океаномъ! Пароходъ кряхтить, скрипить по всемъ швамъ

и нервно вздрагиваетъ; а волны такъ и плещутъ—шлепъ да шлепъ—въ маленькое оконце; сейчасъ, поди, разобьютъ, залъютъ... Ужъ не самъ ли то стариkъ Нептунъ къ нему въ гости жалуетъ? Да, это онъ, это онъ со взъерошенной сѣйой гривой, стучится въ стекло своей длинной зеленоj ручищѣ:

— Здорово, дружокъ! Чего склонился, притаился? Все равно не уйдешь. Впусти-ка добромъ; вмѣстѣ спустимся въ мои подводные чертоги...

— Сгинь, старче, чуръ меня!

Гоголь накрылся съ головою одѣяломъ. Но и подъ одѣяломъ все тѣ же неотвязные звуки, все такъ же его вмѣстѣ съ пароходомъ вскидывается, встрихивается, а въ груди все ноеть да ноеть...

Тутъ передъ занавѣской слышатся голоса, звенятъ чашки: чай, разбойники, распиваются, закусываются. И откуда у нихъ еще аппетитъ берется, у обжоръ? Фу! даже и подумать тошно.

Наконецъ, и ночь. Все кругомъ опять смолкло, кромѣ, разумѣется, самого парохода да моря.

— Доброй ночи! пріятнаго сна!—доносится еще откуда-то послѣднее пожеланіе.

Да, какъ же, пріятнаго сна! Заснешь тутъ на этой орѣховой скорлупѣ среди безбрежной, бездонной, бушующей пучинѣ! У-у, какое гнетущее состояніе, какая безысходная тоска! Что это, право, все только она же, эта подлая морская болѣзнь, или, въ самомъ дѣлѣ, аминь всему, сама смерть? Ненужто же такъ и сойти со сцены жизни, ничего не совершивъ, оставивъ послѣ себя только позорное пятно? Маменька, дорогая вы моя! простите ли вы безумному сыну, что онъ за всю вашу любовь, беззаботную, беспредѣльную, отплатилъ самою черною неблагодарностью, чтобы убѣжать отъ собственной совѣсти... Нѣть, безславною смертью этого не исправишь, не загладишь! Надо жить—жить во что бы то ни стало. Боже, Царь Небесный! смигуйся, дай пережить, искупить свой грѣхъ...





## ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

### На островъ на Буянѣ.

**Д**евять сутокъ уже пароходъ храбро бился противъ расхившися морской стихіи; на шестыя, какъ по мановенію волшебнаго жезла, волненіе разомъ улеглось, и все, что въ уныніи попряталось по койкамъ, жизнерадостно выползло опять на свѣтъ Божій. Когда же на горизонтѣ обозначилась полоска земли, и въ подзорную трубу капитана всякий могъ собственными глазами различить вдали церковные шпиши Любека,—всей перенесенной напасти какъ не бывало: англичане потребовали себѣ элю, нѣмцы—пива, и палуба огласилась нестройнымъ, но задушевнымъ хоромъ.

Въ три часа дня пароходъ вошелъ въ гавань. Распрощавшись наскоро съ шести-дневными спутниками и съ хозяиномъ—капитаномъ, всякий спѣшилъ на берегъ. Гоголь, которому спѣшить было некуда, былъ изъ послѣднихъ. Нездоровье у него также какъ рукой сняло, голова просвѣтлѣла, но почва подъ ногами, точно пароходная палуба, продолжала еще колебаться, и онъ покорно отдался во власть первого носильщика, выхвавшаго у него изъ рукъ чемоданчикъ.

— Въ какую гостинницу прикажете?

— Мнѣ все равно. Лишь бы недорогой номеръ...

— И недорогой, и прекрасный! О, господинъ останется доволенъ.

Номеръ, дѣйствительно, нашелся недорогой, хоть и относи-

тельно прекрасный; господинъ, впрочемъ, остался доволенъ, сдалъ паспортъ коридорному и отправился осматривать заморскую диковину—Любекъ.

Такъ воть онъ каковъ, этотъ вольный ганзейскій городъ, торговавшій уже 600 лѣтъ назадъ съ нашимъ вольнымъ же Новгородомъ! Зато вѣдь и съ виду въ дѣды Питеру годится. Тотъ, пожалуй, тоже полунѣмецъ, прифранченъ по-европейски, но по юности своей насчетъ порядка и опрятности костюма довольно-таки беззаботенъ. Любекъ же—почтенный старецъ изъ коренной нѣмчурь, брезгливый, щепетильно-аккуратный, въ ста-ромодномъ длинномъ фракѣ съ потертymi локтями, но не прорваными, упаси Богъ! въ напудренномъ парикѣ съ косичкой и съ неизмѣннымъ фуляромъ и тебакеркой въ рукахъ. Улицы безъ перерывовъ, домъ къ дому, какъ одна сплошная стѣна, и, экономіи ради, всѣ-то дома узкіе-преузкіе,—въ три-четыре окна, и высокіе-превысокіе, въ пять-шесть и болѣе этажей, вышка на вышкѣ, словно стиснутые съ боковъ сосѣдями, поневолѣ становятся всѣ на цыпочки, тянутся вверхъ за воздухомъ, чтобы не задохнуться. Но здѣсь не задохнешься при всей тѣснотѣ: изъ-подъ воротъ,—удивительное дѣло!—вовсе нѣть этихъ пронзительныхъ, въ носъ ударяющихъ дуновеній, которыми угощаютъ насъ домовладѣльцы Гороховой и Мѣщанской.

И чтѣ еще изумительнѣе: движенія многого, а шуму—ни-ни. Правда, что при всемъ многолюдствѣ ни единаго возницы <sup>1)</sup>; пѣшечкомъ, изволите видѣть, куда дешевле. Но нѣть и гама, крика, бранія. Всякій знаетъ свое мѣсто, свои права и обязанности гражданина-колбасника: я, молъ, даю тебѣ дорогу,—и ты сторонись; я тебѣ вѣжливо кланяюсь,—и ты изволь отдать поклонъ.

— Здравствуйте, герръ Мейерь! какъ поживаете?

— Благодаря Бога, герръ Фишеръ. А вы какъ?

<sup>1)</sup> Просимъ читателей не забыть, что дѣйствіе разсказа происходило въ 1829 году. Объ отсутствіи въ Любекѣ извозчиковъ упоминаетъ самъ Гоголь въ своемъ письмѣ оттуда къ матери.

— Покорно благодарю; не смыю жаловаться.

Потрясли другъ другу руки, прикоснулись къ полямъ шляпъ и мирно, разлюбезно разошлись; а черезъ десять шаговъ та-же церемонія съ герромъ Мюллеромъ и съ герромъ Шмидтомъ. Чѣмъ значить Европа! Удивляйся и поучайся.

А вотъ и *Marktplatz*, сирѣчь базарная площадь, Сѣнная. Толпа тоже кишмя кишить, но чинненько-миленько.

— Не прикажеть ли господинъ вишенъ?

Предлагаетъ это хоть и деревенская дѣвушка, толстушка, кубышка этаکая, кровь съ молокомъ, но въ чистенькомъ, нарядномъ корсетикѣ, съ зонтикомъ въ ручкѣ, чтобы солнышко, видишь, не запекло бѣла лица,—одно слово, нѣмецкая штука. Ну, какъ, скажите, обидѣть, ничего не взять?

— Bitte, Mamsel!

И отвѣщиваетъ мамзель тюрикъ спѣльыхъ, сочныхъ вишенъ-морелей и слѣдуемый за нихъ шиллингъ<sup>1)</sup> принимаетъ съ такимъ милымъ книксомъ, съ такой обворожительной улыбкой, что—и, Боже! Готовъ, право, еще взять на другой шиллингъ, чтобы снова заслужить и улыбку, и книксъ.

Э, да тутъ водятся и экипажи! Правда, семейная фура въ Ноевъ ковчегъ и въ одну лошадь: вези, кобыло, хоть тоби не мило! Благо, здоровенная, жирная, чтѣ добрый волъ. Посередкѣ на ремняхъ ящикъ не ящикъ, а маленький домъ, горой нагруженный всякими сельскими продуктами; среди продуктовъ королевой на тронѣ сама матерь семейства съ дщерью; верхомъ же на лошади цѣльныхъ двое: впереди сынокъ; прошу посмотретьъ, куда залѣзъ пострѣленокъ,—на самую грину! да чтѣ подѣлаешь, коли надо дать еще за собою място зятю (а можетъ, и жениху сестрицы? кто его разберетъ!); а въ аріергардѣ, держась за ремень, какъ подобаетъ,—пѣшечкомъ, вѣрный батракъ,—картина, достойная кисти Тенъера!

А все-таки, чтѣ ни говори, то ли дѣло этаکий скрипучий возъ на волахъ, за которымъ лѣниво бредетъ на ярмарку длин-

<sup>1)</sup> Въ одномъ любекскомъ талерѣ полагалось  $2\frac{1}{2}$  марки, а въ маркѣ 16 шиллинговъ.

ноусый хохоль въ широчайшихъ шароварахъ, съ носогрѣйкой въ зубахъ, а на возу, среди мѣшковъ пеньки, полотна, либо арбузовъ и дынь, пышнѣе всякой дыни какая-нибудь Оксана или Галя, чернобровая, смуглолицая краля, съ яркими лентами въ густыхъ косахъ, въ вѣнкѣ изъ полевыхъ цветовъ... Гай-гай! Вотъ бы параллель провести да въ назиданіе нѣмчурѣ въ здѣшней же газетѣ и тиснуть? А то расписать имъ и всю ярмарку; кстати же, пожалуй, и романическій эпизодъ вклейть между паробкомъ и дивчиной, которыхъ преслѣдуется вѣдьмачиха... Въ самомъ дѣлѣ, отчего бы не преподнести имъ этой штуки? Это быль бы, такъ сказать, первый голубь съ масличной вѣткой, за которымъ послѣдовала бы цѣлая стая всякихъ пѣвчихъ, большихъ и малыхъ. А какъ озаглавить? «Der kleinrussische Jahrmarkt»? Или «Ein kleinrussischer Jahrmarkt»? Или совсѣмъ безъ «дера» и «ейна»—просто «Kleinrussischer Jahrmarkt»? Фу ты, на! надѣялся; сперва лишь бы смастерить по-русски, а по словарю можно подобрать хоть какое слово, и редакторъ-нѣмецъ, гдѣ нужно, подправить, подмажетъ.

Въ такихъ мысляхъ Гоголь, самъ того не замѣчая, оставилъ уже базарную площадь и изъ улицы въ улицу, изъ переулка въ переулокъ выбрался на окраину города—къ городскому валу. Валъ этотъ давнымъ-давно утратилъ свое первоначальное значеніе—защищать горожанъ отъ вражескихъ набѣговъ; засаженный правильной тѣнистой аллеей, установленной скамейками, онъ служилъ имъ теперь только мѣстомъ прогулки и отдохновенія отъ трудовъ дневныхъ.

Приѣхъ тутъ и Гоголь на скамейкѣ; но видѣй протекающей внизу рѣчки Травы воскресиль въ его памяти родной Псель, и онъ со вздохомъ всталъ опять и спустился на ту сторону вала.

Тутъ уже пригородъ, дачное мѣсто, въ родѣ петербургскихъ острововъ: по дорогѣ тянутся два ряда домиковъ, но пышно увитыхъ зеленью, съ палисадничками; деревья точно

парикмахеромъ подстрижены, подвиты, цветы разсанжены самыми правильными клумбочками. Все это, надо честь отдать, въ своеемъ родѣ премило, но по-немецки, zierlich-manierlich, fein akkurat... О, Васильевка! о, степь родная! возстаньте во всей вашей простой, нетронутой красотѣ!..

Ночь. Добрые обыватели богоспасаемаго града Любека мирно почиваютъ за спущенными шторами. Одно лишь оконце, выходящее на сосѣднія крыши, открыто настежь, и передъ нимъ сидитъ одинокій мечтатель. Да и какъ, помилуйте, не замечтаться! Луна, эта старинная знакомая, глядитъ вѣдь на него съ вышинъ столь же ясная, кроткая, какъ, бывало, дома, въ Васильевкѣ. И всѣ эти крыши и трубы въ ея серебристомъ, таинственномъ свѣтѣ, весь этотъ спящій городъ кажутся очарованными... А за тридевять земель, въ глухомъ степномъ хуторкѣ въ это же самое время сидить, быть можетъ, точно такъ же передъ открытымъ окномъ одинокая вдова, глядитъ точно такъ же на эту же луну и тихо вздыхаетъ, утираетъ слезы, думаетъ не передумаетъ о своемъ вѣроломномъ бѣглецѣ-сынѣ...

Мечтатель отрывается отъ окна, зажигаетъ свѣчу и садится писать:

«...Теперь только, когда я, находясь одинъ посреди необозримыхъ волнъ, узналъ, что значитъ разлука съ вами, моя неоцѣненная маменька, въ эти торжественные, ужасные часы моей жизни, когда я бѣжалъ отъ самого себя, когда я старался забыть все окружавшее меня,—мысль: что я вамъ причиняю симъ—тяжелымъ камнемъ налегла на душу, и напрасно старался яувѣрить самого себя, что я принужденъ былъ повиноваться волѣ Того, Который управляетъ нами свыше... Какъ! за эти безчисленныя благодѣянія, за эту ничѣмъ неоплатимую любовь я долженъ причинять вамъ новыя огорченія!.. О, это ужасно! Это раздираетъ мое сердце. Простите, милая, великодушная маменька, простите своему несчастному сыну, который одного только желалъ бы нынѣ—погрнуться въ объятья ваши и излить предъ вами изрытую и опустошенную бурями душу свою, разсказать всю тяжкую повѣсть свою.

Часто я думаю о себѣ: зачѣмъ Богъ, создавъ сердце, можетъ, единственное, по крайней мѣрѣ рѣдкое въ мірѣ, чистую, пламенѣющую жаркою любовью ко всему высокому и прекрасному душу, зачѣмъ Онъ далъ всему этому такую грубую оболочку? Зачѣмъ Онъ одѣть все это въ такую страшную смѣсь противорѣчий, упрямства, дерзкой самонадѣянности и самаго униженного смиренія?...»

«Продайте, ради Бога, продайте или заложите хоть все,— писалъ далѣе кающійся:— я слово далъ, что болѣе не потребую отъ васъ и не стану разорять васъ такъ безсовѣстно»; тѣмъ не менѣе, не имѣль еще мужества разсказать «свою тяжкую повѣсть». Изливъ свою душу, онъ перешелъ къ описанію Любека.

«Но признаюсь,— заключилъ онъ,— все это еще какъ будто скользить по мнѣ и пролетаетъ мимо, не приковывая ни къ чему моего безжизненного вниманія. Сначала, за годъ передъ симъ, думалъ я: каковы-то будутъ первыя впечатлѣнія при взглядахъ на совершенно новое, совершенно бывшее чуждыемъ доселе для меня, на другіе нравы, другихъ людей? Какъ любопытство мое будетъ разгораться постепенно! Ничего не бывало. Я вѣхалъ такъ, какъ бы въ давно знакомую деревню, которую привыкъ видѣть часто. Никакого особеннаго волненія не испытывалъ я. Какъ бы мнѣ теперь хотѣлось видѣть васъ, хотя одно мгновеніе! Здоровы ли вы? О, будьте здоровы! Будьте утѣшены наконецъ нами...»

Чтѣзначить этаکая чистосердечная исповѣдь! Послѣ нея засыпаешь, какъ по приказу, сномъ праведныхъ, а поутру затѣмъ встаешь съ чистою совѣстью, легкою, какъ перышко, тѣломъ свѣжій и бодрый.

За четверть часа до полудня Гоголь былъ въ мѣстномъ каѳедральномъ соборѣ (Domkirche), чтобы не пропустить боя знаменитыхъ часовъ. Передъ часами стояла уже густая толпа любопытныхъ, не отрывая глазъ отъ огромнаго циферблата и благоговѣйно слушая объясненія церковнаго сторожа, что вотъ, молъ, на циферблать календарь на многія сотни лѣтъ, а вотъ

показанія погоды: когда ждать вѣдра, когда дождя или грозы. Но тутъ стрѣлка подошла къ 12-ти; большая мраморная статуя надъ часами ударила въ колоколь, и всѣ присутствующіе принялись машинально считать про себя торжественно-медленные, глухіе удары. Но не досчитали, потому что въ циферблать внезапно распахнулась дверь, и оттуда выступилъ самъ Спаситель, а за нимъ чередой 12 апостоловъ, и всѣ-то въ полный человѣческій ростъ. Идутъ мимо Христа и поютъ Ему славу и преклоняются. Вотъ и послѣдній вошелъ въ противоположную дверь, и она захлопнулась. Чудеса! Хотя и иновѣрческій храмъ, а невольно осѣнишься крестомъ, сотвориша молитву.

Толпа между тѣмъ двинулась далѣе вслѣдъ за церковнымъ сторожемъ, поучавшимъ, что соборъ построенъ-де еще въ 1173 году Генрихомъ Львомъ («О! то быль воплощенный левъ»—«ein Löwe wie er leibt und leibt!»), что такой-то вотъ образъ—кисти Альбрехта Дюрера, а такое-то изваяніе—работы Квелино. Какъ любитель живописи, а еще болѣе какъ человѣкъ глубоко-религіозный, Гоголь безмолвно восхищался также произведеніями стариннаго христіанскаго искусства, отъ которыхъ, среди торжественной типшны и прохладнаго сумрака обширнаго храма, вѣяло обаяніемъ временъ давно минувшихъ и какою-то неотразимою святостью...

Дни шли за днями, а Гоголь все еще не тронулся изъ Любека. Осмотрѣлъ онъ тамъ, не торопясь, и Маріинскую церковь (*Marienkirche*) съ ея астрономическими часами и пляскою смерти (*Todtentanz*), заглянулъ и въ ратушу и ея знаменитый погребъ (*Rathswinkeller*), охотнѣе же всего просиживалъ по часамъ въ тѣнистомъ садикѣ одного загороднаго ресторанчика. Мимо то и дѣло шныряютъ расторопные кельнера съ пѣнистыми кружками пива, вокругъ шумный говоръ и смѣхъ туземныхъ любителей этого напитка, а онъ, среди общаго движения и гама, сидить себѣ за отдѣльнымъ столикомъ съ кружкой «Weisbier» передъ собою, съ полуприщуренными глазами, и не то мечтаетъ, не то просто отдыхаетъ душою. Можетъ быть, передъ нимъ носятся опять самосозданные образы див-

чины, паробка и вѣдьмы-мачихи? Можетъ-быть и такъ. Но чтобы изложить все это на бумагѣ, онъ не взялъ бы теперь, кажется, и миллиона; вѣкъ бы такъ нѣжился, съ мѣста не шевельнулся!

На 10-й уже день подрядилъ онъ возницу, который на своей откормленной лошадкѣ-голштинкѣ доставилъ его черезъ добрыхъ два часа времени красивою аллеей за 18 верстъ къ конечной цѣли его странствія—Травемюнде.

И здѣсь то-же невозмутимое *dolce far niente*, но съ болѣшими вариаціями; по утрамъ—цѣлебныя ванны, за обѣдомъ—компанія собесѣдниковъ со всѣхъ странъ свѣта, подъ предсѣдательствомъ хлѣбосола-хозяина гостиницы, а передъ сномъ—страничка-другая не чужого пера, а собственнаго: простонародный разсказецъ, которому и название уже найдено «Сорочинская ярмарка».

Глядь—двухъ недѣль опять какъ не бывало, курсъ леченія законченъ, да и въ кошелькѣ уже дно ощупать можно. Засиживаться долѣе не приходится.

Еще денекъ въ Гамбургѣ, прогулка по берегу Альстеръ (притокъ Эльбы), по мѣстному Невскому проспекту—Дѣвичьей тропѣ (*Ingfernstieg*)—и восвояси. Но стоялъ уже сентябрь, и все—погода и море—глядѣло сентябремъ. Да, тогдашняя юльская качка въ сравненіи съ этой сентябрьской—сущѣ пустяки, игрушки! Теперь пароходъ кидало изъ одной водяной бездны въ другую, окунывало то носомъ, то кормою, нахренивало до невозможности то на одинъ, то на другой бокъ, и встрихивало такъ, что онъ самымъ отчаяннымъ манеромъ трещалъ и скрипѣлъ, кряхтѣлъ и стональ. Внутри же его по койкамъ раздавались только плачь, стоны и скрежетъ зубовный, мольбы и клятвы всѣми святыми—вовѣки ни за какія коврижки въ мірѣ уже не пускаться въ море. А сунься-ка на палубу—и того горше: насквозь тебя прохватить холоднымъ вѣтромъ, съ неба хлещетъ холоднымъ дождемъ, съ моря холодною же и соленою волною, въ снастяхъ и реяхъ дикий свистъ и гуль, за бортомъ грозный плескъ и клохотъ, и все-то кругомъ тебя бѣ-

шено прыгаетъ, опрокидывается, мѣшаются другъ съ другомъ: и мачты, и капитанъ на мостицѣ, и облака, и волны... О, море, море! какъ ты величественно и какъ безобразно, безпощадно! Чѣдѣ передъ тобою величайшее и ничтожнѣйшее созданіе—человѣкъ? Плеснуло—и смыло уже безъ слѣда со всѣми его безумными мечтами и страстями. Ай! ай! подъ ложечкой опять засосало, и все разомъ поднимается,—Господи, Господи! и какъ это душа еще въ тѣлѣ держится? когда-то этимъ адскимъ мученіямъ конецъ?..

Вечеромъ 22 сентября Прокоповичъ, возвращаясь отъ знакомыхъ, столкнулся внизу на лѣстницѣ съ Якимомъ.

— Ты куда опять?

По всему лицу Якима до ушей расплылась блаженная улыбка.

— А въ булочную за сухарями,—отвѣчалъ онъ, потрясая въ рукѣ салфеткой:—у насъ важный гость.

— Гость? Ужъ не панюкъ ли твой изъ нѣмечинъ вернулся?

— Поихала Гася, тай вернулася! Спрашивало его такъ, шуткующи: «видѣлъ ли,—кажу,—и чорта нѣмецкаго?»—«Какъ же,—говорить,—видѣлъ: рожки маленькие, копыта въ сафьянновыхъ чобиткахъ, хвостъ подвернуть; не такій, якъ нашъ—хвостъ въ аршинъ распущенный». Такой же все жартливый! Да вотъ, сталъ онъ теперь читать письмо маменькино...

— Ладно! Бѣги въ булочную,—прервалъ болтуна Прокоповичъ, усмѣхнувшись, и поспѣшилъ наверхъ.

Но тутъ въ дверяхъ онъ осталбенѣлъ. Гоголь сидѣлъ за столомъ, облокотясь обѣими руками и спрятавъ въ нихъ лицо. На столѣ же передъ нимъ лежало развернутое письмо, пришедшее на его имя нѣсколько дней назадъ; что оно было отъ матери Гоголя, Прокоповичъ узналъ тогда же по почерку на адресѣ.

— Ты ли это, дружище?

Гоголь отнялъ руки отъ лица: оно было чисто, но смертельно-блѣдно и крайне разстроено.

— Здравствуй,—промолвилъ онъ, какъ бы нехотя протягивая черезъ столъ руку.

— Здравствуй, милый мой! А я-то какъ по тебѣ соскучился! Дай же обнять тебя! Ужъ не дурныя ли вѣсти изъ дому?

— Нѣть, ничего...

Дурныхъ вѣстей какихъ-либо въ письмѣ матери, точно, не было; но какъ потрясло оно сына до глубины души,—видно изъ посланнаго имъ спустя два дня отвѣта:

«Съ ужасомъ читалъ я письмо ваше,пущенное 6-го сентября... Вотъ вамъ мое признаніе: одни только гордыя помыслы юности, проистекающіе однакожъ изъ чистаго источника, изъ одного только пламеннаго желанія быть полезнымъ, не будучи умѣрлемы благоразуміемъ, завлекли меня слишкомъ далеко... Богъ унишилъ мою гордость—Его святая воля! Но я здоровъ, и если мои ничтожныя знанія не могутъ доставить мнѣ мѣста, я имѣю руки, слѣдовательно, не могу впасть въ отчаяніе... Одно только мое моленіе къ Богу, одно желаніе: пусть Онъ изгладить изъ сердца вашего—сына неблагодарнаго, вмѣстѣ съ несчастіями, имъ вамъ нанесенными, и да осчастливить васъ счастіемъ моихъ добрыхъ и безцѣнныхъ сестеръ! Пусть онъ будутъ вамъ утѣшениемъ, пусть ни одна изъ нихъ не напомнить собою недостойнаго брата! Если же Всевышнему угодно будетъ дать мнѣ возможность и состояніе хотя со временемъ поправить разстройство и разореніе, мною вамъ причиненное, тогда только почту я, что надо мною произнесено Богомъ прощеніе... Я не въ силахъ теперь извѣстить васъ о главныхъ причинахъ скопившихся, которыя бы можетъ быть оправдали меня хотя въ нѣкоторомъ отношеніи. Чувства мои переполнены; я не могу перевести дыханія. Ваше письмо... Простите, простите меня, великодушная маменька!...»

Повѣдать на-чистоту всю исторію съ злополучнымъ «Гансемъ Кюхельгарденомъ» было свыше силъ автора, и ни тогда, ни впослѣдствіи онъ не сказалъ объ ней ни слова. Уже послѣ его смерти любознательные поклонники великаго писателя выпытали ее отъ его вѣрнаго простодушнаго Якима.





## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

### Въ хомутѣ.

**З**аграничная поездка принесла Гоголю двоякую пользу: вылечила его тѣлесно, излечила и духовно: стихотворный пыль его навсегда угасъ. Но суровая проза жизни, съ которою онъ сталъ теперь лицомъ къ лицу, не давала ему уже прохода.

— Бида человека наайде, хочь и солнце зайде! — вздыхалъ теперь и Якимъ. — Безъ гройшей чоловикъ не хороший.

Нужда, настоящая, безпощадная нужда, стучалась къ нимъ въ дверь. Просить опять «гройшей» изъ дома было немыслимо. Надо было, во что бы то ни стало, пріискать себѣ постоянныхъ занятій, которыя давали бы вѣрный кусокъ хлѣба. Но гдѣ взять ихъ? Послѣ долгихъ тщетныхъ поисковъ Гоголь рѣшился обратиться къ племяннику ихъ семейнаго «благодѣтеля», «кибинцкаго царька», Андрею Андреевичу Трощинскому, заслуженному генералу, унаслѣдовавшему отъ дяди его богатыя имѣнія<sup>1)</sup>.

Трощинскій принялъ молодого родственника нѣсколько свы-

<sup>1)</sup> А. А. Трощинскій, родившійся въ 1774 г., по обычаю того времени, еще ребенкомъ былъ занесенъ въ списокъ солдатъ гвардіи, 10 лѣтъ отъ роду былъ уже сержантомъ, 18 — капитаномъ, а 31 — генераломъ. Съ 1811 г. онъ состоялъ въ отставкѣ и зиму проводилъ въ Петербургѣ, а лѣто въ деревнѣ. Въ 1821 г. онъ женился на молодой красавицѣ — Ольгѣ Дмитріевнѣ Кудрявцевой, внучкѣ (по матери) Польскаго короля Станислава Понятовскаго. Ольга Дмитріевна была въ пріятельскихъ отношеніяхъ съ М. И. Гоголь, находилась съ нею въ постоянной перепискѣ и крестила одну изъ ея дочерей — Лизаньку.

сока, но милостиво, снабдилъ его денежными средствами для уплаты за квартиру и для обзаведенія необходимымъ зимнимъ плащемъ, а затѣмъ обѣщался замолвить за него слово въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, гдѣ зналъ одного изъ директоровъ.

— Всего охотнѣе, признаться, я служилъ бы по юстиціи, — позволилъ себѣ заявить Гоголь: — моя давнишняя мечта была — работать противъ кривды, которая заѣла нашъ темный народъ...

— Человѣкъ предполагаетъ, а Богъ располагаетъ, — обрѣзаль возраженіе Андрей Андреевичъ. — На всякомъ государственномъ поприщѣ вы можете быть равно полезны: честные и усердные дѣятели вездѣ нужны. Вы по диплому въ какомъ рангѣ?

— Въ рангѣ коллежскаго регистратора.

— По нашему — прапора? Да! вѣдь вы не были въ университетѣ, гдѣ кандидатамъ дается сразу штабсъ-капитанскій чинъ; а теперь въ министерствахъ больше спросъ на такихъ людей съ высшимъ образованіемъ...

— Но и наша нѣжинская гимназія не простая, а «высшихъ наукъ»: три старшихъ класса яко-бы университетскіе...

— То-то, что «яко-бы»; какъ говорится: тѣхъ же щей, да пожиже влей. Ну, что же, попытаемся, похлопочемъ.

Хлопоты его, однако, увѣнчались только половиннымъ успѣхомъ: знакомый ему директоръ хотя и согласился принять къ себѣ въ департаментъ молодого нѣжинца, но не на штатное мѣсто и въ теченіе первыхъ двухъ мѣсяцевъ даже безъ всякаго жалованья. Выбора не было, и Гоголь съ визитной карточкой Трощинскаго въ карманѣ отправился въ министерство внутреннихъ дѣлъ.

Когда онъ очутился тутъ въ большой пріемной съ высокими окнами безъ гардинъ, среди голыхъ сѣрыхъ стѣнъ, установленныхъ только длиннымъ рядомъ дубовыхъ стульевъ для просителей, — сердце въ немъ невольно скжалось: такъ вотъ гдѣ суждено ему утолить свою жажду государственной дѣятельности для общаго блага! А въ чемъ будетъ заключаться она, эта дѣятельность? Ужъ не въ пріемѣ ли пакетовъ?

Послѣдняя мысль явилась ему при видѣ сидѣвшаго за письменнымъ столомъ у окна дежурнаго чиновника—сѣдень-каго старичка въ старенькомъ вицмундирѣ съ крестикомъ въ петличкѣ, принимавшаго отъ почтальона пакеты. Старый служака дѣлалъ свое дѣло методически: пока онъ не пересчиталъ всѣхъ сданныхъ ему пакетовъ и не расписался въ ихъ полу-ченіи въ разносной книгѣ почтальона, онъ не замѣчалъ, не желалъ замѣтить торчавшаго тутъ же у стола молодого про-сителя. Покончивъ съ почтальономъ, онъ досталъ изъ кармана роговую табакерку, угостилъ себя щепоткой, обтеръ носъ и губы клѣтчатымъ, не первой свѣжести носовымъ платкомъ и тогда уже повернулъ голову къ Гоголю.

— Вамъ кого?

— Минѣ бы директора.

— Сегодня у его превосходительства нѣть приема: пожа-луйте завтра.

— Но у меня къ нему карточка.

— Карточка? Гмъ... И отъ особы?

— Отъ особы.

— Позвольте взглянуть. «Генералъ-маиоръ Андрей Андреевичъ Трошинскій». Такъ-съ. Вы, знать, опредѣлиться къ намъ хотите?

— Хотѣлъ бы.

Старичокъ критически обозрѣлъ съ головы до ногъ фигуру стоявшаго передъ нимъ молодого человѣка и чуть-чуть усмѣх-нулся.

— Жеребенку хомуту захотѣлось? Хорошъ нашъ хомутикъ, ай, хорошъ! (Онъ указалъ на сильно потертый бархатный во-ротникъ своего лоснившагося, какъ шелкъ, вицмундира.) А прошеніе у васъ приготовлено?

— Какое прошеніе?

— О хомутѣ.

— Да развѣ надо еще прошеніе?

— Хе-хе-хе! Какъ же иначе о васъ дѣло-то завести? Съ первого шага мы васъ зарегистрируемъ, заномеруемъ. Такъ подъ номеромъ и пустимъ гулять по бѣлу свѣту!

— Чтобъ не потерялся?

— Чтобъ не потерялись, само собою, хе-хе-хе! Многому еще вамъ придется у насъ поучиться, хоть и кончили, вѣрно, курсъ наукъ?

— Кончиль.

— Да не совсѣмъ, какъ видите, не совсѣмъ-сь. И диплома, пожалуй, съ собой не прихватили?

— Нѣть.

— Чѣд я говорю! При прошеніи вамъ слѣдуетъ приложить и дипломъ, и метрику, и свидѣтельство о дворянствѣ. Вѣдь вы, я чай, изъ дворянъ?

— Изъ дворянъ. Да нельзѧ ли мнѣ все это потомъ представить, хоть завтра?

— Завтра? Гмъ, въ видѣ особаго изъятія развѣ... Но въ прошеніи вы должны обязательно упомянуть о семье.

— А самое прошеніе мнѣ можно написать теперь же?

— Можете-сь; гербовый листъ вы достанете здѣсь же у швейцара; гравенничекъ всего приплатите. Эй, Парфентьевъ! сходи-ка къ Миронычу за гербовымъ листомъ.

Парфентьевъ, дежурный сторожъ, на врученный ему Гоголемъ рубль принесъ ему отъ швейцара гербовую бумагу и сдача.

— Вотъ вамъ и перышко, садитесь и пишите,—сказалъ покровительственно чиновникъ, а самъ обратился къ вошедшему между тѣмъ курьеру посторонняго вѣдомства, чтобы принять отъ него также нѣсколько пакетовъ.

Легко сказать: «пишите!» Да что писать-то? Наплетеши еще совсѣмъ несуразное, а суть-то какъ разъ, можетъ, и упустишь, и листъ гербовый испортишь. Вотъ наказаніе! Совсѣмъ какъ беспомощный ребенокъ...

— Что же вы?—послышался тутъ опять голосъ старичка-чиновника.—И прошенія-то короче воробышаго носа написать не умѣете? Эхъ-эхъ! Всякое, милостивый государь, дѣло мастера боится. Извольте ужъ, я вамъ продиктую. Пишите: «Его Превосходительству»... Да что вы, чѣд вы! Перекреститесь!

— Перекреститься?

— Да какъ же, виданое ли дѣло: «Превосходительство» пишете съ маленькой буквы.

Какъ школьникъ подъ диктовку учителя, Гоголь выводилъ на бумагѣ слово за словомъ, пока не доехѣлъ до подписи.

— А здѣсь внизу выставьте свое мѣстожительство,—заключилъ учитель.—Вотъ такъ. Что, въ потъ, небось, вогнало? Не прикажете ли для подкѣплѣнья табачку? Нѣть? Какъ угодно-съ. Въ пріемной тутъ куреніе возбранено, да и вообще то нашему брату, канцелярскому, знаете, курить въ присутственномъ мѣстѣ не пристало. Такъ вотъ-съ и балуешься нюхательнымъ табачкомъ: не зазорно и не накладно; дешевле даже курительного.

Словоохотливый старичокъ продолжалъ бы, вѣроятно, и дальше, не попроси его Гоголь снести директору карточку Трощинскаго съ прошеніемъ.

— Прошеніе вы покудова оставьте еще при себѣ, на случай, что васъ примутъ,—объяснилъ чиновникъ.—А карточку я передамъ черезъ курьера.

Немнога погодя онъ возвратился.

— Его превосходительство вѣльми подождать.

Ждать, впрочемъ, Гоголю пришлось не очень долго. Вмѣсто самого директора, къ нему вышелъ другой чиновникъ съ орденомъ на шеѣ и съ такою важностью во всей выпрѣвѣ и въ гладко-выбритомъ лицѣ нѣмецкаго типа, что ой-ой, не подходи близко! Не изъ остзейскихъ ли фоновъ или даже бароновъ?

— Это вы отъ генерала Трощинскаго?—обратился онъ къ Гоголю сухимъ официальнымъ тономъ и, на утвердительный отвѣтъ, предложилъ ему идти за нимъ.—Директору угодно, чтобы я взялъ васъ къ себѣ въ отдѣленіе. Прошеніе у васъ съ собой?

— Вотъ-съ.

— Хорошо. Послѣ сами отадите въ регистратуру.

Въ «регистратуру»... Это еще что за штука? Но спрашивать у этого барина не приходится. Такъ вотъ оно, канцелярское святилище!

Впереди открылась анфилада «отдѣленій», раздѣленныхъ одно отъ другого только высокими арками; справа и слѣва ряды столовъ, а за столами, сгорбившись надъ своей работой, чиновники и писцы. Миновавъ вторую или третью арку, начальникъ-вожатый остановился передъ однимъ изъ столоначальниковъ, который тотчасъ приподнялся съ мѣста.

— Вотъ, Тимоѳей Ильичъ, молодой человѣкъ, который, по желанію директора, будетъ заниматься въ вашемъ столѣ.

Тимоѳей Ильичъ молча поклонился и указалъ Гоголю на пустой стулъ около своего стола.

— Присядьте. Вы гдѣ получили образованіе?

Гоголь далъ обстоятельный отвѣтъ. Что онъ кончилъ только по второму разряду—произвело на столоначальника, казалось, не совсѣмъ-то выгодное впечатлѣніе. Самъ онъ, какъ потомъ оказалось, былъ изъ кандидатовъ петербургскаго университета. Но въ сравненіи съ начальникомъ отдѣленія онъ держалъ себя значительно проще и спросилъ Гоголя «на совѣсть», намѣренъ ли онъ серіозно посвятить себя чиновной карьерѣ. Глядѣль онъ на него при этомъ такъ въ упоръ, что у Гоголя духу не хватило отвѣтить не «на совѣсть».

— Откровенно говоря,—сказалъ онъ,—я охотнѣе пошелъ бы по судебнай части; но обстоятельства такъ сложились, что приходится искать куска хлѣба...

— Такъ вы нуждаетесь все-таки въ кускѣ хлѣба? И то хорошо. Значитъ, вы должны работать, а охота придетъ, можетъ быть, своимъ чередомъ. Такъ что жъ, не откладывая въ долгій ящикъ, начнемъ съ азовъ. Изволите видѣть...

И началась цѣлая лекція объ «азахъ» канцелярской науки. Для наглядности лекторъ бралъ изъ вороха дѣлъ на столѣ передъ собою то одно, то другое дѣло и вкратцѣ, но толково и даже съ нѣкоторымъ одушевленіемъ передавалъ сперва ихъ содержаніе, а затѣмъ порядокъ дѣлопроизводства. Вначалѣ Гоголь старался сосредоточить все свое вниманіе, чтобы слѣдить за его объясненіемъ. Но содержаніе «дѣлъ» такъ мало говорило воображенію и сердцу, что онъ вскорѣ совсѣмъ безот-

четно отвлекся отъ сухой теоріи къ живой дѣйствительности,—къ тому, чтѣ происходило вокругъ него: это была просто какая-то бумажно-чернильная лабораторія! Одни, не покладывая рукъ, строчили бумагу за бумагой, другіе ихъ перебѣляли, треты рылись въ шкафахъ или въ грудахъ «дѣлъ», сваленныхъ на подоконникахъ, четвертые « заводили дѣла », подшивая въ синія обложки исполненные «подлинныя» бумаги и «отпуска» (копіи), пятые вносили во «входящій» журналъ «вновь поступившія» бумаги и т. д.

И надѣль всѣмъ этимъ стоялъ общій смутный шумъ отъ скрипа перьевъ, отъ шелеста перелистываемыхъ бумагъ, отъ шарканья ногъ подъ столами, отъ стука отодвигаемыхъ стульевъ, отъ перешептыванія писцовъ и отрывочныхъ возгласовъ начальствующихъ лицъ:

- Михеевъ! подайте-ка III-й томъ.
- Лукинъ! очините-ка перо.
- Кириловъ! подложите-ка переписку.

— Вы, я вижу, довольно разсѣяны,—внезапно оборвалъ Тимоѳей Ильичъ свою лекцію.—На дѣлѣ вы, можетъ быть, усвоите себѣ все скорѣе. Вотъ вамъ для начала двѣ шаблонныхъ бумажки—два прошенія, которыя надо препроводить: одно—въ третъемъ лицѣ по принадлежности къ министру Императорскаго Двора, князю Петру Михайловичу Волконскому, а другое—на заключеніе къ московскому генерал-губернатору. Содержаніе постараитесь изложить возможно сжато и ясно. Лаконизмъ—первое условіе канцелярскаго стиля. Примѣры вамъ подыщетъ канцелярскій чиновникъ. Что, Пыжиковъ, отдѣлялись уже отъ дежурства?

Послѣднія слова относились, какъ оказалось, къ тому самому старичку-канцеляристу, который давича дежурилъ въ пріемной, а теперь появился у сосѣдняго стола, заваленного дѣлами и бумагами.

— Отдѣлялся, Тимоѳей Ильичъ,—отвѣчалъ Пыжиковъ.—Калининъ взялся за меня додежурить. Вонъ сколько бумагъ вѣдь еще къ отправкѣ!

— И прекрасно. Будьте добры только сперва снабдить нашего новаго сослуживца канцелярскими принадлежностями и шаблонами къ этимъ двумъ исполненіямъ.

— Гора съ горой не сходится, а человѣкъ съ человѣкомъ сходится,—вполноголоса привѣтствовалъ старикъ Пыжиковъ новаго сослуживца.—Оба вѣдь не думали, не гадали, что подъ однимъ началомъ служить придется. Можете себя только поздравить.

— Съ чѣмъ?

— Да съ тѣмъ, что въ столь къ такому дѣльцу попали. Работникъ Тимоѳея Ильичъ у насъ, какихъ съ фонаремъ поискать; маленько, правда, строптивъ: за мнѣніе свое готовъ предъ начальствомъ на стѣну лѣзть, распинаться; ну, и безъ протекціи, такъ въ черномъ тѣлѣ его и держать. Вонъ Павликъ у насъ въ кое вѣки, какъ красное солнышко, покажется и спрячется, а не нынче—завтра въ чиновники особыхъ порученій выскочить, помяните мое слово.

— Какой Павликъ?

— А помощникъ Тимоѳея Ильича—Ключаревскій, Павелъ Анатольевичъ. Вонъ и стулъ его—съ той недѣли уже по хозяинѣ плачетъ.

— Да, можетъ, онъ захворалъ?

— Онъ-то захворалъ, яблочко наливное? Да и время ли человѣку хворать, скажите, когда надо и по Невскому-то на рынке прокатиться и съ визитами къ разнымъ графинямъ да княгинямъ, которая безъ него, какъ безъ рукъ: тутъ приватное дѣльце имъ оборудуй, тамъ справочку наведи, здѣсь лотерею-аллегри, цѣлый базаръ устрой, живые картины поставь,— почемъ я знаю! Словомъ, самонужнѣйший мужчина, чиновникъ особыхъ порученій по всѣмъ статьямъ; только въ министерскомъ приказѣ еще не отдано. Ну-съ, вотъ вамъ и два шаблончика, вотъ бланочки, перышко, карандашикъ, резиночка. Съ починомъ!

— Но куда мнѣ сѣсть?

— А вонъ на стульчикъ Павлика. За него поработаете, такъ честь и мѣсто.

Усълся Гоголь, осънился крестомъ на образъ съ лампадой въ углу: «Господи, благослови!» и развернуль первый «шаблонъ».

«Министръ внутреннихъ дѣлъ, свидѣтельствуя совершенное поченіе такому-то, имѣть честь препроводить при семъ по принадлежности»...

Ну, это-то чего проще. Стиль самый немудреный. Вся задача въ содержаніи «препровождаемаго».

Обратился онъ къ «препровождаемому». Было то прошеніе какого-то звенигородскаго мѣщанина на четырехъ страницахъ мелкаго письма, да чортъ знаетъ что такое! Нагородилъ, вишь, съ три короба ни къ селу, ни къ городу, а ты изволь всю эту дрянь изложить «сжато и ясно»! Посовѣтоваться развѣ съ Пыжиковымъ? Да вѣдь старикашка на смѣхъ еще подниметь. Напишемъ, какъ Богъ на душу положить.

Написалъ, прочелъ. Нѣтъ, не то! И черезчуръ пространно, и «стиль» недержанъ.

Сталь передѣлывать, перемаралъ вдоль и поперекъ. Наконецъ-то, кажется, въ тонъ попалъ. Съ черняка перебѣлилъ на чистой бланкѣ. Слава Тебѣ, Господи! Одна штука есть; остается другая.

Но что за оказія? Надо отправить прошеніе въ Москву, а въ самомъ прошеніи говорится о петергофскихъ фонтанахъ.

— Простите,—рѣшился Гоголь все-таки обезпокоить статичка-канцеляриста,—но я, признаюсь, никакъ въ толкъ не возьму, какое дѣло московскому генерал-губернатору до петергофскихъ фонтановъ?

Пыжиковъ заглянулъ въ прошеніе и фыркнулъ Гоголю въ лицо.

— Перепутали, батенька! Это вамъ надо отправить вовсе не въ Москву, а къ министру Двора, а то, другое, въ Москву.

Фу ты, пропасть! Совсѣмъ опростоволосился. Дѣлать нечего: взялся опять за первую бумагу. Да не угодно ли связать мысли, когда вокругъ тебя вѣчная толчея, а начальникъ-баронъ безъ устали ходить себѣ, знай, взадъ и впередъ между

столами подначальныхъ тружениковъ, какъ маятникъ въ часахъ: «чикъ!» да «чикъ!» «чикъ!» да «чикъ!», — мимоходомъ подпуская тебѣ еще струйку табачнаго дыма,—можеть быть, и отъ настоящей гаванской сигары, но, тѣмъ не менѣе, преѣдкаго дыма, отъ котораго у некурящаго человѣка съ непривычки въ горлѣ першитъ.

Наконецъ-то угомонился, присѣль къ своему столу просмотрѣть поданную ему столонаачальникомъ Тимоѳеемъ Ильи-чевъ кипу переписанныхъ бумагъ. Вдругъ, словно муха его укусила, гаркнулъ на все отдѣленіе, такъ что всѣ кругомъ вздрогнули, оглянулись:

— Тимоѳеи Ильичъ! да что же это такое?

Тотъ подошелъ къ начальнику.

— Помилуйте, батюшка, чтѣ вы тутъ нагородили? Вѣдь резолюція директора совершенно ясная: «Разрѣшить»?

— Ясная, но ошибочная,—отвѣчалъ Тимоѳеи Ильичъ сдержаннѣмъ, но рѣшительнымъ тономъ.

— Какъ ошибочная! Его превосходительство, очевидно, желаетъ удовлетворить ходатайство, а вы категорически его отклоняете.

— Потому что ходатайство незаконное.

— Вашего мнѣнія не спрашивають! Воля начальства, а мы — исполнители. Я васъ покорнѣйше прошу передѣлать бумагу.

— Не взыщите, Адольфъ Эмильевичъ, но я передѣлать ее не берусь.

— Какъ не беретесь?!

— Да вы прочли ее до конца?

— Прочелъ. Ну, и что же?

— Законы приведены мною, кажется, правильно?

— Положимъ, что правильно...

— А коли такъ, то какое же я имѣль бы право исполнять незаконную резолюцію? Всякому человѣку свойственно ошибаться — и начальству. Если же мнѣ, исполнителю, ввѣрена отвѣтственная часть, то я долженъ и оправдать это довѣріе, оберегать начальство отъ противозаконностей.

Хотя самъ Тимоѳей Ильичъ попрежнему не повышалъ тона, подобно своему начальнику, но общее вниманіе всего отдѣленія было уже обращено на препирающихся. Адольфъ Эмильевичъ не могъ этого не замѣтить, и кровь хлынула ему въ голову, глаза его гнѣвно засверкали. Ему стоило, видимо, большого труда побороть себя.

— Хорошо! оставьте мнѣ бумагу... — пробормоталъ онъ и дрожащею отъ волненія рукою схватилъ перо, чтобы самолично передѣлать работу строптиваго подчиненнаго.

Наступило полное затишье; весь чиновный міръ кругомъ притаился, какъ бы въ ожиданіи новаго раската грома. И вдругъ, откуда ни возьмись, солнышко!

Въ отдѣленіе впорхнулъ маленький, кругленький человѣчекъ лѣтъ 25-ти, въ которомъ рѣшительно уже не было ничего «чиновнаго». Партикулярный съ иголочки фракъ на немъ былъ послѣдняго покроя съ длиннѣйшими фалдами и самаго моднаго цвѣта — гаванскаго съ искрой; изъ-подъ широкихъ бланжевыхъ панталонъ кокетливо выставлялись кончики маленькихъ ножекъ въ лакированныхъ ботинкахъ; пунцовыи шелковый шарфъ, пришипленный крупной булавкой-жемчужиной, ниспадалъ на блѣснѣвшную, кружевную сорочку небрежно-изящнымъ бантомъ. Это былъ петиметръ чистѣйшей воды, котораго мягкія движенія и слегка помятое, но розовое и предобродушное лицо съ ущемленнымъ въ правомъ глазу стеклышикомъ вполнѣ гармонировали со всей элегантной фигурой.

— Вотъ и нашъ Павликъ, — замѣтилъ Пыжиковъ, подмигивая Гоголю. — Добро пожаловать, Павелъ Анатольевичъ. Сколько лѣтъ, сколько зимъ?

Но Павлику было не до канцелярскаго. Пріятельски кивая по сторонамъ, онъ подлетѣлъ уже къ начальнику отдѣленія, красиво изогнувшись, расшаркался и извинился по-французски, что немножко-де замѣштался и явился въ партикулярномъ видѣ; но что онъ въ ужасной поредрягѣ: надо въ три дня развезти триста билетовъ къ благотворительному концерту княгини Ев-праксіи Борисовны.

— Вашему высокородію честь представить на ближайшее усмотрѣніе, по бывшимъ примѣрамъ, два почетныхъ билета,—заключилъ онъ по-русски, доставая изъ бумажника два билета.—А супругъ вашей я позволилъ себѣ препроводить по принадлежности прямо на кухню замѣчательнаго зайца.

— Grand merci,—поблагодариль начальникъ, черты которого значительно прояснились.—А вы, mon cher, что же, были опять на охотѣ?

— Да, съ вашего разрѣшенія, за Нарвой у Палена.

— Какъ съ моего разрѣшенія?

— Да когда я какъ-то доставилъ вамъ оттуда окорокъ лоси, вы развѣ не дали мнѣ разъ навсегда *carte blanche*? И какой же тамъ при сей оказіи со мной анекдотъ приключился, доложу я вамъ,—умора!

При одномъ воспоминаніи объ анекдотѣ, молодой охотникъ покатился со смѣху.

— Расскажите,—заинтересовался Адольфъ Эмильевичъ, усаживаясь удобнѣе въ креслѣ и зажигая себѣ новую сигару.

— Eh bien, Ѳдемъ мы это всей компанией къ мѣсту охоты. Дорога проселками. Снѣгъ по сторонамъ сугробами въ два аршина. На парѣ, какъ знаете, прѣѣхать и не думай.

— Еще бы: на то у насъ тамъ и санки-одиночки, а лошади—маленькия шведки.

— Вотъ, вотъ. Но мы затѣяли гонку. Лошади вязнуть въ снѣгу чуть не по горло, фыркаютъ; бубенчики звенятъ; крикъ, хохотъ... Вдругъ выскочи на дорогу изъ крестьянскихъ задворковъ свинья,препочтеннная этаکая *mater familias*, и подъ ноги моей шведкѣ. Та—стопъ, на дыбы. А заднія сани нась уже обгоняютъ. Положеніе хуже губернаторскаго! Ударилъ я возжами по шведочкѣ, гикнулъ, и понеслась она, голубушка, стрѣлой за хавроньей. А та въ перевалку передъ нами трюхъ-трюхъ и со страху безъ умолка: «хрю-хрю!»

— Хороша картина!—вставилъ съ снисходительной улыбкой Адольфъ Эмильевичъ, пуская дымное колечко.

— N'est-ce pas? Но постойте: la pointe впереди. Нагнали

мы Хавронью Ивановну; ну, что бы, кажется, признать ужъ себя побѣжденной, свернуть съ дороги? Ань нѣть, трусить себѣ, дурища, безъ оглядки передъ нами тѣмъ же аллюромъ. Моментъ—и визжитъ уже подъ полозьями благимъ матомъ на всю Ивановскую. Санки на-бокъ и я въ снѣгъ. Гляжу: что съ моей свиньюшкой? Можете себѣ представить: туши-то въ прѣлости, но пятакъ съ рыла какъ ножемъ срѣзalo!

— Такъ-таки отскочилъ и лежить на дорогѣ?

— Такъ и лежить.

— А вы что же, не подобрали?

— Подобралъ и тутъ же подарилъ деревенскому мальчишкѣ, который подвернулся очень кстати: «На тебѣ, братецъ, на пряники».

«Пуанта» разсмѣшила не только начальника, но и окружающихъ подчиненныхъ, которые, оказалось, также прислушивались къ игривому разсказу. Адольфъ Эмильевичъ сразу напхмурился, вытянулся въ свое мѣсто и замѣтилъ рассказчику полуофиціальнымъ уже тономъ:

— Пора намъ однако и дѣломъ заняться. И для васъ, mon cher, кое-что найдется.

— На сегодня, добрѣйшій Адольфъ Эмильевичъ, я просилъ бы меня еще уволить,—съ заискивающей развязностью извинился Павликъ:—мнѣ непремѣнно надо забѣхать до обѣда еще въ нѣсколько мѣстъ.

Начальникъ не сталъ, конечно, его удерживать. Теперь только, уходя «со службы», Ключаревскій по пути сталъ попрятательски здороваться и прощаться за руку съ остальными сослуживцами. Тутъ ему попался на глазу и Гоголь, сидѣвшій какъ разъ на его, Ключаревскаго, мѣстѣ.

— А! новое лицо,—сказалъ онъ, поправляя въ глазу стеклышко.—Опредѣляетесь на службу?

— Опредѣляюсь,—отвѣчалъ Гоголь, не безъ недоумѣнія глядя на привѣтливо улыбающагося ему допросчика.

— Очень радъ—не столько за васъ, сколько за себя: при случай замѣстите. Вѣдь я здѣсь нѣкоторымъ образомъ гость;

не хочу быть только лишнимъ гостемъ. Вы, можетъ быть, не знаете, что такое лишній гость?

— Что?

— А вотъ что. Засидѣлся онъ опять послѣ чая, надоѣль хозяину хуже горькой рѣдкы, а самъ не убирается, ждетъ, виши, не угостятъ-ли еще фруктами, вареньемъ или закуской? Наконецъ, дѣлать нечего, берется за шляпу, извиняется, что никакъ не можетъ болѣе оставаться: доктора совѣтуютъ ложиться ранѣе... «О! я васъ отлично понимаю,— говоритъ хозяинъ съ соболѣзнующей миной: — сонъ до 12 часовъ, дѣйствительно, самый крѣпкій и полезный. Доброй ночи!» Такъ вотъ-съ, буде вы, прослуживъ здѣсь малую толику, все еще оставались-бы на положеніи лишняго гостя, то не выжидайте закуски...

— Павель Анатольевичъ! вы что это тамъ проповѣдуете? — донесся тутъ голосъ начальника.— Уходите-ка, уходите и другихъ не мутите.

— Ухожу, ухожу, лечу!

Интермедія, устроенная Павликомъ, нѣсколько освѣжила Гоголя, и онъ съ новыми силами принялъся за свою вторую бумагу. Осилилъ тоже, переписалъ почище и понесъ къ столонаачальнiku. Что-то скажетъ?

Увы! Тотъ едва только бросилъ взглядъ на первую бумагу, какъ похѣрилъ все «содержаніе» и, взамѣнъ того, нацарапалъ на поляхъ живой рукой нѣчто вдвое короче. Вторую бумагу постигла та-же участъ. Шелуху оставилъ, а ядро выкинуль! Передавъ обѣ бумаги одному изъ писцовъ для переписки, онъ обратился къ Гоголю:

— Другой работы для васъ у меня покамѣстъ нѣть: все слишкомъ еще для васъ сложно. Но вамъ неизлишне ознакомиться на практикѣ и съ нашей черной работой. Пыжиковъ! займите-ка молодого человѣка.

Какъ провинившагося мальчугана, его сдали на руки инвалиду-дядѣкѣ!

— Съ чего-бы намъ начать? — глубокомысленно проговорилъ

Пыжиковъ, входя въ роль наставника.—Съ иглой-то вы въдь, я чай, немножко обходиться умбете? Пуговицы себѣ въ школѣ пришивали?

— Нѣть, не случалось; у меня былъ на то человѣкъ.

— Эхъ-эхъ! Да, впрочемъ, пуговицы все не то, чтѣ казенныя бумаги. Ужо, какъ удосужусь, такъ обучу васъ нашему портняжному дѣлу. А теперича чтѣ желаете на выборъ: либо новая дѣла въ алфавитѣ вносить, либо старымъ дѣламъ опись составлять для сдачи въ архивъ?

У Гоголя точно петлею горло сжало, а глаза заволокло влажною дымкой. Вотъ она, государственная дѣятельность, широкая, плодотворная, къ которой онъ недавно еще такъ порывался, которую въ мечтахъ своихъ рисовалъ себѣ такими рабочими красками! Съ перваго-же дня самого его сдаются въ архивъ! Да стоять ли теперь возражать? къ кому апеллировать? Противъ судьбы, неотвратимой, неумолимой, не апеллируютъ, а выносятъ ее съ христіанскимъ смиреніемъ.

— Мнѣ все равно! давайте, чтѣ хотите.

— А все равно, такъ вотъ-съ опись. Дѣло, простое, не головоломное.

Дѣло, точно, было не головоломное, но отупляющее, одуряющее; окружающая же департаментская атмосфера, пропитанная насквозь бумажною пылью и табачнымъ дымомъ, еще болѣе одурманивала. Гоголю сдавалось, что онъ съ часу ка часъ глупѣеть, деревенѣеть. Съ полнымъ равнодушіемъ услышалъ онъ, какъ запыхавшійся курьеръ возвѣстилъ, что директоръ собирается уходить и просить къ себѣ господѣ начальниковъ отдѣленій съ самыми экстренными бумагами; съ тѣмъ же равнодушіемъ видѣлъ онъ, какъ Адольфъ Эмильевичъ, поспѣшившій на зовъ главы департамента, вскорѣ опять возвратился и передалъ Пыжикову одну подписанную бумагу съ внушеніемъ немедля ее отправить.

— Эге-ге!—пробормоталъ про себя Пыжиковъ и вполголоса подозрительно къ себѣ Гоголя:—пожалуйте-ка сюда.

— Что такое?

— Чудо чудное: на законъ-то не посягнулъ.

— Кто?

— Да отдѣленскій шефъ нашъ. Помните вѣдь, какъ изъ-за одной бумажки у него съ Тимоѳеемъ Ильичемъ давича сырь-борь загорѣлся?

— Ну?

— Ну, такъ это она самая и есть: редакцію-то по своему измѣнилъ, да только такъ, знаете, съ поверхности патокой помазалъ, дабы усластить горечь отказа: одной рукой по мордѣ, а другой по шерсткѣ, одной по мордѣ, а другой по шерсткѣ! Хе-хе-хе!

— И директоръ подпись?

— А вотъ, изволите видѣть. Вся штука, батенька, въ редакціи. О! это цѣлая наука-сь! Хомутъ-то на васъ надѣли, но везти повозку—надо поучиться да поучиться. Ну, да Богъ милостивъ, самъ директоръ нашъ, было время, тутъ же на этомъ стулѣ подъ моимъ руководствомъ дѣла подшивалъ, а теперь, на-ка, поди, куда возлетѣлъ! Терпи казакъ—атаманомъ будешь.

Такъ утѣшалъ стариикъ. Но юнецъ-казакъ не мечталъ уже объ атаманствѣ. Передъ нимъ тянулась неоглядная, однообразно-сѣрая перспектива алфавитовъ и описей, дѣль къ подшивкѣ и шаблоновъ, шаблоновъ, шаблоновъ безъ конца...

Въ хомутѣ!..





## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

### Первая ласточка.

---

«Давъ!» Выдумалъ тоже!—разсуждалъ самъ съ собою сожитель Гоголя, Прокоповичъ, лежа послѣ сытнаго обѣда въ полуудремотномъ состояніи у себя на кровати.—Какъ набѣгаешься этакъ съ утра, высунувъ языкъ, по урокамъ, такъ къ обѣду аппетитъ, понятно, волчий. Комплекція, слава Богу, здоровая, казацкая. А нынче, не въ счетъ абонемента, прихватилъ еще съ Сѣнной живого налима: такую знатную ушицу молодецъ Якимъ сварилъ, что послѣ двухъ тарелокъ съѣлъ бы и третью и четвертую, кабы мѣсто только нашлося. И послѣ этого человѣкъ величаетъ себя «вѣнцомъ творенія!» Хорошъ вѣнецъ! А добрый пріятель надѣ тобой еще издѣвается: «Удавъ! boa constrictor!»—точно ты и въ самомъ дѣлѣ закусиль не какимъ-то ничтожнымъ трехфунтовымъ налимцемъ, а цѣлымъ теленкомъ».

Философствуя такимъ образомъ, Прокоповичъ сталъ понемногу забываться, когда внезапно былъ потревоженъ какимъ-то необыкновеннымъ шумомъ въ смежной комнатѣ.

Что бы это значило? Топанье ногъ, хлопанье въ ладони и пѣнье не пѣнье, а монотонное завыванье какъ-будто самого Гоголя, который и въ гимназіи-то, за отсутствиемъ слуха, былъ освобожденъ учителемъ Севрюгинымъ отъ хорового пѣнія. Съ горя-печали себя потѣшаешь, что ли? За обѣдомъ давича сидѣлъ вѣдь какъ въ воду опущенный, на уху и глядѣть не

хотѣлъ, а на вопросъ: «здоровъ ли?»—взялся только за горло: «хомутъ, моль, давить». Хомутъ! Да, моя ясочко, служба не дружба. Однако, посмотрѣть все-же, чтѣ съ нимъ.

Съ трудомъ разставшись съ мягкимъ ложемъ, Прокоповичъ отворилъ дверь къ приятелю. Но тутъ глазамъ его представилось такое зрелище, что онъ застылъ на порогѣ.

Посреди комнаты Якимъ плясалъ гопакъ, плясалъ съ такимъ азартомъ, что чубъ на макушкѣ у него трясяся, точно хотѣлъ оторваться, а съ лица его, пылавшаго какъ жарь, потъ лилъ градомъ. Гоголь же, въ своемъ неизмѣнномъ халатѣ, по-голуя на диванѣ, билъ въ тактъ въ ладоши и распѣвалъ съ большими одушевленіемъ и упорно-фальшиво<sup>1)</sup>:

— «Ходитъ гарбузъ по городу,  
Пытается своего роду:  
Ой, чи живы, чи здоровы  
Всѣ родичи гарбузови?»

При видѣ Прокоповича Якимъ, довольный случаемъ духъ перевести, прекратилъ свой неистовый танецъ.

— А я, братъ, Николай Васильевичъ, уже думалъ, что не твоя ли это милость съ горя въ плясъ пустилась?—замѣтилъ Прокоповичъ.

— Я ни плясать, ни плакать, какъ знаешь, не умѣю...

— А потому поручилъ дѣло Якиму? Но пока-то онъ только пляшетъ.

— Все по ряду, душа моя; будеть и плачъ велій. Можешь, казаче, наливъ себѣ еще рюмицу,—отнесся Гоголь къ Якиму,— а тамъ спой-ка намъ старую думу, да пожалобливъе, чтобы слеза прошибла.

Для пріятелей-земляковъ у Гоголя въ шкафчикѣ имѣлось всегда угощеніе: банка съ вареньемъ и двѣ фляги: одна—кіевской наливки и другая—«горилки-старки».

— Бувайте-здорови!—пожелалъ Якимъ обоимъ господамъ, наливъ себѣ полную рюмку «старки», и разомъ ее опрокинулъ

<sup>1)</sup> Самъ Гоголь въ одномъ письмѣ къ матери (отъ 1 ноября 1833 г.) говорилъ, что «еслибъ запѣлъ соло, то морозъ подралъ бы по кожѣ слушателей».

въ глотку; послѣ чего крякнулъ, тряхнулъ чубомъ и отошелъ къ двери. Прислоняясь здѣсь спиной къ косяку и подперевъ ладонью щеку, онъ затянулъ протяжно-заунывно, на манеръ украинскихъ кобзарей, старинную думу о побѣгѣ трехъ братьевъ изъ неволи турецкой.

«Какъ изъ земли турецкой да изъ вѣры басурманской, изъ того города Азова, не пыль-туманъ вставалъ: изъ тяжелой неволи три родные брата утекали: два конныхъ, третій, меньшой,—пѣшій. За конными бѣжитъ пѣшій, бѣжитъ-подбѣгаєтъ, по выжженной степи бѣлыми ногами ступаетъ, кровью слѣды заливается, за стремена братьевъ хватаетъ, горько молитъ-умоляетъ сбросить съ коней дорогія сѣдла, добычу богатую, взять его, меньшого брата, межъ коней своихъ, подвезти въ землю христіансскую къ отцу-матери.

«Не брали его конные братья: жаль съ добычей разстаться. Нагоняеть ихъ снова пѣшій братъ, послѣдней милости просить: вынуть изъ ноженъ саблю, снять съ него, пѣшаго, голову, похоронить въ чистомъ полѣ, не дать на поживу звѣрю и птицѣ.

«Не хотятъ рубить ему братья головы: не возьметъ сабля, рука не подымется, сердце не осмѣлится.

«Въ третій разъ догоняеть ихъ пѣшій братъ: какъ доѣдутъ до буераковъ, срубали бы вѣти терновыя, по дорогѣ бы раскидывали для примѣты ему, пѣшему.

«Срубали братья вѣти терновыя, раскидывали по дорогѣ; а какъ выѣхали на высокія степи и не стало терновика, средній братъ изъ-подъ жупана обрывалъ красную да желтую китайку, стлалъ по дорогѣ для примѣты меньшому брату.

«Находилъ меньшой братъ ту красную да желтую китайку, къ сердцу прижимаетъ, слезно рыдаешь:

«Нѣтъ, уже, знать, на свѣтѣ братьевъ, либо изрублены, либо пристрѣлены, либо въ неволю назадъ угнаны.

«Самого же его голодъ-жажды мучить, тихій вѣтеръ съ ногъ валить. Дошелъ такъ на девятый день до Савуръ-могилы, на могилу ложится, головой припадаетъ. Сбѣгались тутъ волки

сърые, слетались орлы чернокрылые—живому темныя похороны справлять. И молвил онъ имъ:

«Волки сърые, орлы чернокрылые, гости мои милые! обождите хоть немножечко, пока душа казацкая съ тѣломъ разлучится...

«Не черная туча налетѣла, не буйные вѣтры подули, то душа казацкая молодецкая съ тѣломъ разлучалася. Сбѣгались тутъ волки сърые, слетались орлы чернокрылые, въ головахъ садились, изо лба черныя очи выклевывали, бѣлое тѣло вокругъ желтой кости обгладывали, желтую кость подъ зеленые яворы разносили, сверху камышами прикрывали...»

— Стой!—неожиданно прервалъ Гоголь самозванного кобзаря, вскакивая съ дивана.—А теперички, братику мій, утѣрай тоже.

— Дай же ему хоть допѣть-то, какъ безбожные басурмане набѣгали и тѣхъ двухъ старшихъ братьевъ порубали...—вступился Прокопичъ.

— Можетъ допѣть, коли хочешь, у тебя,—отвѣчалъ Гоголь, быстро подходя къ письменному столу и доставая изъ ящика ворохъ исписанныхъ листовъ.

— Да неужели ты, Николай Васильевичъ, записать всю думу хочешь?

— Записать не записать, а поймать за хвостъ нѣкую мысль...

— Какъ жарь-птицу, чтобы не улетѣла?

— Да, да. Ну, что же, люде добри? На добра ничъ вамъ, спочывайте.

И тѣ—дѣлать нечего—вышли, а минуту спустя, изъ комнаты Прокоповича донеслись прежніе заунывные звуки. Но Гоголь уже не слушалъ, не хотѣлъ слышать и, хмурясь, сталъ рыться въ своихъ бумагахъ.

Дума замолкла, но вызванные ею образы продолжали витать надъ головою юноши, наклонившагося надъ своимъ писаньемъ.

Еще въ Любекѣ, какъ припомнить читатели, у Гоголя былъ начатъ очеркъ малороссийской ярмарки, принявший затѣмъ

форму рассказа. Но предназначался онъ тогда для нѣмцевъ и остался не только не переведеннымъ на ихъ языкъ, но и недописаннымъ по-русски, и сердце автора къ нему охладѣло. Писательская жилка, однако, какъ ключъ подо льдомъ, продолжала въ немъ тайно биться.

По возвращеніи въ Петербургъ, до поступленія въ департаментъ, томясь бездѣйствіемъ, Гоголь занялся опять просмотромъ присланныхъ ему матерью изъ деревни отрывочныхъ материаловъ, и отъ этихъ народныхъ обычаевъ и нравовъ, отъ этихъ старинныхъ преданій и повѣрій повѣяло на него чѣмъ-то такимъ роднымъ и милымъ, что онъ не устоялъ и снова взялся за перо.

Вдохновившись теперь думой о побѣгѣ трехъ братьевъ, онъ мелькомъ лишь на всякий случай перелистовалъ свою «Сорочинскую ярмарку». Ярмарочные сценки, кажется, удались, да и про красную свитку недурно. Только страху настоящаго маловато, чертовщина больше для смѣха. То ли дѣло—его новая быль, подлинная драма, отъ которой самому какъ-то жутко становится! Здѣсь и для тѣхъ волковъ сѣрыхъ и орловъ чернокрылыхъ найдется подходящее мѣсто. Пидорка не хочетъ идти за нелюбаго ляха и посыаетъ къ Петру своего шестилѣтняго братишку Ивася!

«— Скажи ему, что и свадьбу готовятъ, только не будетъ музыки на нашей свадьбѣ: будуть дьяки пѣть, вмѣсто кобзъ и сопилокъ. Не пойду я танцоватъ съ женихомъ моимъ: понесутъ меня! Темная-темная моя будетъ хата: изъ кленового дерева, и, вмѣсто трубы, крестъ будетъ стоять на крыше!

«Какъ-будто окаменѣвъ, не сдвинувшись съ мѣста, слушалъ Петро, когда невинное дитя лепетало ему Пидоркины слова.

«— А я думалъ, несчастный, итти въ Крымъ и Туречину, навоевать золота и съ добромъ прїѣхать къ тебѣ, моя красавица. Да не быть тому! Недобрый глазъ поглядѣлъ на насъ...»

Ну, тутъ и вставить, но такъ, конечно, чтобы вставка вытекала изъ предыдущаго какъ-бы сама собой. Гмъ... Волки, сдирающіе мясо съ костей, въ такой старинной пѣснѣ, по-

жалуй, даже кстати: картина грубая, но въдь и для грубыхъ временъ и нравовъ. А чѣд скажутъ наши нынѣшніе слабонервные эстетики, если ту же картину во всей неприкосновенности преподнесеть имъ современный авторъ? «Тыфу, — скажутъ, — что за мерзость! Этахъ ничего теперь и въ ротъ не возьмешь!» Но чѣмъ замѣнить сѣрыхъ волковъ? «Чернымъ ворономъ»? А какъ же быть тогда съ орломъ «чернокрылымъ»? Вотъ тутъ и подбери картинный эпитетъ! Точно самъ врагъ человѣческій хотѣлъ подшутить надъ тобой, подсунулъ нарочно этихъ трехъ братьевъ... Да нѣтъ, пріятель, не надуешь! Подберемъ.

Гоголь облокотился и глубоко задумался: потомъ совсѣмъ безотчетно выдвинулъ ящикъ стола и изъ глубины его, не глядя, выудилъ леденецъ; но едва лишь препроводилъ его въ ротъ, какъ схватилъ перо и сталъ писать на поляхъ листа. Перечелъ въ связѣ съ остальнымъ—и остался недоволенъ; зачеркнулъ нѣсколько словъ и надписалъ сверху другія. Народная дума дала ему, такъ сказать, только толчокъ къ поэтической вставкѣ, которая въ окончательномъ видѣ сохранила отдаленный лишь намекъ на первоисточникъ:

«Будеть же, моя дорогая рыбка, будетъ и у меня свадьба: только и дьяковъ не будетъ на той свадьбѣ—воронъ черный прокрячеть, вмѣсто попа, надо мною; гладкое поле будетъ моя хата; сизая туча — моя крыша; орель выклинетъ мои карія очи; вымоютъ дожди казацкія косточки, и вихорь высушитъ ихъ...»

Тѣмъ временемъ смерклось; пришлось зажечь свѣчу. Самъ того не замѣчая, Гоголь началъ перечитывать всю быль. Эхъ, не то, не такъ! Рука его машинально полѣзла въ столъ за новымъ леденцомъ.

Рядомъ, въ комнатѣ Прокоповича, давно шумѣлъ самоваръ; самъ Прокоповичъ два раза ужъ заглядывалъ въ дверь, звалъ къ чаю, а молодой писатель нетерпѣливо только перомъ отмакивался:

— Ахъ, отвяжись!

— Да вѣдь чай тебѣ когда уже налить; совсѣмъ простишь.

— И пускай.

— Такъ не подать ли его тебѣ сюда?

— Да, будь другъ.

И другъ на цыпочкахъ принесъ стаканъ и на цыпочкахъ удалился. Гоголь же продолжалъ съ критическою строгостью исправлять свое произведеніе, какъ бы совсѣмъ чужое, по временамъ вставалъ и прохаживался большими шагами взадъ впередъ, обдумывая какую-нибудь сцену, потомъ опять садился и чиркаль, писалъ цѣлые страницы вновь.

Запасъ леденцовъ въ столѣ истощился; рука тщетно шарила за ними по всему ящику. Ахъ, Ты, Господи! Вотъ бѣда такъ бѣда!

Писатели-курильщики увѣряютъ, что въ минуты творчества куреніе очень способствуетъ имъ связать мысли. Великій Шиллеръ вдохновлялся для своихъ безсмертныхъ драмъ запахомъ гнилыхъ яблокъ, которыя имѣлись у него всегда въ письменномъ столѣ. Гоголь не куриль, не питалъ пристрастія и къ гнилымъ яблокамъ; но онъ былъ лакомкой, и леденцы на этотъ разъ сослужили подобную же службу.

Откуда взять имъ суррогатъ? Овва! Ему вспомнилась вдругъ въ шкафчикѣ банка съ вареньемъ, которую онъ пріилась вмѣстѣ съ наливкой и горилкой-старкой для пріятелей-малороссовъ. Поставивъ ее къ себѣ на столъ съ стаканомъ воды, онъ временами бралъ по ложечкѣ варенья и запивалъ тотчасъ глоткомъ воды. И какъ фантазія-то опять окрылилась! Поясница ноетъ, голова отяжелѣла, а все какъ-то не можешь оторваться отъ увлекательной работы. Но вотъ и банка опустѣла, и мысли въ головѣ начинаютъ путаться, глаза слипаться; эхъ-ма! хошь не хошь, а придется-таки лечь! Но и въ ночномъ мракѣ, въ ночной тиши, дѣйствующія лица его самодѣльной были мелькали передъ нимъ вереницей, говорили межъ собой, какъ живыя.

На другое утро онъ чуть не на цѣлый часъ запоздалъ въ

департаментъ и долженъ былъ выслушать тамъ отъ начальника отдѣленія репримандъ, что «этакъ, милостивый государь, служить нельзя; служить—такъ служить!»

А каково ему было потомъ приняться снова за канцелярскіе «шаблоны»? Воображеніе рисуетъ ему самыя захватывающія драматическія положенія среди дорогой ему Украины, а тутъ изволь-ка починовничъ расшаркивается: «всльдствіе отношенія... имѣю честь... покорнѣйше прося о послѣдующемъ почтить увѣдомленіемъ». Ай да «честь», нечего сказать! И о чёмъ «покорнѣйшая» просъба-то? о пустяковинѣ; да еще «почтить»! Господи помилуй! Вотъ ужъ подлинно: «Слова! слова! слова!», какъ говорить Гамлетъ.

Зато, возвратясь со службы, съ какимъ наслажденіемъ обратился онъ снова къ своему «приватному» дѣлу! Послѣ нестерпимой жажды отъ департаментской суши какъ освѣжала свѣтлая струя собственнаго вдохновенія!

Такъ съ этого-то времени и до тѣхъ поръ, пока онъ окончательно не распростился съ служебной карьерой, жизнь его раздвоилась: первая половина дня отдавалась волей-неволей черствой прозѣ дѣйствительной жизни; вторая же половина была въ полномъ его распоряженіи, и сколько тутъ пережилъ онъ горькихъ и сладкихъ минутъ въ самосозданномъ, сокровенномъ мірѣ свободнаго творчества!

Незадолго до Рождества, въ воскресный день, Гоголь, дочитывая про себя краткую молитву, звонилъ у двери, на которой была прибита металлическая дощечка съ надписью: «Редакція журнала «Отечественныя Записки», подъ дощечкой—визитная карточка Павла Петровича Свиньина, а подъ карточкой—письменное объясненіе, что «Редактора можно видѣть по воскреснымъ днямъ, отъ 2-хъ до 4-хъ часовъ». Открывшій двери казачокъ, увидя въ рукахъ Гоголя бумажный свертокъ, не спросилъ даже, кто онъ и кого ему нужно, а просто предложилъ ему пройти въ гостиную.

— А что же, г. редакторъ занять?

— Заняты-сь: у нихъ сотрудникъ.

«Сотрудникъ! Да, этакій титулъ куда почетнѣе званія не только канцелярскаго, но и столоначальника. Столоначальниковъ-то въ Петербургѣ — что тумбъ на улицѣ, именно тумбъ! а сотрудниковъ журнальныхъ — одинъ, другой и обчелся. Попадешь-ли только въ число ихъ?

Гоголь со вздохомъ присѣлъ около двери; но ему не сидѣлось, и онъ подошелъ къ столу, на которомъ было разложено нѣсколько номеровъ «Отечественныхъ Записокъ». Журналъ этотъ случалось ему, конечно, видѣть и прежде, но теперь онъ отнесся къ его виѣшнему виду совсѣмъ иначе — съ точки зрењія будущаго «сотрудника». М-да, съ виду-то куда не казистъ: форматъ мизерный — въ 12-ю долю, бумага сѣрая, шрифтъ избитый... Зато эпиграфъ на обложкѣ самый возвышенный:

«Любить Отечество велять: природа, Богъ;  
А знать его — вотъ честь, достоинство и долгъ!»

Риെма, правда, съ изъянцемъ, но не всякое же лыко въ строку. И соловей на видъ не наряднѣе воробья, а какъ, поди, заливается!

Бррръ! какой холодъ! Даже дрожь пробираеть. Вѣрно не топили сегодня? Нѣть, печка теплая. А вотъ на стѣнѣ и термометръ. Посмотримъ, сколько градусовъ? 14! температура болѣе или менѣе нормальная. Но кровь точно застыла въ жилахъ, руки какъ ледяшки. Непремѣнно надо будетъ обзавестись теплыми перчатками, а то подашь этому редактору мерзлую руку, — онъ, какъ отъ лягушки, свою отдернетъ, и станешь ты ему сразу противенъ. Какъ часто вѣдь этакое первое впечатлѣніе рѣшаеть судьбу человѣка!

Чу! рядомъ въ комнатѣ задвигали стульями, заговорили громче: одинъ голосъ, какъ труба, — очевидно, редакторскій, другой, какъ дудка, — сотрудника. Какую бы позу принять? Не такъ, чтобы слишкомъ независимую, но и не такъ, чтобы чрезчуръ забитую. Главное — вооружиться рыцарскимъ безстрашиемъ: смѣлость города береть!

Дверь стукнула, и на порогѣ показался, спиною къ Го-



Павелъ Петровичъ  
Свињинъ.



голю, жиденький человѣкъ съ лысинкой и въ потертомъ сюртучкѣ. Какъ комнатная собачка, на заднихъ лапкахъ выпрашивавшая себѣ кусочекъ сахару, онъ пытался отъ напирашаго на него средней комплекціи господина въ бухарскомъ шелковомъ халатѣ и съ чубукомъ въ рукѣ продолжалъ жалобнымъ фальцетомъ начатую еще за дверью просьбу:

— Но завтрашній день, клянусь вамъ, статейка будетъ вамъ представлена...

— Тогда и сведемъ счеты,—рѣшительно и басомъ перебилъ сотрудника выпроваживавшій его редакторъ.

— Но даю вамъ голову на отсѣченіе...

— А на что она мнѣ, скажите, когда будетъ отсѣчена? А на плечахъ она пригодится, надѣюсь, еще и вамъ и мнѣ. Нижайший поклонъ супругѣ!

Затѣмъ онъ обернулся къ выступившему впередъ Гоголю и чубукомъ, какъ жезломъ, пригласилъ его за собою въ кабинетъ.

— Прощу.

Опасеніе Гоголя, что мерзлая рука его можетъ дать неблагопріятный оборотъ его судьбѣ, было излишне: Свининъ во-все не подалъ ему руки, а опустившись въ широкое рѣзное кресло передъ большимъ письменнымъ столомъ, кивнулъ ему на простой соломенный стулъ рядомъ.

— Чѣдѣ скажете?

«Рыцарское безстрашіе» готово было опять покинуть Гоголя: не смотря на свой домашній костюмъ—халатъ, Свининъ былъ въ галстухѣ и накрахмаленномъ жабо; хохоль надѣ высокимъ лбомъ, а также узенькая полоски бакенбардъ около ушей и виски были тщательно причесаны; свѣже-выбритое лицо лоснилось какъ атласъ, настоящій атласъ; слышался отъ нихъ даже какъ-будто запахъ розового масла; а этотъ острый, пронизывающій до глубины души взглядъ изъ-подъ нависшихъ бровей,—ну, самъ великий инквизиторъ, или, по меньшей мѣрѣ, квартальный надзиратель. Но и съ квартальнымъ связаться тоже—мое почтенье!

— У меня небольшая вещица,—отвѣчалъ Гоголь возможно

развязнѣй, но самъ не узналъ своего голоса; а когда сталъ теперь торопливо снимать веревочку съ своего свертка, то олденѣльные пальцы никакъ не могли справиться съ этимъ несложнымъ дѣломъ.

— Да вы не трудитесь,—остановилъ его Свининъ, кладя ему на рукавъ руку.—Скажите прежде всего: это у васъ не поэма?

— Нѣть, повѣстушка, быль...

— Въ прозѣ?

— Въ прозѣ.

— Слава Богу! Но не первый ли опытъ?

— Первый въ прозѣ—да-съ.

— Та-акъ. Посмотримъ, чѣмъ порадуете.

Взявъ изъ рукъ Гоголя свертокъ, редакторъ обрѣзалъ вѣревку лежавшими на столѣ полуаршинными ножницами и развернулъ рукопись.

— «Вечеръ наканунѣ Ивана Купала. Быль, разсказанная дѣячкомъ \*\*\* церкви»,—прочелъ онъ заглавіе и окинулъ затѣмъ сидѣвшаго передъ нимъ автора снисходительно-ироническимъ взглядомъ.—А вы сами вѣрно изъ духовныхъ? Можетъ быть, даже дѣячокъ?

— Ахъ, нѣть; я—дворянинъ и состою на коронной службѣ.

— На коронной? Вотъ это похвально, заработокъ все-таки вѣрный, обеспеченный и даетъ возможность заниматься литературой соп амоге. Но какъ это вамъ въ голову забрело вести разсказъ отъ имени какого-то дѣячка?

— А такъ, для большей натуральности. Я—уроженецъ Полтавской губерніи, хорошо знаю тамошніе обычай, старинныя повѣрья малороссовъ, и такъ какъ изъ малороссійскаго быта въ русской литературѣ почти ничего еще не имѣется...

— То вы и обогатили ее теперь этакимъ простонароднымъ малороссійскимъ блюдцемъ? Что жъ, иной разъ и борщъ, голубцы, вареники покушаешь не безъ удовольствія, буде хорошо приготовлены. Конечно, это не майонезъ, не ананасное желе! Вотъ, кабы вы побывали въ чужихъ краяхъ...

— Да я быль уже въ Любекѣ, въ Гамбургѣ...

— Т.-е. въ прихожей Европы? Это что! Я вотъ цѣлые годы провелъ въ Испаніи, въ Америкѣ, бесѣдоваль съ королями, съ президентами республикъ... Какой разгуль молодой фантазіи! И что же? Я сумѣлъ благоразумно сдержать себя; писалъ, но не поэмы, не повѣстушки, а «Взглядъ на республику Соединенныхъ Американскихъ Областей», «Опытъ живописнаго путешествія по Сѣверной Америкѣ», «Воспоминанія на флотѣ»...

«Потому что на поэму, на повѣстушку у тебя пороху нехватило», подумалъ Гоголь, но на словахъ выразилъ одно почитительное изумленіе:

— Представьте! это просто непостижимо! Какъ это вы, право, воздержались? Но истинное призваніе свое вы все-таки нашли только по возвращенію въ отчество, принявши за изданіе «Отечественныхъ Записокъ».

— Въ извѣстномъ отношеніи—да,—согласился издатель-редакторъ, съ задумчивою важностью покачивая головой.— Но главная цѣль моей жизни иная—капитальный трудъ...

— Смѣю спросить: какой?

— Полная исторія Великаго Петра.

— Скажите пожалуйста! Этимъ вы заслужите глубочайшую благодарность потомства!

— Надѣюсь.

Раздавшійся въ передней робкій звонокъ прервалъ дальнѣйшій ихъ разговоръ.

— Очень радъ быть познакомиться,—сказалъ Свининъ, приподымаясь съ кресла и милостиво подавая Гоголю два пальца.—Оставьте рукопись и навѣдайтесь этакъ черезъ мѣсяцъ.

Спросить, нельзя ли зайти пораньше,—у Гоголя не достало духа: на письменномъ столѣ редактора громоздилась цѣлая кипа рукописей, ожидавшихъ еще, повидимому, просмотра. Въ дверяхъ передней онъ столкнулся носомъ къ носу съ какимъ-то другимъ молодымъ человѣкомъ. Оба стали извиняться.

— Какъ! это вы?—привѣтствовалъ посѣтителя недовольный басъ редактора.—Опять съ вашей поэмой?

— Да-сь, но я ее совершенно заново передѣлалъ... — залепеталъ молодой человѣкъ.

— Избавьте! избавьте! Сказано вѣдь вамъ разъ навсегда, что поэмъ я не принимаю.

— Но я прошу только беспристрастія, справедливости...

— Несправедливъ ты съ авторомъ — онъ въ претензіи; справедливъ — тоже въ претензіи. Нѣть ужъ, прошу васъ, избавьте!

«Хорошо, однако, что у меня не поэма,— говорилъ себѣ Гоголь, спускаясь съ лѣстницы.— Но не угодно ли оставаться въ неизвѣстности цѣлый мѣсяцъ, даже пять недѣль: принимаетъ онъ вѣдь только по воскресеньямъ; а въ декабрѣ 31 день: стало-быть, явиться можно не ранѣе пятаго воскресенья; а сунешься раньше, такъ замахаешь и на тебя руками:— Избавьте, избавьте!»

На пятое воскресенье, еще за полчаса до пріемнаго часа, Гоголь поднимался по той-же лѣстницѣ, но съ каждою ступенью шагъ его замедлялся; сердце все болѣе сжималось, точно онъ всходилъ на эшафотъ. И въ самомъ дѣлѣ вѣдь, какой интересъ для образованнаго читателя въ досужихъ розсказняхъ какого-то сельскаго дѣячка? Неси, значитъ, голову безропотно на плаху и принимай ударъ...

— Пріемъ еще не начался,— объявилъ казачокъ, удивленный такому раннему посѣтителю.

— Ничего, я обожду.

Сердце въ подсудимомъ совсѣмъ остановилось. Будь что будетъ!

Вдругъ на порогѣ своего святилища появился самъ судья и палачъ. Но палачъ ли? Грозныя черты его свѣтлы, на губахъ играетъ благосклонная улыбка, и навстрѣчу гостю протягиваются уже не два перста, а вся длань.

— Аккуратны, какъ нѣмецъ.

Сердце въ груди у Гоголя разомъ встрепенулось и єкнуло.

— Побывалъ у нѣмцевъ — оттого-съ. Вы изволили прочесть мою рукопись?

- 
- Прочелъ.
  - И?
  - И сдаљ въ наборъ.
  - Въ наборъ?!

Бывають въ жизни каждого изъ насъ минуты безпредѣльной, безумной радости, искупающія цѣлые годы горькихъ испытаний, разочарованій. Въ первое мгновеніе Гоголь словно даже не понялъ, не смѣлъ понять, что значитъ «въ наборъ»; въ слѣдующее—онъ готовъ былъ кинуться на шею къ благодѣтелю-редактору. Но тотъ окатилъ его уже ведромъ холодной воды, перейдя въ небрежно-дѣловoy тонъ:

- Корректуру я вамъ не посыпаю, потому что, сказать не въ обиду,—правописаніе у васъ довольно... своеобразное.
- За правописаніе свое я не стою... — смущенно проговоротаљ Гоголь.— Но какъ вы нашли слогъ мой, идею рассказа?

— Въ слогѣ вашемъ есть также кое-какіе недочеты, а что до идеи, то какая, помилуйте, идея въ этакой народной небылицѣ? То ли дѣло новѣйшій романъ Рафаила Зотова—«Таинственный монахъ»! Читали, конечно?

- Читать-то читалъ; но, признаться...
- Какъ! Онъ вамъ не нравится?
- Не очень; во всякомъ случаѣ гораздо менѣе новаго романа господина Загоскина.

— «Юрія Милославскаго»? Гмъ... Вообще-то имъ многие зачитываются; Жуковскій за нимъ цѣлую ночь глазъ не сомкнулъ; Пушкинъ поздравилъ автора восторженнымъ письмомъ. Но «Таинственному монаху» я лично все-таки отдаю предпочтеніе: онъ будетъ читаться еще тогда, когда о Загоскинѣ, а тѣмъ паче о васъ не будетъ уже и помину. Ну, да не всякому же быть большимъ талантомъ; спасибо, коли Господь наградилъ и маленьkimъ дарованыицемъ. Пишите, пишите, молодой человѣкъ; мы васъ не оставимъ! Главное же,—не горнитесь за гонораромъ. Пишите не ради денегъ, а ради славы. Для поощренія вы будете получать бесплатно журналъ. Вотъ

вамъ сейчасъ январьская книжка, вотъ и на дальнѣйшія билетикъ къ Слѣнину: можете сами заходить въ магазинъ.

«Не гонитесь за гонораромъ! Завернуль заковыку! Ну, какъ тутъ самому начать о гонорарѣ? А вдругъ не сойдемся въ цѣнѣ, и вынетъ онъ рукопись изъ набора: «получите обратно». Когда напечатаетъ, ну, тогда будетъ еще время сторговаться.

— Покорнѣйше благодарю васъ,—сказалъ Гоголь, принимая книжку и абонементный билетъ.—Весь разсказъ, значитъ, будетъ напечатанъ въ февральской книжкѣ?

— Нѣть, я его раздѣлилъ на два приема: хорошаго по маленьку!

— А могу я разсчитывать также на нѣсколько оттисковъ?

— Извольте, такъ и быть. Даю я ихъ однимъ постояннымъ сотрудникамъ; но какъ начинающему-то писателю не похвалиться передъ друзьями своей первой ласточкой?

Свѣнинъ покровительственно потрепалъ новаго сотрудника по плечу.

— А фамилію вашу выставить полностью или одни только инициалы?

— Не знаю, право... Можетъ быть, лучше безъ всякой подписи?

— Пожалуй, еще лучше. Одна ласточка не дѣлаетъ весны. Неравно обрѣжутъ крылья...

— Чѣдъ съ тобою сталося, Николай Васильевичъ?—спросилъ Прокоповичъ полчала спустя входящаго къ нему въ комнату帮忙теля. — Сияешь какъ мѣсяцъ, выступаешь какъ балетмейстеръ...

— Да, я готовъ теперь такія па отвертывать,—былъ отвѣтъ, — какихъ ни одинъ балетмейстеръ и во снѣ не отвертывалъ!

— Не пожаловали ли тебѣ Святополка?

— Подымай выше!

— Еще выше? Ужъ не Льва ли и Солнца?

Вместо дальнѣйшаго отвѣта, Гоголь положилъ на столъ

передъ пріятелемъ бережно, какъ святыню, полученную сей-часъ отъ редактора новенькую книжку «Отечественныхъ Записокъ». Прокоповичъ съ недоумѣніемъ взглянуль на книжку, потомъ на Гоголя.

— Ты подписался?

— Нѣтъ, получилъ бесплатно и впредь буду получать.

— За какія заслуги?

— А ты все не догадываешься?

Прокоповичъ вскочилъ со стула.

— Неужели какъ сотрудникъ журнала?

— Похоже на то.

— Ну, поздравляю, голубчикъ, поздравляю!

И Гоголь очутился въ объятіяхъ восторженного друга.

— Нѣтъ, каковъ гусь, а? — говорилъ тотъ. — Хоть бы словечкомъ заикнулся! Не предрекалъ ли я тебѣ еще въ Нѣжинѣ, что изъ тебя выйдетъ поэтъ?

— Въ данномъ-то случаѣ я заявилъ себя не поэтомъ, а прозаикомъ-беллетристомъ.

— Ого! Это еще солиднѣй, почтеннѣй. Любопытно про-честь...

И, схвативъ журналъ, Прокоповичъ сталъ быстро его пере-листывать.

— И не ищи, — остановилъ его Гоголь: — разскажь мой ста-нетъ печататься съ февральской книжки.

— А много ли ты взялъ за него?

— О гонорарѣ у насть пока еще не было рѣчи.

— Ну, такъ! Смотри, не продешеви! Но разскажи-ка теперь, разскажи, дружище, какъ было дѣло...





## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

„Бисаврюкъ“.

**Н**ачиная съ 1-го февраля, Гоголь чуть не каждый день навѣдывался изъ департамента въ магазинъ Слѣнина: не вышла ли февральская книжка «Отечественныхъ Записокъ». Въ ожиданіи же онъ написалъ письмо къ матери, гдѣ, жалуясь на то, что «жалованья получаетъ сущую бездѣлицу» (съ января ему назначили по 30 руб. въ мѣсяцъ) и что «весь доходъ его состоить въ томъ, что иногда напишетъ или переведетъ какую-нибудь статейку для гг. журналистовъ»<sup>1)</sup>), умолялъ доставлять ему попрежнему «свѣдѣнія о Малороссіи или что-либо подобное».

«Это составляетъ мой хлѣбъ, — писалъ онъ. — Если гдѣ-либо услышите какой забавный анекдотъ между мужиками въ нашемъ селѣ, или въ другомъ какомъ, или между помѣщиками, сдѣлайте милость, опишите для меня, также нравы, обычаи, повѣрья. Да разспросите про старину хоть у Анны Матвѣевны, или Агафьи Матвѣевны, какія платья были въ ихъ время у

<sup>1)</sup> Въ приходо-расходной книжкѣ Гоголя за январь 1830 г. показано въ приходѣ: «Выручилъ за статью, переведенную съ французского «О торговлѣ русскихъ въ концѣ XVI и началѣ XVII вв.» для «Сѣв. Арх.»—20 рублей. Такой статьи, однако, не оказывается въ журналь «Сынъ Отечества и Сѣверный Архивъ» ни въ 1829, ни въ 1830 г. По справедливому замѣчанію одного изъ биографовъ Гоголя (В. И. Шенрок), переводъ, по всему вѣроятію, былъ не настолько хороши, чтобы его можно было напечатать, хотя за него и было уже уплачено.

сотниковъ, ихъ женъ, у тысячниковъ, у нихъ самихъ, какія матеріи были извѣстны въ ихъ время, и все съ подробнѣйшею подробностью; какіе анекдоты и исторіи случались въ ихъ время смѣшныя, забавныя, печальныя, ужасныя. Не пренебрѣгайте ничѣмъ: все имѣеть для меня цѣну... Нѣтъ ли въ нашихъ мѣстахъ какихъ записокъ, веденныхыхъ предками какой-нибудь старинной фамиліи, рукописей стародавнихъ про времена гетманщины и прочаго подобнаго?»

Наконецъ, уже на 7-й день слѣнинскій приказчикъ подалъ ему желаемый номеръ:

— Сейчасъ только изъ переплетной.

И точно, книжка была совсѣмъ еще сырая, благоухала не розами и ландышами, — эка невидалъ! — а свѣжими типографскими чернилами.

Но, Творецъ Небесный, что это такое? Название переименовано и вдвое длиннѣе:

«Бисаврюкъ, или Вечеръ наканунѣ Ивана Купала. Малороссійская повѣсть (изъ народнаго преданія), разсказанная дьячкомъ Покровской церкви».

И почему «Бисаврюкъ», а не «Басаврюкъ», какъ въ оригиналѣ? Вѣрно, опечатка. Да нѣть же, и въ текстѣ вездѣ «Бисаврюкъ». Прошу покорно! не спросясь автора, мѣняетъ даже имена. Нѣть ли и другихъ еще поправокъ?

Въ карманѣ у Гоголя оказался перочинный ножикъ; съ помощью его страница за страницей были тотчасъ разрѣзаны.

Такъ вѣдь и есть! Опять передѣлка, совсѣмъ искажающая смыслъ! Вотъ вставка, а вотъ пропускъ... Экая подлая манера! Начинающій авторъ, такъ можно у него, значитъ, вырѣзывать цѣлые куски мяса,—не закричить: «караулъ!» Нѣть, сударь мой, извините! закричимъ.

Съ уликой своей подъ мышкой, оскорбленный авторъ выбѣжалъ изъ магазина. Остановился онъ не ранѣе, какъ у подъѣзда своего обидчика, и то лишь потому, что наткнулся тутъ на его казачка, выскочившаго безъ шапки на улицу.

— Что баринъ твой у себя?

— У себя-то у себя, но нынче не воскресенье...

— Все равно. Я долженъ видѣть его сю же минуту.

Дверь въ переднюю открыта?

— Открыта-сь, но безъ доклада никого не приказано впустить. Обождите меня на лѣстницѣ.

— А ты куда?

— Въ ренковый погребъ за портеромъ для Николая Ивановича.

— Для какого Николая Ивановича?

— Для господина Греча.

— Соиздателя Булгарина по «Сѣверной Пчелѣ»?

— А это ужъ намъ неизвѣстно. Такъ, Бога ради, господинъ, обождите на площадкѣ. Не то будетъ мнѣ встрепка!

— Значить, судьба: противъ судьбы, братъ, не пойдешь!

Дверь въ квартиру редактора, дѣйствительно, оказалась только притворенной. Тоже судьба, видно; доберешься до него безъ звонка, такъ поневолѣ приметъ. Пускай наговорится сперва съ гостемъ, а тамъ съ глазу на глазъ...

Оставивъ плащъ въ передней, Гоголь на цыпочкахъ пробрался въ гостиную. Такъ какъ день былъ не приемный, то хозяинъ не нашелъ нужнымъ замкнуться наглухо въ своемъ кабинетѣ, и дверь туда была полуоткрыта, такъ что къ Гоголю въ гостиную ясно доносилось оттуда каждое слово.

Подслушивать, собственно говоря, не совсѣмъ благовидно; но какъ же быть-то? Государственныхъ тайнъ у нихъ вѣрно неѣть; а чуть что, такъ можно заткнуть уши.

— Дельвигъ въ первомъ же номерѣ своей «Литературной Газеты» заявилъ вѣдь, что въ ней не будетъ места критической перебранкѣ,—басиль Свининъ.

— Человѣкъ онъ, точно, безобидный, ни рыба, ни мясо,—проскрипѣлъ въ отвѣтъ незнакомый Гоголю голосъ,—очевидно, Греча. — А всежъ-таки, коли дѣло коснется его лучшаго лицейскаго друга, то какъ ему не вступиться? Но нашествіе грозитъ намъ еще съ другой стороны: Вяземскій, такой же пріятель Пушкина, но вдвое зубастѣе, замыслилъ, слышно, то-

же новый журналъ — и пойдетъ перепалка! Вѣдь Ѳаддей-то Венедиктовичъ у меня, вы знаете, какой бѣдовый: швырнуть ему въ лицо комъ грязи, а онъ назадъ десять.

— Да, онъ высоко держитъ знамя пасквилистовъ. Но вы-то, Николай Ивановичъ, аккуратный, благоразумный нѣмецъ, отчего за фалды его не попридержите? Сами вѣдь вы съ Пушкинымъ никогда особенно не враждовали?

— О, нѣтъ. Лично я къ Александру Сергеевичу рѣшиительно ничего не имѣю, но изъ-за этой вздорной журнальной перебранки отношенія наши стали нѣсколько натянуты. Тутъ какъ-то случай свелъ насть въ магазинѣ Белизара<sup>1)</sup>. Онъ издали поклонился мнѣ довольно принужденно. Я же подошелъ къ нему съ улыбкой: «Ну, на что это похоже, Александръ Сергеевичъ, что мы дуемся другъ на друга, точно Борька Єedorовъ съ Орестомъ Сомовымъ?» Онъ разсмѣялся (вы знаете вѣдь его славный, задушевный смѣхъ?): «Очень хорошо!» (Это его любимая поговорка.) Пожали другъ другу руку и пріятельски разошлись. Бѣда вотъ только, что онъ терпѣть не можетъ моего ляха и при первомъ же случаѣ продернеть его эпиграммой. А тотъ, вы знаете, съ какимъ гоноромъ: сейчасъ въ ражъ, въ бѣшенство! Мнѣ же потомъ для компаний расхлебывать съ нимъ кашу!

— И то вѣдь вы еще на дняхъ съ нимъ да съ Воейковымъ, какъ слышно, отсиживали на гауптвахтѣ?

— Отсиживали, да только врозь: я на дворцовой гауптвахтѣ, Булгаринъ въ новомъ адмиралтействѣ, а Воейковъ — въ старомъ. Разсадили молодцовъ, какъ подгулявшихъ мастеровыхъ, чтобы неравно не вѣшились еще въ прическу другъ другу. Хе-хе-хе! И смѣхъ, и грѣхъ!

— Да неужто все только, какъ разсказываютъ въ городѣ, изъ-за «Юрия Милославскаго»?

— Все изъ-за него. Романъ самъ по себѣ хоть куда...

<sup>1)</sup> Французскій книжный магазинъ у Полицейского моста, перешедшій затѣмъ къ Дюфуру, отъ Дюфура къ Мелье, а отъ послѣдняго — къ нынѣшнему владѣльцу, Цинзерлингу.

— Такъ зачѣмъ же вы нападали на него?

— Я-то нападалъ? И не думай; все это—дѣло рукъ моего alter ego (второе я).

— Булгарина? Но кто, скажите, далъ ему оружіе въ руки? Кто указалъ ему въ романѣ на нѣкоторые промахи исторические и грамматические? Не первый ли нашъ грамотѣй Николай Ивановичъ Гречъ?

— Да какъ же, согласитесь, не выручить коллеги? Печатаетъ же онъ самъ теперь романъ изъ той же эпохи: «Дмитрій Самозванецъ»; а тутъ вдругъ предвосхитили у него лавры не только въ публикѣ, но и во дворцѣ: государь жалуетъ Загоскину брильянтовый перстень! Стало быть, ему, Фаддею Венедиктовичу, не видать уже перстня какъ своихъ ушей, и читать-то его «Самозванца» никто, пожалуй, уже не станетъ.

— М-да, полное основаніе разнѣсть соперника по косточкамъ. Вашъ коллега, я вижу, стоитъ на высотѣ задачи самопрославленія. А Воейковъ, какъ старинный врагъ его, ввязался за Загоскина?

— Ввязался; но Булгаринъ не остался въ долгу: вылилъ на него самого цѣлый ушатъ отборной браны. Тутъ шефу жандармовъ было повелѣно внушить обѣимъ воюющимъ сторонамъ, чтобы сложили оружіе. Бенкendorфъ же, на бѣду, поручилъ эту миссію Максиму Яковлевичу...

— Фонъ-Фоку?

— Да; а фонъ-Фокъ — человѣкъ, какъ вамъ извѣстно, крайне деликатный, передалъ имъ обѣ этомъ въ самой мягкой формѣ, прося не называть хоть своихъ противниковъ по имени. «Слушаю-сь», сказалъ Фаддей Венедиктовичъ, да накаталь такую отповѣдь Воейкову, что въ тотъ-же день мы всѣ трое очутились на трехъ разныхъ гауптвахтахъ.

— Вамъ, Николай Ивановичъ, это было, въполномъ смыслѣ слова, въ чужомъ пиру похмелье.

— Нѣть, не могу жаловаться; время я провелъ весьма даже приятно. Карапуль на дворцовой гауптвахтѣ былъ отъ Преображенского полка, который только-что вернулся изъ ту-

рецкаго похода, и дежурнымъ офицеромъ былъ мой добрый знакомецъ по англійскому клубу — князь Несвицкій. Онъ сидѣлъ какъ разъ за столомъ съ другими офицерами. «Еще приборъ!» крикнулъ онъ, и меня накормили придворной кухней такъ, какъ мнѣ еще не случалось. Вечеромъ же братъ мой привезъ мнѣ изъ дома подушку и хорошую книгу. Но едва только я растянулся на диванѣ, какъ явился флигель-адъютантъ отъ Его Величества съ разрѣшеніемъѣхать домой. Я устроился-было такъ удобно, что мнѣ просто жаль уже было разстаться съ моимъ диваномъ и книгой!

— Но домашніе-то ваши, я думаю, за васъ немножко-таки трепетали?

— Немножко—да, но тотчасъ успокоились, когда я вошелъ къ нимъ, весело припѣвая:

„Wer niemals in der Wache war,  
Kennt dies Vergnügen nicht!“

(«Кто не бывалъ никогда въ караулѣ, тотъ не знаетъ этого удовольствія!») <sup>1)</sup>.

Туть вниманіе Гоголя было нѣсколько отвлечено отъ занимательнаго діалога шумомъ въ передней: сперва застучали тамъ сапожища казачка, потомъ хлопнула пробка. Проходя съ бутылкой портера и двумя стаканами на подносѣ черезъ гостиную, казачокъ не замѣтилъ Гоголя, усѣвшагося въ тѣни полуоткрытой двери, да и забылъ уже, должно быть, о его существованіи, потому что не доложилъ обѣ немъ барину и, выходя обратно изъ кабинета, не притворилъ двери.

— Ну, а вѣдь другихъ-то арестантовъ не такъ угостили? — говорилъ между тѣмъ редакторъ-хозяинъ редактору-гостю.

— Какое! Моего Фаддея оставили, какъ школьніка, даже вовсе безъ обѣда. Онъ вѣдь большой гастрономъ и, какъ нарочно, былъ позванъ въ этотъ день на обѣдъ къ Прокофьеву...

— Директору россійско-американской компаніи?

— Да. Но лишь только пошли къ закускѣ, какъ ему по-

<sup>1)</sup> Ария изъ оперы: „Die Schwestern von Prag“.

дають конвертъ отъ Бенкendorфа: пожалуйте въ адмиралтейство! Елена же Ивановна, какъ ибжная супруга, узнавъ объ арестѣ своего благовѣрнаго, покатила утѣшать его, да по ошибкѣ попала не въ новое, а въ старое адмиралтейство. «Здѣсь,—спрашивается,—сидѣть сочинитель, чтѣ книжки пишеть?»—«Здѣсь, сударыня: извольте войти». Входить, въ потемкахъ не разглядѣла, бросается на шею арестанта. «Какими судьбами, Елена Ивановна?» удивляется тотъ.—«Тьфу! тьфу! это—каналъ Воейковъ, а мнѣ надо моего мужа, Булгарина».

И рассказчикъ и слушатель залились дружнымъ смѣхомъ; затѣмъ чокнулись стаканами.

— Да здравствуетъ Елена Ивановна!—провозгласилъ Гречъ. —Однако, правду сказать, каковъ ни будь Воейковъ, а мнѣ его все-же маленько жаль. Сама судьба вѣдь его жестоко покарала. Видѣли вы его съ тѣхъ поръ, какъ онъ упалъ съ дрожекъ и расшибся?

— Нѣтъ, не случилось.

— Совсѣмъ бѣднагу скрючило. Явился онъ тогда къ Башуцкому, дворцовому коменданту, вслѣдъ за мной, когда тотъ назначилъ мнѣ арестъ на дворцовой гауптвахтѣ. Гляжу: Боже милостивый! Сгорбился, храмлетъ, какъ инвалидъ, самъ худой, желтый изъ себя, какъ высохшій лимонъ, а поперекъ носа и щеки широкій черный пластырь. «Ваше высокопревосходительство!—говорю я Башуцкому:—я, благодаря Бога, здоровъ и могу просидѣть гдѣ угодно. Г-нъ же Воейковъ, какъ видите, слабъ и боленъ; холодъ и сквозной вѣтеръ повредятъ ему. Лучше предоставьте ему мѣсто на здѣшней гауптвахтѣ, гдѣ тепло и сухо».

— А Башуцкій что же?

— «Не беспокойтесь,—говорить:—я и г-на Воейкова посажу въ теплое мѣсто». Воейковъ же, кажется, былъ искренне тронутъ моимъ участемъ, потому что обнялъ меня: «Ah, mon ami, je vous reconnais à cette g  n  rosit  ! (О, мой другъ, я узнаю васъ по этому великодушію!) Не то, что вашъ другъ и пріятель — Булгаринъ». Я сталъ-было оправдывать



Николай Ивановичъ  
ГРЕЧЪ.



Булгарина. «Нѣтъ, нѣтъ, пожалуйста, не защищайте его! — перебилъ меня Воейковъ. — Браны онъ меня какъ литератора, — браны на вороту не виснетъ. Но зачѣмъ онъ издѣвается надъ моимъ убожествомъ?» И, говоря такъ, онъ ткнулъ пальцемъ на свой приплюснутый носъ за черною печатью. — «Да когда же, — говорю, — онъ издѣвался?» — «А намедни еще на Невскомъ. Увидѣвъ меня съ этимъ украшеніемъ, онъ за десять шаговъ еще крикнулъ мнѣ при публикѣ:

«И трауромъ покрылся Капитолій!»<sup>1)</sup>

Какъ ни крѣшился Гоголь, но когда тутъ изъ кабинета донесся опять громкій смѣхъ обоихъ собесѣдниковъ, онъ также расхохотался.

— Это ты, Капитошка? — строго забасилъ хозяинъ и выглянула сама въ гостиную. — Вы какъ сюда попали? — удивился онъ, увидѣвъ вскочившаго съ мѣста Гоголя.

Гоголь, запинаясь, началъ оправдываться. Но въ это время за спиною Свиньина показался его гость, высокій брюнетъ, горбоносый и толстогубый, съ густыми бровями и въ очкахъ, придававшихъ ему выразительнымъ чертамъ видъ ученаго.

— А я не хочу мѣшать, Павелъ Петровичъ, и прощусь уже съ вами, — заговорилъ онъ. — Но какія бы бури впредь ни волновали нашъ литературный омутъ, между нами попрежнему, надѣюсь, сохранился дружественный нейтралитетъ?

— Само собою, — отвѣчалъ Свиньинъ, любезно провожая гостя въ переднюю. — А преехидно, однакожъ, шутить вашъ коллега: «И трауромъ покрылся Капитолій!»

Оба опять расхохотались и крѣпко потрясли другъ другу руку. Когда тутъ дверь за Гречемъ наконецъ закрылась, хозяинъ съ серіознымъ уже видомъ обернулся снова къ молодому посѣтителю:

— Что, вамъ не выдали развѣ книжки у Сленина?

— Выдали, но я хотѣлъ объясниться по поводу тѣхъ по-правокъ, которыми подвергся мой разсказъ...

<sup>1)</sup> Заключительный стихъ элегіи Батюшкова: «Умирающій Тассъ».

— Э, милый мой! такія ли еще поправки вынуждены мы дѣлать! Ваша рукопись, можно сказать, вышла довольно суха изъ воды.

— Однако, авторамъ надо же знать, что у нихъ передѣлывается; они, такъ сказать, отцы своихъ умственныхъ дѣтищъ...

— То-то и горе, что господа отцы этихъ умственныхъ, а чаще безумныхъ дѣтищъ осѣплены ихъ небывалыми совершенствами и всякую глупость дѣтища считаютъ перломъ остроумія. А вы и фамилію-то свою даже скрыли; стало быть, добровольно откazались отъ своихъ родительскихъ правъ.

— Но одного-то права, Павель Петровичъ, вы все-таки не можете отнять у отца: окрестить своего ребенка такъ или иначе.

— А чѣмъ же не хорошо новое заглавіе вашей повѣсти?

— Во-первыхъ, это не повѣсть, а быль...

— Да что такое быль? Тѣ, разумѣется, что было, а рассказанная вами чертовщина развѣ была когда-нибудь на самомъ дѣлѣ?

— По преданію народному—была.

— А у меня что же сказано въ скобкахъ? «Изъ народнаго преданія». Вѣрнѣе даже было бы сказать: «изъ бабыихъ сказокъ», ибо что такое въ сущности этакія народныя преданія, какъ не вздорныя небылицы, передаваемыя деревенскими бабами дѣтямъ и внучатамъ? Ну-съ, а еще что?

— Потомъ три звѣздочки, которыя были поставлены у меня замѣсто названія церкви разсказчика-дьячка, вы прямо замѣнили совершенно случайнымъ названіемъ: «Покровской церкви».

— Случайнымъ, но для читателей все-таки какъ-будто достовѣрнымъ. На офицерскихъ эполетахъ звѣздочки обозначаютъ хоть чинъ; а въ книгѣ онѣ никакого резона не имѣютъ.

— Наконецъ, вы зачѣмъ-то прибавили къ моему заглавію еще второе—«Бисаврюкъ»...

— А это, любезнѣйший, въ современномъ вкусѣ. Нынче, что ни романъ, то двойное заглавіе; хоть бы у Загоскина: «Юрій Милославскій, или Русскіе въ 1612 году». Пу-

блика къ этому уже привыкла, требуетъ этого, а мы, метръд'отели литературы, должны прилаживаться къ ея требованиямъ. Кто у васъ главное дѣйствующее лицо? Бисаврюкъ. Такъ ему и честь стоять во главѣ разсказа.

— Да онъ у меня вовсе и не Бисаврюкъ, а Басаврюкъ.

— Ну, это у васъ просто обмолвка.

— Вовсе не обмолвка.

— Да бѣсъ, скажите, какъ по-малороссійски?

— Бисъ.

— Такъ какъ же и было окрестить вашего бѣсовскаго человѣка, какъ не Бисаврюкомъ?

«Сами вы Бисаврюкъ!» готовъ былъ Гоголь бросить въ лицо деспоту-редактору.

— Въ отдѣльномъ изданіи я во всякомъ случаѣ возстановлю весь мой первоначальный текстъ! — заявилъ онъ вслухъ.

— Это ваше дѣло, — сухо отозвался Свинынъ. — Засимъ будьте здоровы.

— Виновать, еще одинъ пунктъ. Я просилъ бы хоть вторую-то половину моего разсказа напечатать безъ всякихъ измѣненій.

— Не обѣщаю: исправленія уже сдѣланы.

— Но покажите мнѣ ихъ, по крайней мѣрѣ, пришлите мнѣ корректуру.

— И въ этомъ, къ сожалѣнію, долженъ вамъ отказать: я по принципу не показываю авторамъ моихъ поправокъ до печати.

— Но это... это... не знаю, какъ и назвать...

— Самоуправство? А кто, скажите, отвѣчаетъ передъ читателями за содержаніе журнала: вы, авторы, или я? Съ того момента, что авторъ уступилъ мнѣ право на рукопись, она составляетъ мою полную собственность.

— На правахъ покупателя? А смѣю ли я въ такомъ случаѣ спросить васъ, Павелъ Петровичъ, какой вы положите мнѣ гонораръ?

Павелъ Петровичъ огляделъ вопрошающаго большими глазами.

— Вамъ гонораръ? Да развѣ между нами было говорено о гонорарѣ хоть полслова?

— Пока не было; но вы платите же другимъ вашимъ сотрудникамъ?

— По предварительному уговору—да. А такъ какъ между нами такого уговора не было...

— Но я думалъ...

— «Я думалъ», говорятъ обыкновенно люди, которые въ свое время ничего не думали. Да за первые опыты, надо вамъ знать, вообще и не платить въ журналахъ. Молодые авторы, напротивъ, должны еще за особую честь почитать появиться въ печати. Мильтонъ—не вамъ, кажется, чета? и тотъ получилъ за свой «Потерянный рай» всего-на-все 10 фунтовъ стерлинговъ.

Гоголь чувствовалъ, какъ въ груди у него закипаетъ, какъ лицо его поблѣднѣло и задергало.

— Съ Мильтономъ я и не думаю равняться, — пробормоталъ онъ дрожащимъ голосомъ.—Но не даромъ же я трудился?.. Я хоть и состою на службѣ...

— Но получаете гроши и нуждаетесь въ средствахъ пропитанія? — досказалъ Свининъ, которому, видно, стало жаль голодающаго молодого человѣка.—Въ такомъ случаѣ, ради первого знакомства, я готовъ вамъ помочь. Но имѣйте въ виду, что это отнюдь не гонораръ, а такъ—пособіе нуждающемуся собрату.

И съ этими словами онъ повернулся къ кабинету, чтобы пойти за деньгами. Гоголя взорвало.

— Благодарю васъ! милостыни я не прошу и не возьму...

— О, молодость, молодость! самолюбіе заговорило. Впрочемъ, въ авторѣ самолюбіе не послѣднее дѣло; будете хоть стараться отдавать свои вещи по мѣрѣ силъ и умѣнья, чтобы никто не придрался. А что до оттисковъ, то они будутъ доставлены вамъ прямо изъ типографіи на домъ. Капитонъ! подай-ка господину шинель. Эге! да она у васъ подбита, я вижу, вѣтромъ? Какой вы еще вѣтреный молодой человѣкъ! Вѣдь на дворѣ градусовъ двадцать, если не больше.

Гоголь на это ничего не отвѣтилъ. Зимней шинели у него, дѣйствительно, не было, хотя онъ еще въ октябрѣ успокоивъ мать, что «по милости Андрея Андреевича (Трощинскаго) имѣть теплое на зиму плаТЬе». Уже по минованиіи морозовъ, въ апрѣль мѣсяцѣ, онъ какъ-то невольно ей проговорился, что «не въ состояніи былъ сдѣлать новаго не только фрака, но даже теплаго плаща» и «отхваталъ всю зиму въ лѣтней шинели».

Застудилъ ли онъ теперь на морозѣ зубы, или нервы у него черезчуръ разгулялись, но домой отъ Свиньина онъ возвратился съ жесточайшею зубною болью. Такъ избѣгнулъ онъ, по крайней мѣрѣ, разспросовъ Прокоповича, которому молча сунулъ только новую книжку съ своимъ «Бисаврюкомъ».

— Моментально прочту! — воскликнулъ Прокоповичъ. — Ахъ, Богъ Ты мой! какъ быть-то? Вѣдь мнѣ надо сейчасъ въ театрѣ за билетами на «Горе отъ ума»... Даютъ хоть одно только или два дѣйствія, но все-таки...

— И ступай, — пробурчалъ Гоголь. — Но для меня не бери.

— Да не самъ ли ты былъ въ восторгѣ отъ пьесы въ рукописи?

— Когда меня не мучилъ этотъ проклятый зубъ!

— Такъ дай же его себѣ наконецъ вырвать! Во всякомъ случаѣ сперва проглочу тебя, а тамъ, будетъ еще время, — закушу и Грибоѣдовымъ.

Духомъ «проглотивъ» разсказать пріятеля, Прокоповичъ разсыпался въ похвалахъ.

— И замѣть вѣдь, — заключилъ онъ: — твой «Бисаврюкъ» — единственная беллетристическая вещь въ прозѣ, такъ-скажать, краса и гордость всей книжки! <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Для интересующихся содержаніемъ этой книжки «Отеч. Записокъ», въ которой было помѣщено начало первого рассказа Гоголя, выписываемъ здѣсь все оглавление:

1. Практическій механикъ въ Грязовѣ, В. М. Лебедева. — 2. Договорная окончательная грамота, составленная и подписанная въ 1634 году полномочными послами русскими и польскими обѣ отреченіи Владислава, короля польскаго, отъ престола московскаго и отъ всѣхъ царскихъ ти-

Гоголь ничего не отвѣчалъ; въ душѣ же у него въ это время созрѣвало уже рѣшеніе—не видаться болѣе съ Свињинымъ.

Увидѣться съ нимъ ему, впрочемъ, и безъ того врядъ ли бы пришлось: въ томъ же 1830 году Свињинъ удалился въ свое имѣніе въ Костромской губерніи, чтобы всецѣло отдаваться своему вновь намѣченному труду — исторіи Петра Великаго. Возвратился онъ въ Петербургъ только спустя 8 лѣтъ, чтобы приняться снова за изданіе «Отечественныхъ Записокъ», но въ слѣдующемъ же 1839 году уже умеръ. Оконченная имъ исторія Петра такъ и осталась ненапечатанною.




---

туловъ Россійскаго государства. — 3. Отрывокъ изъ походнаго дневника егерскаго офицера. Павла Должикова. — 4. Бисаврюкъ, или Вечеръ на канунѣ Ивана Купала. Малороссійская повѣсть (изъ народнаго преданія), разсказанныя дьячкомъ Покровской церкви. (Окончаніе въ слѣдующей книжкѣ).

Стихотворенія: 1. Второй (sic!) отрывокъ [изъ комедіи Свѣтскій бытъ.—2. Четыре времяни (sic!) года русскаго поселенія. Ф. Слѣпушкина.

Проза: 1. Переписка. Письмо изъ отдаленной Сибири.—2. Военные события.

Смѣсь: Умористика (sic!): Люди не на своихъ мѣстахъ.—(Про калифа Гарунъ-аль-Рашида.)—Ротта или присяга самоѣдовъ.—Кудеси или колдовство самоѣдовъ.—Еще безденежный курсъ на Россійскомъ языке: Курсъ лѣсоводства.—Словцо объ актерахъ-волонтерахъ.



## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

### Отъ Капитолія до Тарпейской скалы.

---

**С**частливы вы, читатель, если никогда не испытывали зубной боли, особенно ночью! Ноющий зубъ не даетъ вамъ не только заснуть, но и остановиться на чемъ-нибудь мыслью. Мысль ваша, какъ пойманная птичка, бьется крыльями въ стѣнки черепа, не находя ни въ одномъ завиткѣ мозга покойнаго мѣстечка, пока къ утру окончательно не выбьется изъ силъ.

На другое утро послѣ своего послѣдняго объясненія съ «Бисаврюкомъ» Гоголь всталъ съ тою же зубною и головною болью, да въ такомъ подавленномъ настроеніи, что не глядѣлъ бы, кажется, на свѣтъ Божій! И въ самомъ-то дѣлѣ, не правъ ли Свининъ, что народныя сказанья въ сущности—вздорныя бабы сказки? И не имѣть иной цѣли жизни, какъ пересказывать этотъ чужой вздоръ! Это ли служеніе отечеству?

Прокоповичъ, сидѣвшій за утреннимъ чаемъ вмѣстѣ съ своимъ пріунывшимъ сожителемъ, по деликатности своей не рѣшился, конечно, выпытывать у него, что было у него съ редакторомъ: очевидно, что-то неладное! Но чтобы его нѣсколько разсѣять, сталъ рассказывать о вчерашнемъ представлении Грибоѣдовской комедіи. Вспоминая теперь отдѣльныя сцены, онъ до того наконецъ воспламенился, что вскочилъ со стула.

— А знаешь ли что, Николай Васильевичъ?— воскликнулъ онъ. — Меня, право, подмываетъ тоже пойти въ актеры! Все-

таки живая дѣятельность; не то, что возиться вѣчно съ глупыми ребятишками...

— Или строчить глупѣйшія «отношенія» и «предложенія»! — прибавилъ глухимъ голосомъ Гоголь.

— А что, братъ, отчего бы и тебѣ не попытать счастья на сценѣ? У тебя-то талантъ несомнѣнны...

— Ну, да!

— Да конечно. Забылъ развѣ лавры, которые пожиналь въ Нѣжинѣ на нашей школьной сценѣ?

— Этаکая провинціальная любительская сцена и столичная императорская — двѣ вещи совершенно разныя. Нашего брата и къ дебюту не допустятъ.

— А ты поѣзжай прямо къ директору театровъ, князю Гагарину. Спросъ не бѣда. Гагарина очень хвалять.

— Легко сказать: «поѣзжай!» Я и адреса-то его не знаю.

— Адресъ я тебѣ могу сказать (мнѣ говорили какъ-то): на Англійской набережной, домъ Бет... Бет... какъ бишь? Бетлинга, вѣрно! Тамъ же при немъ и его канцелярія. Эге-ге! — спохватился тутъ Прокоповичъ, взглянувъ на часы: — на урокъ еще опоздаю.

Едва только онъ скрылся за дверью, какъ Гоголь кликнулъ Якима, чтобы подалъ новый фракъ.

— Да что вы, панычу, съ ранняго утра въ гости? Развѣ нынче нѣту службы? — удивился Якимъ, но не получилъ отвѣта.

Полчаса спустя Гоголь входилъ въ парадный подъѣздъ директора императорскихъ театровъ — князя Гагарина. Отъ дежурнаго капельдинера узналъ онъ, что его сіятельство не изволили еще выйти, но что секретарь ихъ, г-нъ Мундтъ, уже въ канцеляріи.

— Такъ проведи меня туда.

— Пожалуйте.

Княжескій секретарь, представительный на видъ мужчина, разукрашенный и россійскими и иностранными знаками отличія, такъ критически оглядѣлъ неприглядную фигуру подходящаго

къ нему съ неловкимъ поклономъ молодого просителя съ подвязанной щекой, что у того смѣлости еще на 50 процентовъ поубавилось. Да, этакій спутникъ свѣтила первой величины знаетъ свое мѣсто въ небесномъ пространствѣ, не то что какой-нибудь проситель—случайная комета, залетѣвшая къ нимъ изъ совершено чужой сферы!

— Въ чемъ ваша просьба?

— Я желалъ бы поступить на театръ.

— Вамъ придется подождать: князь еще одѣвается.

Зѣвнувъ въ руку, секретарь отошелъ къ своему столу, еще разъ зѣвнувъ, потянулся (видно тоже не выспался) и нехотя сталъ перебирать свои бумаги.

Гоголь присѣлъ у окна, выходившаго на Неву. Опять жди своей участіи, но уже послѣдней! А злодѣй во рту не унимается, такъ и ноетъ, такъ и ноетъ!

— У васъ зубъ болитъ? — спросилъ Мундтъ, замѣтивъ, что проситель, приложивъ ладонь къ щекѣ, покачивается на стулѣ.— Отъ окошка вамъ еще надуетъ.

— Ничего-съ...

— Нельзя ли предложить вамъ одеколону?

— Благодарствуйте. Пройдетъ и такъ.

Да, черта съ два пройдетъ! Даже пульсъ внутри слышенъ; можно считать отдѣльные удары: разъ, два, три, четыре... Ай-ай-ай! Такъ бы, право, и разгрызъ подлеца!

Стиснувъ зубы, Гоголь нервно забарабанилъ пальцами по стеклу. Мундтъ слегка кашлянулъ, и Гоголь, самъ испугавшись произведенного имъ шума, отдернулъ отъ окна руку.

Тутъ вошелъ дежурный чиновникъ, и между нимъ и секретаремъ завязался оживленный разговоръ. Гоголь невольно насторожилъ уши: тема была для него самая животрепещущая—изъ той сферы, куда теперь были направлены всѣ его помыслы.

— А молодецъ Рязанцевъ!— говорилъ дежурный чиновникъ.— Какъ онъ славно провелъ свою роль въ вашей пьесѣ.

Въ его пьесѣ? Такъ вотъ какой это Мундтъ! На-дняхъ

вѣдь еще стояла на афишѣ трехъ-актная комедія «Жена и должность», переведенная съ французскаго Мундтомъ. Онъ же, конечно, и тотъ Мундтъ, что перевелъ «Вѣчнаго жида» Эженя Сю. Оттого, виши, такъ и ретивъ къ казенной работѣ!

— А главное, имѣйте въ виду, что онъ по обыкновенію не училъ вовсе своей роли,—отозвался Мундтъ и прибавилъ, понизивъ голосъ:—Изъ-за этого вѣдь между нашимъ княземъ и Храповицкимъ чуть не вышло цѣлой исторіи.

— Это прелюбопытно! Что же у нихъ было?

— А вотъ что. Въ самый день спектакля на генеральной репетиції моей пьесы Рязанцевъ не зналъ еще въ зубъ толкнуть и шелъ все время по суплеру. Храповицкій же воображаетъ себя все еще полковникомъ Измайлловскаго полка и давай распекать его по-солдатски: «Такой да сякой! Какъ же ты, братецъ, будешь вечеромъ играть?»—«Ничего, Александръ Ивановичъ, какъ-нибудь сыграю.»—«Какъ-нибудь! А я, инспекторъ театра, расхлебывай за тебя! Нѣть, любезный, ты меня извини; я тебя люблю, но всему есть мѣра. Нарочно вотъ приглашу князя Сергѣя Сергеевича: пускай на тебя полюбуется!»

— Храповицкій, очевидно, васъ испугался,—усмѣхнулся чиновникъ.

— Меня?

— Да, какъ автора пьесы: что пожалуетесь князю, и ему же, Храповицкому, будетъ нахлобучка. А что же Рязанцевъ?

— Тому и горя мало: «Дудки!—говорить,—опять только страшаетъ; князя нашего въ русскій театръ и калачемъ не заманишь».

— Однако, князь вечеромъ былъ-таки въ театрѣ?

— Былъ. Рязанцевъ же узналъ объ этомъ не ранѣе, какъ въ уборной, передъ выходомъ на сцену. Вдругъ къ нему влѣтаетъ впопыхахъ Карагатыгинъ: «Ну, братъ, Вася, плохо твоё дѣло! Гагаринъ въ своей ложѣ. Вѣрно, Храповицкій притащилъ ради тебя». Заметался мой Вася: «Голубчикъ! отецъ родной! зови скорѣй Сибирякова».

— Это суфлеръ?

— Ну, да. И вотъ, пока Рязанцевъ одѣвался, громирировался, Сибиряковъ наскоро начитывалъ ему роль. А тутъ и режиссеръ: «На сцену, господа!» — «Ну, смотри, Иванъ, — говоритъ Рязанцевъ Сибирякову: — не зѣвай, выручи изъ бѣды! Надо его сіятельству туману напустить. Буду знать роль, такъ угощу тебя завтра на славу».

— И зналъ вѣдь роль на зубокъ?

— По крайней мѣрѣ, ни разу не запнулся, смѣшилъ публику до упаду. Самъ князь разъ-другой усмѣхнулся; а послѣ пьесы говорить Храповицкому: «Что же это вы, Александръ Ивановичъ, наговорили мнѣ на Рязанцева? Дай Богъ всѣмъ такъ играть».

— А Храповицкій что же?

— Тотъ, совсѣмъ одураченный, приходитъ въ уборную, гдѣ Рязанцевъ перемѣнялъ бѣлье. «И чортъ тебя знаетъ, Вася, — говоритъ, — что ты за человѣкъ! Ты такъ игралъ, что я просто ротъ разинулъ». — «А чего жъ мнѣ это и стоило! — отвѣчалъ Рязанцевъ: — отъ усердія я, видите, какъ мокрая мышь: ни сухой нитки».

— Подлинно комикъ! — расхохотался дежурный чиновникъ. — А все же, какъ хотите, Храповицкій всей душой преданъ своему дѣлу. Вѣдь и до назначенія къ намъ, будучи военнымъ, онъ, говорять, неистовствовалъ на домашнихъ спектакляхъ.

— Именно неистовствовалъ! Онъ такой же великий актеръ, какъ и великий чиновникъ. Вотъ, не угодно ли, полюбуйтесь, — указалъ Мундѣ на вороха бумагъ на столѣ, — всѣ отъ Храповицкаго! Въ годъ у него, знаете ли, сколько исходящихъ номеровъ?

— Ну?

— Не много, не мало — двѣ тысячи! А о чѣмъ? спросите. О пустякахъ, которые выѣденного яйца не стоять! Все, что можно на словахъ сказать, непремѣнно изложить на бумагѣ за номеромъ. А мы тутъ разрѣшай, отписывайся!

— Но вѣдь князь Сергѣй Сергеевичъ, согласитесь, тоже очень требователенъ, — вполголоса возразилъ дежурный чинов-

никъ.—Онъ заставилъ, напримѣръ, нась, театральныхъ чиновниковъ, дежурить на спектакляхъ, записывать въ книгу всякие мелкіе случаи. А отношенія его къ артистамъ? Даже премьершъ не просить садиться...

— Потому что не желаетъ дѣлать разницы. Онъ прекрасный семьянинъ и аристократъ до кончиковъ ногтей; но въ душѣ добраякъ, какихъ мало. Назовите мнѣ хотя одного человѣка, кому бы онъ не исполнилъ справедливой просьбы? Не онъ ли завелъ поспектакльную плату артистамъ?

— Чтобы тѣ не уклонялись отъ игры подъ видомъ болѣзни.

— Да, но и для поощренья. Съ его времени только они аккуратно получаютъ свое жалованье... Такого директора у насъ еще не бывало, да и не будетъ!

Бесѣда двухъ театральныхъ чиновниковъ была прервана звонкомъ изъ директорскаго кабинета. Дежурный поспѣшилъ на звонокъ и вслѣдъ затѣмъ возвратился съ приглашеніемъ Гоголю и секретарю—пожаловать къ его сіятельству.

Гагаринъ принялъ безвѣстнаго ему просителя стоя и съ такимъ гордымъ, почти суровымъ видомъ, что тотъ оторопѣлъ, и на вопросъ: «что ему угодно?» залепеталъ скороговоркой, очень некстати играя шляпой:

— Я желалъ бы поступить на сцену... Еслибы ваше сіятельство нашли возможнымъ принять меня въ русскую труппу...

— Ваша фамилія?

— Гоголь-Яновскій, или попросту Гоголь.

— Изъ поляковъ?

— Нѣть, изъ малороссовъ.

— А по званію?

— Дворянинъ.

— Что же, г-нъ Гоголь, побуждаетъ васъ, дворянина, идти на сцену? Вы могли бы служить.

— Я—человѣкъ небогатый; служба меня не обеспечиваетъ; да я, кажется, и не гожусь для нея. Къ театру же я имѣю большую склонность.

— А вы уже играли?

— Играль — какъ любитель.

— Гмъ... Любители, это — самоучки, какъ бывають самоучки живописцы, музыканты. Но часто ли, скажите, изъ этихъ самоучекъ выходять настоящіе художники и виртуозы? Прежде, чѣмъ выступить передъ публикой, актеръ долженъ пройти цѣлую школу театрального искусства. Онъ долженъ научиться владѣть мимикой, жестами, особенно же голосомъ, чтобы каждое слово его доходило до слуха зрителей четко, членораздѣльно. «Ухо человѣка, — говорилъ еще Квинтиліанъ, — есть прихожая во внутренніе покой — разумъ и сердце; ежели рѣчь твоя входитъ въ эту прихожую беспорядочно, какъ попало, то ее не пустятъ уже во внутренніе покой».

— Но вдохновеніе, ваше сіятельство, экстазъ...

— Экстазомъ, или, какъ у нась здѣсь принято говорить, «натурой» вы, точно, произведете на большую массу нѣкоторое впечатлѣніе, но истинныхъ цѣнителей, повѣрьте мнѣ, вы никогда не удовлетворите, потому что игра ваша будетъ отрывочная, неровная, на подобіе лоскутковъ отъ роскошнаго наряда. Впрочемъ, еслибы у васъ оказался природный талантъ... Вы на какое амплуа думали бы поступить?

— Я самъ, признаться, хорошенъко еще не знаю, но драматическая роли — самая благодарная...

— Драмати-ческія? — протянулъ директоръ театровъ, оглядывая съ головы до ногъ кандидата на драматическую роли, и на строгихъ губахъ его проскользнула легкая усмѣшка. — По фігуру вашей да и по физіономіи, мнѣ кажется, для васъ была бы гораздо приличнѣе комедія. Но я васъ не стѣсняю. Дайте г-ну Гоголю бумагу къ Александру Ивановичу, — отнесся Гагаринъ къ своему секретарю, стоявшему тутъ же. — Пусть испытаетъ его на драматической роли, а потомъ мнѣ доложить.

Аудіенція кончилась. Выходя за Мундтомъ въ канцелярію, Гоголь глубоко перевѣлъ духъ и, бодрясь, замѣтилъ:

— Вы отправите меня, стало-быть, тоже за номеромъ?

Княжескій секретарь не счелъ, однако, удобнымъ понять шутку непризнаннаго еще актера и холодно отозвался:

— Да, я вамъ дамъ бумагу къ инспектору русскаго театра. Вы застанете его теперь, по всему вѣроятію, въ Большомъ театрѣ на репетиції.

Такъ оно и было. Но репетиція еще продолжалась, и Храповицкій приказалъ провести Гоголя въ театральную библиотеку. Двѣ стѣны тамъ были сплошь заняты высокими, до потолка, книжными шкапами, гдѣ за стекломъ презаманчиво красовались стройные ряды книгъ въ однообразныхъ переплетахъ. Гоголя невольно къ нимъ потянуло. Но едва только онъ прошелъ на корешкахъ нѣсколько заглавій, какъ въ комнату вошли три актера. Не разъ бывая въ русскомъ театрѣ, Гоголь тотчасъ узналъ въ нихъ теперь Борецкаго, Азаревича и Карагатыгина 2-го. Вѣрно, экзаменаторы или ассистенты! Но пока имъ было не до него; всѣ трое были, казалось, въ отличномъ настроеніи по поводу какого-то отсутствующаго товарища.

— Ему-то приглашеніе изъ провинці? — со смѣхомъ переспросилъ Карагатыгина Борецкій: — програмль, нечего сказать, на всю Россію!

— Если самъ говоритъ, то чего же вѣрнѣе? — отвѣчалъ Карагатыгинъ и продолжалъ затѣмъ, подражая кому-то и голосомъ и движеніями: — «Меня, — говорить, — тамъ давно оцѣнили и предлагаютъ первыя роли. Какъ ты думаешь, Петръ Андреевичъ?» — «Чего же лучше? — говорю: — бери обѣими руками; на вторыя роли вѣдь ты, все равно, не годишься».

— Прелестно! чтѣ называется: не въ бровь, а въ глазъ! — расхохотались оба другіе актера.

Тутъ въ дверяхъ показалось новое лицо, мужчина среднихъ лѣтъ; ероша волосы, онъ сталъ укорять смѣющихся:

— Эхъ, господа, господа! Вамъ все шуточки да смѣшки! А были бы въ режиссерской шкурѣ...

— Да какая тебя опять блоха укусила, Боченковъ? — спросилъ его Борецкій.

Боченковъ рукой махнулъ.

— Все Асенкова!

— Да вѣдь она нездорова?

— То-то, что выздоровѣла!

— Ну, и слава Богу.

— «Слава Богу!» А для чего я ночью-то, какъ брандмейстеръ на пожаръ, поскакалъ въ типографію перепечатать афишу: «по внезапной болѣзни г-жи Асенковой...» и т. д.? Теперь же вотъ, извольте-ка, присылаеть записочку, что все же будетъ играть.

— Такъ отвѣтъ просто: «опоздали, сударыня».

— Да, попробуй-ка! Потомъ полгода, небось, выноси ея милые капризы. У васъ, артистовъ, самолюбіе вѣдь дьявольское: и тому угоди, и другому; а про начальство и толковать нечего, особливо про такое, какъ нашъ Александръ Ивановичъ...

Говорящій былъ обращенъ спиною ко входу; но тутъ Борецкій сдѣлалъ ему знакъ, и онъ быстро обернулся. На порогѣ стоялъ самъ Александръ Ивановичъ Храповицкій, въ котормъ, несмотря на парадное платье, по строгой выправкѣ, а также по николаевскимъ вѣскамъ и бакенбардамъ, не трудно было признать бывшаго воина.

— Что нашъ Александръ Ивановичъ?—переспросилъ онъ, насупясь; но присутствіе посторонняго—Гоголя—его, видно, стѣсняло, потому что онъ обратился тотчасъ къ послѣднему:—Г-нъ Гоголь?

— Точно такъ.

— Князь Сергѣй Сергеевичъ поручилъ мнѣ испытать васъ на героическія роли. Трагедіи Озерова вамъ, безъ сомнѣнія, хорошо извѣстны?

— Какъ же. Я игралъ уже въ его «Эдипѣ».

— Всѣ у насъ помышлялись на «Эдипѣ», точно это оригиналъ, а не передѣлка! То ли дѣло «Димитрій Донской»!

— Прикажете достать?—спросилъ Боченковъ, раскрывая одинъ изъ книжныхъ шкаповъ.

— Да, достаньте. Значеніе этой пьесы, впрочемъ, лучше всего выражено самимъ авторомъ въ посвященіи покойному государю Александру Павловичу,—продолжалъ наставительно инспекторъ драматической труппы и, принявъ поданную ему режиссеромъ книгу, возвышеннымъ тономъ прочелъ почти все

«посвящение» к трагедии:—«Димитрій, поразивъ высокомѣрнаго Мамая на задонскихъ поляхъ, положилъ начало освобожденію Россіи отъ ига татарскаго. Ваше Императорское Величество возбудили мужество россіянъ на защищеніе свободы европейскихъ державъ. Пѣвецъ Димитрія, облагодѣтельствованый Вашимъ благоволеніемъ, пріемля смѣлость посвятить Вашему Величеству сію трагедію, завидуетъ счастію тѣхъ пѣвцовъ, кои чрезъ столѣтія, воспламеняясь великими дѣяніями, воспоютъ кроткое Ваше царствованіе, славу Вашего оружія, благоденствіе подвластныхъ Вамъ народовъ, и не будутъ почищаемы лестію. Благодарное потомство будетъ съ восхищениемъ внимать истинѣ ихъ пѣсней».

— «Съ восхищениемъ внимать», слышите?—прервалъ свое чтеніе Храповицкій.—Посмотримъ же, сумѣете ли вы возбудить въ насъ то-же восхищеніе. Вотъ, не угодно ли, дѣйствіе 4-е: монологъ Димитрія.

Проклятая робость! Да вѣдь какъ, помилуйте, не оробѣть, когда судьями являются первые знатоки дѣла. Спасибо, хоть зубъ уже не ноетъ. Святители! Да вѣдь щека все еще повязана чернымъ платкомъ. Самое подходящее украшеніе для драматического героя!

Однимъ движениемъ Гоголь сорвалъ съ головы повязку, но при этомъ коснулся пальцемъ щеки и къ ужасу своему убѣдился, что у него начинается флюсъ. Оттого-то и зубъ замолчалъ. Одно другого стойть...

— Ну-съ, что же?—нетерпѣливо замѣтилъ главный судья.

— «Когда надежды нѣть, отечество любезно,  
Чтобъ было мужество мое тебѣ полезно,  
Коль рабствовать еще тебѣ назначилъ рокъ,  
Надъ бѣдствіемъ твоимъ пролью не слезный токъ,  
Но съ жизнью моей послѣднюю каплю крови...»

— Стой!—загремѣлъ вдругъ Храповицкій.—«Не слезный токъ!» «Послѣднюю каплю крови!» Удареніе, сударь мой, вы забываете удареніе! И не «слѣзный», а «слезный». Дальше.

— «А ты, о, Ксения, предметъ моей любви,  
Безъ коей бытія сносить бы я не могъ,  
Ты въ мысляхъ отъ меня послѣдній примешь вздохъ».

— Такъ! такъ! — вполголоса одобрилъ Храповицкій сдѣланное чтецомъ удареніе на словѣ «послѣдній». Когда же тотъ дошелъ до стиха: «Но вмѣстѣ вы въ душѣ мої соединенны» и послѣднее слово прочель «соединённы», — онъ въ сердцахъ опять топнулъ ногой: — «Соединенны!» «Соединенны!» Вѣдь слѣдующій-то стихъ — «священны», а не «свящѣнны»!

Гоголь еще болѣе растерялся и, затрудняясь, какъ выговаривать слова, сталъ запинаться. Когда онъ такъ съ грѣхомъ пополамъ дошелъ до конца монолога:

«Но шумъ... зрю Ксению: благополучный часъ!  
Мамай, вострепещи: я съ жизнью примиряюсь...»

Храповицкій безъ обиняковъ выхватилъ у него изъ рукъ книгу и началъ самъ читать роль Ксении, стараясь придать своему хриплому баритону нѣжность флейты:

— «Къ тебѣ, о, государь, въ отчаянны являюсь...»

Дочитавъ и окинувъ окружающихъ орлинымъ взглядомъ, онъ передалъ книгу обратно Гоголю. Но на бѣду тому попалось опять заковыристое слово «мертвъ», которое онъ по привычкѣ произнесъ «мёртвъ», тогда какъ соответствующая риѳма была «жертвъ».

— Слабо, сударь мой, очень слабо! — оборвалъ его Храповицкій. — Я не могу допустить, чтобы такъ искажали великое твореніе. Актеръ долженъ весь, до ушей, такъ-сказать, вѣзть въ шкуру своего героя. Покойный Яковлевъ, мѣсяцъ подъ рядъ играя Димитрія Донскаго, во всякое время дня или ночи велъ себя Димитріемъ же. Когда онъ разъ возвращался съ загородной пирушки и часовой у заставы окликнулъ его: «кто идетъ?» — онъ отвѣчалъ, не обинуясь: «князь московскій Димитрій Донской!»

— Но Яковлевъ давно уже, кажется, умеръ, и я, къ сожалѣнію, не имѣль случая его видѣть, — робко позволилъ себѣ заявить Гоголь.

— Да Каратахина-то большого все-таки видѣли? Онъ и ростомъ, и талантомъ, пожалуй, еще выше Яковлева.

— Въ этой роли тоже не видѣлъ.

— А хотите играть ее! Вамъ сколько, позвольте узнать, лѣтъ? Вѣрно, ужъ за двадцать?

— На-дняхъ минетъ 21 годъ.

— Ну, вотъ; а Василию Кааратыгину едва было 18, когда онъ дебютировалъ уже Фингаломъ<sup>1)</sup>). Десять лѣтъ вѣдь прошло съ тѣхъ поръ, а помню, будто то было вчера: въ плачахъ, въ груди тогда онъ хоть не совсѣмъ еще развернулся, но роста былъ уже богатырскаго, лицомъ—красавецъ писанный, а греческій костюмъ носилъ такъ живописно, точно родился въ немъ. Чѣмъ значить Божьею милостью пластикъ и трагикъ! Лишь только вышелъ на сцену, рта еще не раскрылъ,—громъ рукоплесканій, и пошелъ, пошелъ! Въ слѣдующихъ роляхъ тотъ же фуроръ... Какія, бишь, то были роли?—обернулся Храповицкій къ стоявшему тутъ же младшему брату знаменитаго трагика.

— А Эдипъ Грузинцева и Танкредъ Вольтера,—отвѣчалъ Кааратыгинъ 2-й.—И могу добавить, что дирекція тогда же заключила съ нимъ контрактъ на три года: жалованья 2,000, при казенной квартирѣ, съ отопленіемъ и съ бенефисомъ.

— Слышите, молодой человѣкъ? Ну, да не будемъ судить по одной только пьесѣ. Испытаемъ васъ еще въ Расинѣ. Изъ 11-ти трагедій его послѣдняя—«Гоѳолія» (*«Athalie»*)—несомнѣнно и наилучшая; а роль Іодая въ ней самая выигрышная.

На лбу у Гоголя выступилъ холодный потъ; ни о «Гоѳоліи», ни о Іодай онъ, хоть убей никогда, кажется, и не слышалъ.

— Смѣю ли я браться за выигрышныя роли?—пробормоталъ онъ.

— Дай Богъ справиться хоть со второстепенной?—презрительно доказалъ экзаменаторъ.—А вы какую бы предложили?—отнесся онъ черезъ плечо къ ассистенту-режиссеру.

— Да ролька Ореста въ «Андромахѣ», напримѣръ, очень недурная.

— Вѣрно. А переводъ графа Хвостова безподобенъ.

<sup>1)</sup> Въ трагедіи Озерова того же названія.

«Безподобенъ»! Вотъ те на! Въ Нѣжинѣ дубоватыя вирши Хвостова приводились, бывало, только въ примѣръ изумительной безвкусицы, а тутъ изволь-ка выказать на нихъ свое искусство! Но взялся за гужъ—не говори, что не дюжъ. Изъ шкапа появился уже одинъ изъ маленькихъ изящныхъ томиковъ полнаго собрания произведеній бездарнаго піты.

Не разъ упражняясь въ Нѣжинѣ съ товарищами на школьнай сценѣ, Гоголь испытывалъ свои силы почти исключительно въ комическихъ роляхъ; читалъ онъ необыкновенно просто и естественно и производилъ этимъ неотразимое впечатлѣніе. Теперь онъ приложилъ всѣ старанія, чтобы прочесть точно такъ же, и самъ испугался: фальшь, невозможная фальшь, оскорбляющая ухо! Естественность и простота шли прямо въ разрѣзъ съ искусственно-возвышеннымъ содержаніемъ французской псевдо-классической трагедіи въ напыщенныхъ шестистопныхъ ямбахъ русскаго закройщика и еще болѣе выставляли ходульность пьесы. Читать даже совсѣмъ!

Храповицкій, впрочемъ, избавилъ его отъ дальнѣйшихъ угрызеній совѣсти: на полуфразѣ онъ отнялъ у него опять книгу и сталъ самъ читать, да какъ! Протяжно и раздирательно съ крикливыми возгласами, завываньями и всхлипами, словомъ,—съ такъ-называемымъ классическимъ паѳосомъ, который зоили того времени переименовали весьма неэстетично въ «драматическую икоту».

Неужели господа ассистенты такъ и не видятъ, что начальникъ ихъ безсознательно, но безощадно пародируетъ Карагина 1-го, который, благодаря счастливой внѣшности, до совершенства выработанной «пластики» и дикціи, а особенно благодаря своему огромному таланту, заставляя забывать свой приподнятый тонъ и увлекая поголовно и «верхи» и партеръ?

Гоголь украдкой покосился на ассистентовъ и замѣтилъ, какъ Карагинъ 2-й толкнулъ локтемъ въ бокъ Борецкаго, а тотъ закусилъ губу, чтобы не разсмѣяться. Храповицкій же, ничего не подозрѣвая, продолжалъ декламировать съ прежнимъ жаромъ.

— Вотъ какъ это читаютъ! — въ заключеніе похвалилъ онъ самъ себя, утирая со лба фуляромъ выступившія отъ усердія крупныя капли пота. — Ну, что, господа, что вы скажете на счетъ способностей нашего дебютанта?

Тѣ переглянулись. Жаль ли стало дебютанта Карапыгину, тоже молодому и второстепенному актеру, или же ему, какъ преподавателю театрального училища, удалось уловить въ чтеніи Гоголя нѣкоторые задатки для комика, но онъ вступилъ за него:

— Не дозволите ли вы мнѣ, Александръ Ивановичъ, отвѣтить вамъ небольшой притчей изъ недавняго прошлаго? Одному изъ нашей братіи («что въ имени тебѣ моемъ?») пришла фантазія испытать себя въ трагической роли короля. Его освистали. На другой день онъ игралъ сапожника въ водевилѣ. Его вызвали. «Вотъ тутъ и угоди! — говорить онъ мнѣ: — вчера освистали, а нынче вызываютъ». — «А дѣло чего проще, — говорю я ему: — короля ты сыграль какъ сапожникъ, а сапожника — какъ король».

Храповицкій одобрительно усмѣхнулся.

— Да, это бываетъ. Ну, что жъ, такъ и быть, пощупаемъ у молодого человѣка и комическую жилку. Но «сапожниковъ» въ нашей труппѣ и такъ двойной комплектъ; возьмемъ не водевиль, а классическую же комедію. У тебя, Петръ Андреевичъ, въ старшемъ классѣ какую теперь проходить?

— «Школу стариakovъ» Казимира Делавиня, — отвѣчалъ Карапыгинъ, залѣзая въ боковой карманъ. — У меня кстати и текстъ съ собой.

— Да вѣдь это опять стихи?... — пробормоталъ Гоголь, взглянувъ въ книжку. — Стихи связываютъ актера...

— Особенно, если онъ лѣнивъ учить роль и привыкъ присплетать къ ней собственную дребедень? — подхватилъ Храповицкій. — Но комедія въ стихахъ уже сама по себѣ выше, благороднѣе комедіи въ прозѣ... Да вотъ, Петръ Андреевичъ, какъ преподаватель, вамъ это еще лучше меня объяснить.

Карапыгинъ, видимо польщенный, принялъся излагать дебю-

танту разницу между «высокой» комедіей, вызывающей своимъ тонкимъ остроуміемъ одобрительную улыбку у самыхъ неумолимыхъ судей партера, и комедіей-водевилемъ, бьющей на грубые инстинкты невзыскательнаго райка.

— Плавная же, строго размѣренная форма александрийскихъ стиховъ наиболѣе отвѣчаетъ высокой комедіи,—продолжалъ онъ, все болѣе воодушевляясь:—это, такъ сказать, классические костюмы и декораціи языка, въ которыхъ юморъ драматурга имѣть возможность блеснуть и изящнымъ складомъ рѣчи и звучной риѳомой. Делавинъ, одинъ изъ сорока безсмертныхъ французской академіи, въ своей «Школѣ старииковъ» достигъ въ этомъ отношеніи, можно сказать, виртуозности. Авторъ менѣе даровитый сочинилъ бы на ту-же тему пошлый фарсъ, поднялъ бы на смѣхъ старика, имѣвшаго глупость на шестомъ десяткѣ жизни жениться на двадцатилѣтней. У Делавиня же старики Данвиль возбуждается въ зрителъ невольное сочувствіе, когда съ оружиемъ въ рукахъ вступается за молодую жену, наивную Гортензу. Противникъ его, молодой герцогъ, отлично владѣеть шпагой и обезоруживаетъ слабосильнаго старика. А между тѣмъ, хотя побѣдитель въ концѣ концовъ оказывается вполнѣ благороднымъ человѣкомъ, симпатіи и зрителя и жены все-таки на сторонѣ мужа. Вы сочувствуете ему даже болѣе, чѣмъ его благоразумному старому пріятелю, холостяку Бонару. Каковъ же долженъ быть для этого талантъ автора, чтобы не впасть въ шаржъ, чтобы вывести передъ вами всѣхъ дѣйствующихъ лицъ живыми и притомъ милыми людьми?

— Слышите, молодой человѣкъ, слышите?—вскричалъ опять Храповицкій.—Вотъ, стало быть, что значитъ комедія. Теперь можете показать себя. Начните хоть съ первой сцены.

На блещущемъ остроуміемъ діалогъ двухъ друзей-старииковъ, которымъ начинается комедія Делавиня, дѣйствительно была возможность показать себя. Но къ несчастью своему (а можетъ быть, и къ счастью, и во всякомъ случаѣ къ счастью русской литературы, которая иначе лишилась бы въ

немъ, пожалуй, великаго писателя), Гоголь прочелъ діалогъ опять по своему, и Храповицкій попрежнему остался недоволенъ.

— Нѣть, не быть вамъ актеромъ! — объявилъ онъ свой окончательный приговоръ.—Гуси хоть спасли Капитолій, но не всякому гусю лапчатому тамъ мѣсто, потому что отъ Капитолія до... до этой...

— ...до Тарпейской скалы...—подсказалъ Карагыгинъ.

— ...до Тарпейской скалы (Храповицкій съ гордостью ткнулъ себя перстомъ въ грудь) одинъ шагъ.

— Но нельзя ли взять его хоть «на выходъ»?—замолвилъ было еще слово Карагыгинъ.

— Покорнейше благодарю!—перебилъ тутъ самъ дебютантъ совѣщаніе «капитолійцевъ» и, низко опустивъ голову, послѣшилъ покинуть «Капитолій».

Прощай, карьера артиста, навсегда, навсегда!

Моментъ былъ, казалось, чего грустнѣе, безотраднѣй; но и въ такие моменты, случается, усмѣхнешься. Когда Гоголь въ вестибюлѣ театра подошелъ къ зеркалу, чтобы повязать себѣ опять опухлую щеку чернымъ платкомъ, ему разомъ припомнился вчерашній разсказъ Греча про черный пластырь на лицѣ злосчастнаго Воейкова, и онъ горько улыбнулся надъ са-  
мимъ собой:

„И трауромъ покрылся Капитолій!“





## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Какъ иногда одна ласточка дѣлаетъ весну.

**С**о счастьемъ иной разъ что съ очками: ищешь его по всему свѣту, а оно у тебя на носу. Получивъ въ первыхъ числахъ марта оттиски второй половины своего «Бисаврюка», Гоголь досадливо швырнулъ ихъ въ ящикъ стола: можно ли въ самомъ дѣлѣ хвастать передъ кѣмъ бы то ни было такойискаженной работой? Поправки редактора, какъ черные пятна, бросаются тотчасъ всякому въ глаза, а будуть поставлены на счетъ автору!

— Но Трощинскому я на твоемъ мѣстѣ все-таки преподнесъ бы экземпляръ,—позволилъ себѣ замѣтить Прокоповичъ.—Онъ, можетъ, и читать не станетъ; но изъ чувства признательности, знаешь, тебѣ не мѣшало бы...

— Гмъ... чтѣ вѣрно, то вѣрно,—согласился Гоголь.—Онъ меня не разъ выручалъ изъ бѣды. Придется, пожалуй, расщедриться и на переплетъ.

— И на генеральский—съ золотымъ обрѣзомъ.

Такъ экземпляръ въ «генеральскомъ» переплѣтѣ былъ преподнесенъ. Два дня спустя, отъ Трощинского пришелъ человѣкъ съ приглашеніемъ пожаловать къ генералу по нужному дѣлу.

— Скажите-ка, мой милый,—началъ Трощинскій,—какъ вы довольны вашей нынѣшней службой и какъ вами довольны? Можете ли вы разсчитывать въ скоромъ времени на штатное мѣсто?

Гоголь долженъ былъ признаться, что служба ему далеко не по душѣ, а надежды на штатное мѣсто у него пока никакой.

— Такъ вотъ что: вчера на куртагъ я совершенно слу-

чайно встрѣтился съ однимъ стариннымъ знакомымъ, Львомъ Алексѣевичемъ Перовскимъ, съ которымъ разошелся уже лѣтъ десять. Тогда онъ былъ свитскимъ полковникомъ; теперь онъ гофмейстеръ Высочайшаго Двора, вице-президентъ департамента удѣловъ и мѣтить въ министры <sup>1)</sup>). Слово за слово, спрашивало я его, много ли у него дѣла. «И не спрашивайте,—говорить.— Не даромъ сказалъ государь, что Россія управляется столоначальниками. Не будь у меня такого подбора столоначальниковъ, во вѣкъ бы не управился. Но зато вѣдь они проходятъ у меня школу стилиста первого разряда—начальника отдѣленія Панаева, о которомъ вы, можетъ-быть, уже слышали».— «Панаевъ? Панаевъ?—говорю:—это не тотъ ли, что напечаталъ книжку какихъ-то идиллій?»— «Онъ самый».— «А что, Левъ Алексѣевичъ,—говорю,—у меня есть молодой родственникъ, чиновникъ, пописываетъ тоже въ журналахъ, начинающій стилистъ; не примете ли вы его на выучку къ вашему Панаеву?»— «Пришлите—посмотримъ».

— Не знаю, какъ и благодарить васъ, Андрей Андреевичъ, за вашу отеческую заботливость...—сталъ разсыпаться Гоголь.

— Само собою разумѣется,—продолжалъ Андрей Андреевичъ,—что штатнаго мѣста и тамъ не дадутъ вамъ сразу, не испытавъ васъ на дѣлѣ. Завтра, какъ сказалъ мнѣ Перовскій, у него приемъ просителей; смотрите же, не опоздайте.

Еще въ 10-мъ часу утра Гоголь былъ въ приемной департамента удѣловъ. Наученный опытомъ, онъ дома загодя приготовилъ прошеніе на имя Перовскаго и вмѣстѣ съ полусотней другихъ просителей сталъ дожидаться своей участіи. Не разъ уже поглядывалъ онъ на стоявшіе въ углу, въ огромномъ деревянномъ футлярѣ, часы. Они пробили и 10, и 11, и 12, когда съ лѣстницы бомбай влетѣлъ курьеръ съ толстымъ портфелемъ въ рукахъ, на лету бросилъ дежурному чиновнику: «его превосходительство!» и настежь распахнулъ проти-

<sup>1)</sup> Л. А. Перовскій впослѣдствіи, дѣйствительно, былъ министромъ внутреннихъ дѣлъ и возвведенъ въ графское достоинство.



Графъ Левъ Алексѣевичъ  
ПЕРОВСКІЙ.



воположную дверь—въ департаментъ. Дежурный чиновникъ вспринулъ съ мѣста и обдернулъ на себѣ вицъ-мундиръ, стояржъ у входа вытянулся въ струнку, просители отхлынули къ стѣнамъ и чинно выровнялись въ рядъ. И вотъ, въ дверяхъ показался самъ Перовскій. Начался обходъ.

Какая неприступная внушительность въ осанкѣ, даже въ этомъ жестѣ, съ которымъ онъ направляетъ свой золотой лорнетъ на того, кого удостоиваетъ вниманія! И, вмѣстѣ съ тѣмъ, какое умѣніе обращаться съ людьми! Каждаго, будь тотъ въ расшитомъ мундирѣ или заплатанномъ зипунѣ, онъ выслушиваетъ одинаково внимательно, но едва лишь проситель начинаетъ распространяться, какъ онъ его мягко, но рѣшительно обрываетъ:

— Будьте добры не уклоняться отъ дѣла.

Помѣтивъ прошеніе карандашемъ, онъ передаетъ его стоящему тутъ же дежурному, а самъ обращается къ слѣдующему просителю:

— Въ чемъ ваша просьба?

Дошла такъ очередь и до Гоголя. Но едва лишь онъ заикнулся о Троцкинскомъ, какъ Перовскій прервалъ его:

— Хорошо, обождите.

Обходъ кончился, и департаментская дверь поглотила начальника. Всѣ просители, за исключеніемъ Гоголя, удалились. А вотъ и его вспомнили:

— Пожалуйте къ его превосходительству.

Перовскій сидѣлъ у себя въ кабинетѣ за письменнымъ столомъ и былъ погруженъ въ чтеніе какой-то бумаги. Мѣшать ему въ чтеніи, понятно, не приходится. Но тѣмъ лучше: лицо его ярко освѣщается изъ ближняго окна отраженіемъ солнечнаго свѣта отъ свѣтлой стѣны надворного флигеля, и черты его можно на досугѣ проштудировать во всей подробности.

Ему, пожалуй, лѣтъ сорокъ. Но болѣзnenная, желтоватая блѣдность кожи, какъ пергаментъ обтягивающей его скелет, указываетъ на давно уже разстроенное пищевареніе, а горькая складка около сжатыхъ губъ и двѣ глубокія морщины надъ

переносямъ придаютъ его умнымъ, выразительнымъ чертамъ оттѣнокъ не то затаенной скорби, не то недовольства. Впрочемъ, временной причиной этого недовольства, быть можетъ, содержаніе читаемой имъ довольно пространной бумаги; быстро пробѣгая страницу за страницей, онъ перевертываетъ ихъ съ видимою нервностью и по временамъ дѣлаетъ на поляхъ синимъ карандашемъ помѣтки.

Дочитавъ бумагу, Перовскій на минутку задумался, потомъ на первой страницѣ черкнулъ нѣсколько словъ и позвонилъ. Въ дверяхъ выросъ курьеръ.

— Въ первое отдѣленіе!

Теперь только, казалось, Перовскій замѣтилъ присутствіе стоявшаго у входа молодого просителя. Чтобы лучше разсмотрѣть его, онъ поднесъ опять къ глазамъ лорнетку, затѣмъ чуть-чуть мотнулъ головой, чтобы тотъ подошелъ ближе.

— Гоголь-Яновскій?

— Точно такъ, ваше превосходительство. Я выступаю лишь на жизненное поприще, и дядя мой, Андрей Андреевичъ Трощинскій, помня прежнія добрыя отношенія...

Перовскій движениемъ руки остановилъ говорящаго на половинѣ фразы.

— У меня время, извините, очень дорого. Я васъ попрошу отвѣтить только на вопросы.

Онъ задалъ Гоголю нѣсколько формальныхъ вопросовъ, на которые тотъ отвѣталъ уже возможно коротко.

— Вы, говорить, пописываете въ журналахъ? Запрещать вамъ этого я не желаю, хотя такая вольная литературная работа неизбѣжно должна васъ разсѣвать, отвлекать отъ служебного дѣла. Но повторяю: прямого запрета вамъ нѣть. Объ одномъ предваряю васъ: изъ того, что вы узнаете въ этихъ стѣнахъ — изъ бумагъ ли, со словъ ли начальниковъ и сослуживцевъ, — ничего отнюдь не должно появляться въ печати. Отнюдь! Вы понимаете?

Гоголь отвѣсилъ самый почтительный поклонъ.

— Понимаю-сь: не выносить сора изъ избы?

— Сора у насъ здѣсь вообще нѣтъ. Но есть государственныя и канцелярскія тайны, не предназначенные для непосвященныхъ.

И Перовскій снова взялся за колокольчикъ.

— Владимира Ивановича! — лаконически приказалъ онъ влѣтѣвшему курьеру.

«Владиміръ Ивановичъ, видно, знаменитый стилистъ Панаевъ», сообразилъ Гоголь — и не ошибся.

— Вотъ, Владимира Ивановичъ, племянникъ генерала Трошинскаго, Гоголь-Яновскій, — обратился Перовскій къ входящему Панаеву, который хотя и былъ почти однихъ съ нимъ лѣтъ, но, благодаря цвѣтущему виду, открытому и оживленному лицу, казался значительно моложе. — Онъ служить въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, но желаетъ теперь перейти къ намъ. Не возьмете ли вы его къ себѣ?

— Комплектъ-то у меня полный, — сдержанно отвѣчалъ Панаевъ, — и вакансіи пока не предвидится.

— Но молодой человѣкъ владѣеть литературнымъ перомъ, напечаталъ уже что-то...

— Вотъ какъ!

Панаевъ быстро обернулся къ молодому литератору:

— Въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ вы сколько получали?

— Тридцать рублей въ мѣсяцъ.

— Т.-е. въ годъ триста шестьдесятъ? У насъ для начала его превосходительство назначить вамъ пятьсотъ рублей...

— Mais, mon cher... — запротестовалъ Перовскій противъ такого «превышенія власти» подчиненнымъ и продолжалъ еще что-то вполголоса по-французски.

Панаевъ отвѣчалъ ему тихо, но попрежнему непринужденно на томъ же языкѣ, и слова его были, надо думать, достаточно убѣдительны, потому что Перовскій пожалъ плечами и, взявъ изъ руки Гоголя прошеніе, начерталъ на немъ резолюцію, которую прочелъ затѣмъ вслухъ: «Принять на службу съ вознагражденіемъ по 500 р. въ годъ изъ канцелярской суммы». Когда же Гоголь сталъ благодарить его, Перовскій замѣтилъ,

что благодарность свою онъ лучше докажетъ, если на дѣлѣ оправдаетъ довѣріе начальства.

Кивокъ съ одной стороны, поклонъ съ другой,—и Гоголь на цыпочкахъ выбрался изъ кабинета главнаго начальника.

— Теперь пожалуйте за мною,—сказалъ вышедшій оттуда вслѣдъ за нимъ Панаевъ.

— Я долженъ благодарить и васъ, Владіміръ Ивановичъ...

— Не за что... Мое содѣйствіе ограничилося лишь тѣмъ, что я указалъ источникъ и намѣтилъ сумму. Больше давать новому человѣку на первое время я не вижу основаній, да и канцелярскія средства у насъ не такъ богаты; въ то-же время однако я не желаю, чтобы служащіе у меня голодали. Литературнымъ трудомъ вы пока, я полагаю, вѣдь немного зарабатываете?

Гоголь, краснѣя, долженъ былъ признаться, что дѣйствительно маловато, но просилъ разрѣшенія въ знакъ признательности представить оттискъ одного своего разсказа.

— Только, простите, у меня не имѣется экземпляра въ переплетѣ...—извинился онъ.

Панаевъ снисходительно усмѣхнулся.

— Зачѣмъ же вамъ понапрасну расходоваться? мнѣ бы только познакомиться съ вашимъ слогомъ. Впрочемъ, и то сказать, языкъ литературный и языкъ канцелярскій—двѣ совершенно разныя вещи. Для канцелярскаго языка требуется особый художественный даръ.

— Художественный?

— Да, настоящій чиновникъ—тоже своего рода художникъ слова и находить не только нравственное удовлетвореніе, но и извѣстное эстетическое удовольствіе написать сложную бумагу красно и вразумительно. Нерѣдко вчерашия бумага васъ уже не удовлетворяетъ; съ каждымъ днемъ отыскиваются новые выраженія и обороты. Отъ васъ самихъ теперь будетъ зависѣть сдѣлаться чиновникомъ-художникомъ, какъ я или вотъ тотъ столонаачальникъ, Дмитрій Ивановичъ Ермоловъ, подъ близкайшимъ руководствомъ котораго вы будете отнынѣ работать.

Говоря такъ, Панаевъ рядомъ комнатъ провелъ Гоголя въ свое

отдѣленіе и здѣсь препоручилъ его столоначальнику-художнику.

Увы! Ни въ этотъ день, ни въ слѣдующіе Гоголь не могъ усвоить себѣ канцелярскаго слога, а тѣмъ менѣе постичь его своеобразную «художественную» прелесть. Зато, благодаря своей рѣдкой наблюдательности и умѣнью отрывочные отзывы связывать въ цѣльное представленіе, онъ въ короткое время успѣлъ составить себѣ довольно ясное и полное понятіе о своихъ двухъ главныхъ начальникахъ: Перовскомъ и Панаевѣ.

Перовскій не былъ женатъ и, дойдя до того возраста, когда общественные развлеченія уже не развлекаютъ, поставилъ себѣ повидимому единственnoю цѣлью жизни—достиженіе возможной власти и почета. Самъ не обладая ни особыннымъ даромъ слова, ни искусствомъ письменно излагать свои мысли, онъ, какъ умъ широкій, разносторонній, умѣлъ цѣнить чужой трудъ и выбирать себѣ сотрудниковъ. Къ кому изъ нихъ Левъ Алексѣевичъ благоволилъ—тому жилось за нимъ какъ за каменной стѣной: кто же впалъ у него разъ въ немилость—тому лучше было убираться по добру, по здорову. Не даромъ чиновники называли его шопотомъ между собою «Тигромъ Алексѣевичемъ». Въ числѣ его избранниковъ первое мѣсто давно уже занималъ Панаевъ. Всякую мысль начальника онъ умѣлъ уловить налету и «оболванить» на бумагѣ такъ толково и изящно, что тому оставалось только обмакнуть перо да подписатьсь. Живя бобылемъ, Перовскій въ первые годы чуть не ежедневно называлъ къ себѣ Панаева къ обѣду, чтобы въ дружеской бесѣдѣ съ нимъ за отборными яствами французской кухни, за бургонскимъ и сеньперо, отводить душу. Но сидячимъ образомъ жизни онъ нажилъ себѣ желудочный катарръ и, по совѣту врачей, волей-неволей долженъ быть питаться однимъ куринымъ бульономъ. Пришлось отказаться отъ гастрономическихъ обѣдовъ и сходиться съ пріятелемъ-подчиненнымъ за вечернимъ чаемъ. Но вскорѣ и чай оказался запретнымъ плодомъ. Злые языки, правда, прибавляли, что такое какъ-бы охлажденіе между обоими произошло вслѣдствіе проявляемой Панаевымъ чрезмѣрной самостоятельности, которой до крайности честолю-

бивый Перовский не переносилъ ни въ комъ изъ служащихъ. Какъ бы то ни было, Панаевъ по-прежнему оставался его первымъ совѣтникомъ и одинъ изъ всѣхъ начальниковъ отдѣлений являлся къ нему съ докладомъ на квартиру каждое утро.

Отдѣление Панаева, хозяйственное и распорядительное, почиталось въ департаментѣ самыемъ отвѣтственнымъ; но, будучи образцовымъ чиновникомъ, Панаевъ въ то-же время, какъ рассказывали въ департаментѣ, былъ и душою общества, отличался своими застольными рѣчами, веселыми экспромтами и — что Гоголя особенно въ немъ привлекало — не былъ чуждъ литературѣ. «Какъ-то ему понравится мой «Бисаврюкъ»? — думалъ Гоголь, когда представилъ Панаеву экземпляръ своего разсказа. Но прошелъ день, другой, а Панаевъ не только не упоминаль о «Бисаврюкѣ», но даже вообще какъ-бы нарочно изъ деликатности не подходилъ къ новому подчиненному. — Что онъ, можетъ-быть, и прочель да препроводилъ прямо по принадлежности подъ столъ въ бумажную корзину?..

Тоскливо, горькое чувство стало опять закрадываться въ душу Гоголя. Тутъ наступило воскресенье, и онъ вмѣстѣ съ Прокоповичемъ отправился къ обѣднѣ въ Казанскій соборъ. Давно не молился онъ такъ горячо, и мольба его какъ-будто была услышана: едва только онъ возвратился домой отъ обѣдни и облекся въ свой неизмѣнныи халатъ, какъ въ прихожей раздался звонокъ, а затѣмъ и звучный голосъ:

— Дома г. Гоголь-Яновскій?

Господи Боже! Пресвятая Троица! Неужто самъ Владіміръ Ивановичъ? Не можетъ быть!

Но сомнѣнія уже не было: на порогѣ стоялъ Владіміръ Ивановичъ. Задыхаясь отъ быстраго восхожденія на четвертый этажъ, онъ блестящими веселостью глазами озирался въ скромномъ жилищѣ своего подчиненного.

— Однако забрались вы на колокольню, точно и не дьячокъ, а понамаръ.

Гоголь заметался по комнатѣ и сталъ извиняться за свой затрапезный хитонъ.



Владиміръ Ивановичъ  
ПАНАЕВЪ.



— А я положительно разсчитывалъ застать сельскаго дѣячка во фракѣ, въ бѣломъ галстукѣ и таковыхъ же перчаткахъ! — со смѣхомъ отозвался Панаевъ, снимая самъ перчатки и рассматривая свои посинѣвшіе пальцы.—Не угодно ли: по календарю апрѣль, а на дворѣ чутъ не крещенскій морозъ!

— Не прикажете ли чаю съ ромомъ?

— Не отказался бы.

— Эй, Якимъ, скорѣе самоварь! — крикнулъ Гоголь въ прихожую; потомъ шмыгнула въ комнату къ пріятелю: — Ну, голубчикъ Красненький, бѣги-ка духомъ въ погребъ за бутылкой рома, да самаго лучшаго ямайскаго.

— Кого это ты такъ чествуешь? — удивился Прокоповичъ.

— А моего начальника отдѣленія Панаева, который сдѣлалъ мнѣ честь... О, Владіміръ Ивановичъ такой достойный, превосходный человѣкъ!..

— Ты бы потише: еще услышитъ! — предостерегъ шепотомъ Прокоповичъ.

Гоголь подмигнулъ лукаво: «Да, можетъ, такъ и нужно?» и возвратился къ почетному гостю. Владіміръ Ивановичъ въ самомъ дѣлѣ, видно, услышалъ его отзывъ о себѣ, потому что какъ-будто еще дружелюбнѣе освѣдомился, съ кѣмъ это онъ живетъ, а затѣмъ тотчасъ прибавилъ:

— А разсказъ-то вашъ, знаете, хоть куда! Какъ взялъ я его вчера въ руки на сонъ грядущій, такъ и не выпустилъ изъ рукъ, пока не прочиталъ отъ доски до доски. Съ первого взгляда на васъ, признался, я никакъ не ожидалъ...

— Что чорна корова биле молоко дае? — неожиданно досказалъ Якимъ, возвившійся за столомъ съ самоваромъ.

— Вотъ именно! — разсмѣялся Панаевъ, пріятельски кивая деревенскому острослову.—И какое вѣдь молоко: густое, не разбавленное! У васъ несомнѣнныи оригиналъ талантъ.

— Боюсь повѣрить... — пролепеталъ Гоголь, самъ однако весь просіявъ.—Вы, Владіміръ Ивановичъ, можете судить объ этомъ, конечно, лучше всякаго другого, потому что сами написали нѣсколько прелестныхъ идиллій.

— Прелестныхъ ли — не знаю, но что онъ не совсѣмъ плохи, можно думать потому, что ихъ одобрилъ самъ Гавриилъ Романовичъ.

— Державинъ?

— Да, великий Державинъ. Какъ это было,—я, пожалуй, въ назиданіе повѣдаю вамъ; но напередъ дайте мнѣ немножко отогрѣться.

Отогрѣвшись чаемъ съ ромомъ, котораго молодой хозяинъ подливалъ ему въ стаканъ довольно усердно, Панаевъ разговарился вообще о своей молодости. Оказалось, что отецъ его, состоявший сперва на военной службѣ, адъютантомъ Румянцева (сына фельдмаршала) и флигель-адъютантомъ генералъ-аншефа графа Брюса, а потомъ по гражданской судебной части въ Казани и Перми, зналъ лично Державина, Новикова, Эмина, Княжнина и вывелъ въ люди Мерзлякова. Съ Державинымъ онъ даже породнился, женившись на его родственница.

— А идилліи ваши когда были вами написаны? — спросилъ Гоголь.

— Въ университетѣ. Такъ какъ ихъ товарищи мои хвалили, то я рѣшился отдать ихъ на судь Державина. Переѣхавъ чистенько, я препроводилъ ихъ къ нему при почтительномъ письмѣ. Каково же было мнѣ, представьте, получить такой отвѣтъ (я перечелъ его тогда столько разъ, что до сихъ поръ помню, какъ «Отче нашъ», отъ слова до слова): «Мнѣ не остается ничего другого, какъ ободрить прекрасный талантъ вашъ; но совсѣмъ дружески не торопиться, вычищать хорошенько слогъ, тѣмъ паче, когда онъ въ свободныхъ стихахъ заключается. Въ семъ родѣ у насъ мало писано. Возьмите образцы съ древнихъ, ежели вы знаете греческій и латинскій языки, а ежели въ нихъ не искусны, то нѣмецкіе Геснера могутъ вамъ послужить достаточнымъ примѣромъ въ описаніи природы и невинности нравовъ. Хотя климатъ нашъ суровъ, но и въ немъ можно найти красоты и въ физикѣ, и въ морали, которыхъ могутъ тронуть сердце; безъ нихъ же все будутъ сухо и пусторѣчіе»...

— То же самое,—заключилъ Панаевъ,—могу съ своей стороны посовѣтовать и вамъ, Николай Васильевичъ. Такъ вѣдь зовутъ васъ, если не ошибаюсь?

— Точно такъ. Но съ самимъ Державинымъ вы потомъ уже не встрѣчались?

— Какъ же, прибывъ изъ Казани, прямо съ университетской скамьи, въ Петербургъ, я не преминулъ быть у него съ поклономъ, но засталъ его на закатѣ дней и не могъ уже почерпнуть у него новаго вдохновенія; а государственная служба вскорѣ меня въ конецъ заполонила.

— Позвольте въ этомъ нѣсколько усомниться,—замѣтилъ Гоголь:—что на васъ, Владимира Ивановича, держится, можно сказать, весь департаментъ,—всѣмъ, разумѣется, извѣстно, но вы все-таки не сухой чиновникъ, а живой человѣкъ, отзывчивый на все доброе, благородное, прекрасное; не могу я, извините, повѣрить, чтобы съ вашимъ литературнымъ даромъ, который, какъ вы сами говорите, призналъ и Державинъ, вы могли устоять противъ соблазна писать иной разъ и что-нибудь не-чиновное.

Въ темныхъ глазахъ Панаева вспыхнула искра какъ бы вдохновленнаго огня; но онъ тотчасъ потопрілся потушить ее.

— И вы не ошиблись,—промолвилъ онъ съ задумчивою грустью.—Кое-что у меня начато... историческая повѣсть изъ быта старообрядцевъ; но выйдетъ ли она еще въ свѣтъ—Богъ вѣсть! <sup>1)</sup> Въ моемъ возрастѣ искать новые пути жизни не приходится; я—чиновникъ въ лучшемъ смыслѣ слова, и слава Богу! Быть можетъ, и я, подобно большинству людей, имѣющихъ за собой кое-какія заслуги, возношуясь превыше моихъ заслугъ; но это такъ натурально: каждый изъ насъ очень хорошо знаетъ, какихъ ему стоило трудовъ и усилий достичь

<sup>1)</sup> Три года спустя, въ сборникѣ Смирдина «Новоселье» былъ напечатанъ отрывокъ изъ повѣсти В. И. Панаева «Раскольникъ». Героемъ повѣсти является молодой князь Мышицкій, сынъ князя Дениса Мышицкаго, вѣрнаго слуги царевны Софии Алексѣевны, выросшій въ Заонежье между раскольниками и прѣхавшій въ Москву на коронацію Петра II.

того, что составляетъ его гордость, чужихъ же усилий и трудовъ мы не видимъ, а судимъ только по ихъ конечному результату, представляющему для насъ, людей постороннихъ, простой фактъ. Это я говорю о себѣ. Что же до васъ, то вы стоите еще на порогѣ жизни, и всѣ поприща передъ вами открыты. Къ одному изъ нихъ—литературѣ—у васъ какъ будто особая склонность,—и благо вамъ, не ставьте вашего свѣтлая лодь спудь! А чтобы вамъ можно было писать именно тѣ, что вамъ болѣе по душѣ, а не ради одного насущнаго хлѣба, казенная служба дастъ вамъ этотъ хлѣбъ,—пока черствый, а тамъ, мѣсяца черезъ три, можетъ быть, и съ маслицемъ.

Гоголь весь такъ и встрепенулся.

— Черезъ три мѣсяца я могу разсчитывать уже на штатный окладъ?

— Помощника столоначальника—да, если и съ своей стороны приложите нѣкоторое стараніе... А до поры до времени можете утѣшать себя хоть тѣмъ, что начинаете службу у насъ въ столицѣ въ сносной обстановкѣ, а не гдѣ-нибудь въ провинціальномъ захолустѣ, гдѣ обязанности чернильницъ исполняютъ помадныя банки, гдѣ господа чиновники, вмѣсто стульевъ, возсѣдаютъ на полѣньяхъ, а на столахъ среди дѣлъ красуются передъ ними полушлифы водки съ огурцами. Однако, я у васъ заболтался! Будьте здоровы.

Много ли приложилъ Гоголь стараний, чтобы заслужить штатный окладъ, мы сказать не знаемъ; несомнѣнно только, что Панаевъ не давалъ ему чувствовать служебное ярмо: изъявъ его почти совершенно изъ вѣдѣнія столоначальника, онъ поручалъ ему какія-нибудь неспѣшныя работы отъ себя, и ровно черезъ три мѣсяца послѣ зачисленія Гоголя въ составъ чиновъ департамента удѣловъ, именно 10 іюля 1830 г., онъ былъ, дѣйствительно, опредѣленъ на должность помощника столоначальника.





## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

### У двухъ отцовъ литературы.

**С**амъ Гоголь глубоко цѣнилъ человѣка, не только позабывшагося объ его пропитаніи, но и встрѣтившаго его «первую ласточку» какъ предвѣстницу весны. («Ганцъ Кюхельгарденъ» не могъ, конечно, идти въ счетъ: то была не ласточка, а скорѣе сорока, стрекотавшая съ чужого голоса).

«Начальникъ отдѣленія мой, отъ котораго я непосредственно завишу, В. И. Панаевъ—человѣкъ очень хороший, котораго въ душѣ я истинно уважаю», писалъ онъ матери еще въ началѣ іюня. По скрытности своей, не посвящая ея еще въ свои тайные замыслы, онъ слегка однако намекнулъ уже на нихъ: «Литературныя мои занятія и участіе въ журналахъ я давно оставилъ, хотя одна изъ статей моихъ доставила мнѣ мѣсто, нынѣ мною занимаемое. Теперь я собираю материалы только и въ тишинѣ обдумываю свой обширный трудъ».

А какъ измѣнились душевное настроеніе нашего нелюдима, его отношенія къ близкимъ, весь его образъ жизни! «Съ первой ласточкой» и въ душѣ его повѣяло весной.

«Я каждый почти день прогуливаюсь по дачамъ и прекраснымъ окрестностямъ (рассказывалъ онъ матери въ томъ же письмѣ). Нельзя надивиться, какъ здѣсь пріучашься ходить: прошлый годъ, я помню, сдѣлать верстъ пять въ день была для меня большая трудность; теперь же я дѣлаю свободно

верстъ 20 и болѣе и не чувствую никакой усталости. Въ 9 часовъ утра отправляюсь я каждый день въ свою должностъ и пробываю тамъ до 3 часовъ; въ половинѣ четвертаго я обѣдаю; послѣ обѣда въ 5 часовъ отправляюсь я въ классъ, въ академію художествъ, гдѣ занимаюсь живописью, которую я никакъ не въ состояніи оставить. По знакомству своему съ художниками и со многими даже знаменитыми, я имѣю возможность пользоваться средствами и выгодами, для многихъ недоступными. Не говоря уже обѣ ихъ талантѣ, я не могу не восхищаться ихъ характеромъ и обращеніемъ. Что это за люди! Узнавши ихъ, нельзя отвязаться отъ нихъ на-вѣки. Какая скромность при величайшемъ таланѣ! О чинахъ и въ поминѣ нѣть, хотя нѣкоторые изъ нихъ статскіе и даже дѣйствительные совѣтники. Въ классѣ, который посѣщаю я три раза въ недѣлю, просиживаю два часа; въ семь часовъ прихожу домой, иду къ кому-нибудь изъ своихъ знакомыхъ на вечеръ,— которыхъ у меня таки не мало. Вѣрите ли, что однихъ однокорытниковъ моихъ изъ Нѣжина до 25 человѣкъ<sup>1)</sup>. Вы, можетъ быть, думаете, что такое знакомство должно быть въ тягость? Ничуть; это не въ деревнѣ, гдѣ обязаны угощать своихъ гостей столомъ или чаемъ. Каждый у насъ Ѳѣсть у себя, пріятелей же и товарищей угощають бесѣдою, которою всякий изъ насъ бываетъ вполнѣ доволенъ. Три раза въ теченіе недѣли отправляюсь я къ людямъ семейнымъ, у которыхъ пью чай и провожу вечеръ. Съ 9 часовъ вечера я начинаю свою прогулку, или бываю на общемъ гулянѣ, или самъ отправляюсь на разныя дачи. Въ 11 часовъ вечера гулянѣ прекращается, и я возвращаюсь домой, пью чай, если нигдѣ не пилъ (вамъ не должно это казаться позднимъ: я не ужинаю); иногда прихожу домой часовъ въ 12 или въ 1 часъ, и въ это время еще можно видѣть толпу гуляющихъ. Ночей, какъ вамъ известно, здѣсь нѣть; все свѣтло и ясно, какъ днемъ,

<sup>1)</sup> Въ іюлѣ мѣсяцѣ прибылъ еще нѣжинецъ Ваня Пашенко, который въ этомъ только (1830) году окончилъ курсъ и поселился вмѣстѣ съ Гоголемъ и Прокоповичемъ.

только что нѣть солнца. Вотъ вамъ описаніе моего лѣтняго днія».

Описаніе дня, но не ночи; а сколькоочныхъ часовъ уходило у него еще на его «обширный трудъ»!

На дворѣ стояла уже осень, а въ четвертомъ этажѣ дома каретника Іохима въ Столлярномъ переулкѣ попрежнему царила весна:

«Служба моя идетъ очень хорошо; начальники мои всѣ прекрасные люди», повторялось и въ письмѣ отъ 1-го сентября.

За окномъ крутились хлопья первого снѣга, а въ комнаткѣ молодого писателя щебетала уже цѣляя стая пѣвчихъ птицъ. Оставалось только выпустить ихъ на свѣтъ Божій...

Въ одинъ табельный день по извилистому каменному лабиринту безконечныхъ коридоровъ и переходовъ Шепелевскаго дворца (часть нынѣшняго новаго Эрмитажа, у Зимней канавки) шагалъ рослый, на славу откормленный придворный лакей въ красной ливреѣ съ галунами, а слѣдомъ за нимъ семенилъ маленькими шажками очень невысокій, щедушный и просто одѣтый молодой человѣкъ съ довольно объемистымъ бумажнымъ пакетомъ подъ мышкой.

— Да приметь ли меня еще Василій Андреевичъ?

Великолѣпный великанъ вполъ-оборота черезъ плечо оглянулся на скромнаго карлика.

— Василій-то Андреевичъ? Га! Да у нихъ тутъ на лѣстницѣ каждое утро толчется всякаго сброду и попрошаекъ видимо-невидимо. Никому нѣть отказу. Словно и не генералъ!

Когда они поднялись въ третій этажъ, откуда-то изъ полутемнаго коридора донесся къ нимъ прежалобный пискъ скрипки.

— Опять запиликалъ! — проворчалъ роскошный вожатый.

— Кто жъ это упражняется?

— Да Григорій, камердинеръ Василія Андреевича: купилъ себѣ, вишь, на толкучемъ скрипцу за два двугривенныхъ и дереть теперь, знай, барину уши круглый день, а тотъ по ангельскому малодушію хошь бы что!

Съ этими словами говорящій остановился у двери съ надписью: «Василій Андреевичъ Жуковскій» и дернулъ колокольчикъ съ такой силой, что скрипка разомъ умолкла.

— Проведи-ка ихъ благородіе къ своему барину,—величественно кивнулъ онъ открывшему дверь камердинеру на молодого гостя и, принявъ, какъ-бы изъ снисхожденія, двугривенный, сунутый ему послѣднимъ въ руку, ушелъ опять своей дорогой.

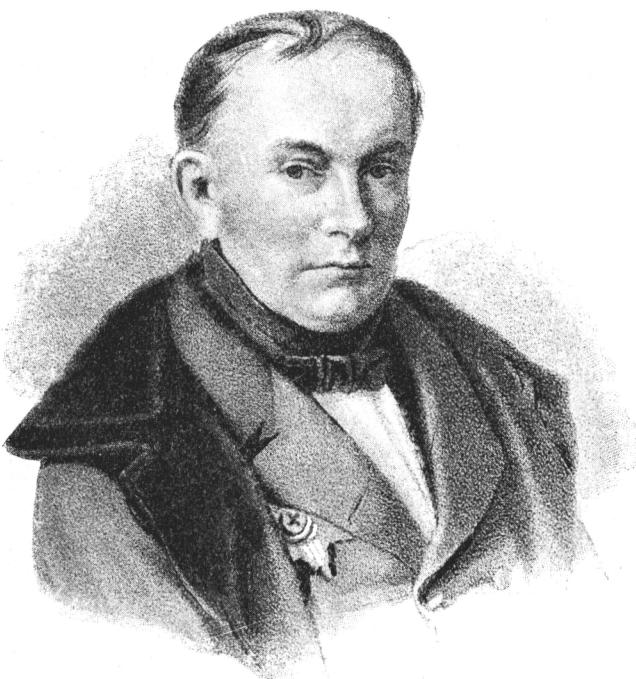
Жуковскій былъ въ своемъ кабинетѣ и стоялъ за длинной конторкой съ перомъ въ руцѣ. На шумъ шаговъ онъ поднялъ голову, и задумчиво-важное лицо его освѣтилось привѣтливой улыбкой. Онъ сдѣлалъ два шага навстрѣчу молодому гостю и, какъ добруму знакомому, подалъ ему руку.

— Всякому новому посѣтителю я сердечно радъ,—промолвилъ онъ: — пріобрѣль, значитъ, еще одного доброжелателя. Съ кѣмъ имѣю честь?..

— Фамилія моя—Гоголь и вамъ ничего не объяснить; но у меня къ вамъ рекомендательное письмо...

Отъ кого было оно? Отвѣтить на это мы не умѣемъ: свѣдѣній о томъ не сохранилось. Да и не все ли равно? Податель письма нуждался не столько въ рекомендациі, сколько въ предлогѣ добраться до адресата. А тотъ, очевидно, такъ и понялъ, потому что, взглянувъ только на подпись, отложилъ письмо въ сторону и ни словомъ не упомянулъ уже о писавшемъ.

— Присядьте, пожалуйста, — сказалъ онъ, пододвигая стулъ.—Устали, я думаю, подымаясь на наши горныя высы? Нашему брату холостяку чердашничать самъ Богъ велить; лишь бы устроиться поуютнѣй. Особенную уютность жилищу придаютъ, я нахожу, картины, къ которымъ, какъ и къ музыкѣ, я питалъ большую слабость. Цѣню я не столько даже искусство живописца, сколько *Sinnung*, какъ говорятъ нѣмцы, настроеніе картины. Вотъ хоть бы этотъ ландшафтъ кисти Фридриха—лунная ночь на еврейскомъ кладбищѣ—для знатокъ не имѣть, пожалуй, художественнаго значенія, но для



Василій Андреевичъ

ЖУКОВСКІЙ.



меня, дебютировавшаго нѣкогда кладбищенскою же элегіей <sup>1)</sup>, эта картина—постоянный, неистощимый источникъ грустныхъ, но уладительныхъ мечтаний.

Нѣть, какова доброта, деликатность! Нарочно вѣдь съ первыхъ же словъ вводить тебя въ свои личные, самые интимные интересы, чтобы ты «оттаялъ». По виду-то онъ вовсе не похожъ уже на мечтателя: тѣломъ пріятно-дороденъ, вмѣсто романтическихъ кудрей, почти оголенное темя едва прикрыто рѣдкими прядями шелковисто-мягкихъ волосъ, а что до морщинъ, этихъ строкъ, которыя вписываютя неумолимою рукой судьбы на каждомъ челѣ, и между которыми опытному взору не трудно прочесть много тяжелаго и горькаго, то на молочно-блѣломъ лицѣ поэта-романтика, несмотря на его зрѣлый возрастъ <sup>2)</sup>, удивительное дѣло, нѣть еще ни одной морщинки, и каждая черта его дышитъ такимъ прямодушнымъ, искреннимъ благоволеніемъ, изъ темныхъ слегка склоненныхъ по-азіатски глазъ (мать его была вѣдь турчанка) просвѣчиваетъ такая хрустально-чистая душа...

«Смѣлѣе, смѣлѣе, милый мой!—какъ-будто говоритъ этотъ добрый взглядъ:—Вѣдь мы же братя: я—старшій, ты—младшій; и въ тебѣ, я знаю, какъ во всѣхъ людяхъ-братьяхъ, теплится святая искра Божія; надо ее только умѣючи раздуть. Вотъ я и раздуваю. Ну же, ну, смѣлѣе!»

И Гоголь разомъ пріободрился, не стѣсняясь брякнулъ, что вотъ явился къ нему, какъ къ отцу литературы...

— Кѣ крестному развѣ?—улыбнулся Жуковскій.—Хотя вопросъ еще: есть ли вообще у насъ литература?

— Но вы сами, Василій Андреевичъ, Пушкинъ, Грибоѣдовъ, Батюшковъ, Крыловъ, Державинъ...

— Да, у насъ есть отдѣльные, весьма талантливые, можетъ-быть даже геніальные поэты (о себѣ я не говорю: я болѣе переводчикъ), но гдѣ же у насъ, скажите, прозаики: романисты

<sup>1)</sup> Первое печатное произведеніе Жуковскаго—«Сельское кладбище», переведенное изъ Грея.

<sup>2)</sup> Въ 1830 году Жуковскому было уже 47 лѣтъ.

и драматурги, критики и ораторы, историки и философы? Въ полной литературѣ должны быть представлены всѣ музы, какъ всѣ искусства въ совокупности только составляютъ одинъ художественный циклъ. Литературу какого-нибудь народа я сравнилъ бы съ лѣсомъ, состоящимъ изъ деревьевъ высокихъ и низкихъ, изъ кустарниковъ и мелкихъ растеній: цветовъ и травъ, грибовъ и мховъ. Десятокъ деревьевъ: ель, дубъ, береза, рябина, липа, или даже два-три десятка—составляютъ только маленькую кущу, рощицу среди необозримой поляны. Вотъ поэтому-то я придаю особенное значеніе писателямъ второстепеннымъ и третьестепеннымъ и привѣтствую всякое нарождающееся дарованіе. Мнѣ не было бы, повѣрьте, лучшаго удовольствія, какъ привѣтствовать въ числѣ ихъ и васъ,—отечески-ласково заключилъ Жуковскій, поглядывая на толстый пакетъ, который юный гость его все время судорожно мялъ у себя на колѣняхъ.—У васъ это что?

— Сборникъ разсказовъ...

— И вы желали бы, чтобы я еще до печати просмотрѣлъ ихъ?

— Да-съ...

— Я сдѣлаю это весьма охотно. Но имѣйте въ виду, что я не господинъ своего времени, что вамъ придется подождать, быть-можеть, даже довольно долго.

— Вы состоите, кажется, при наследникѣ?

— Да, я руковожу всѣмъ его ученьемъ.

— Но сами, конечно, знакомите его съ роднымъ языкомъ?

— Нѣть, я предоставилъ это одному изъ добрыхъ друзей моихъ—Петру Александровичу Плетневу.

— Кому Пушкинъ посвятилъ своего «Онѣгина»?

— Да, и посвятилъ не безъ основанія. Плетневъ хоть и не писатель по профессіи, но глубокій знатокъ словесности. Самъ Пушкинъ настолько цѣнитъ его литературный вкусъ, что по его указаніямъ исправляетъ свои стихи. Вы назвали меня отцомъ литературы; ужъ коли кому приличествуетъ этотъ титулъ, такъ Плетневу. Знаете ли что, г-нъ Гоголь? Чѣмъ ждать

вамъ, пока я соберусь просмотрѣть ваши рассказы, не проще ли вамъ обратиться теперь же къ Плетневу? Онъ сдѣлаетъ это, я убѣжденъ, и скорѣе, и совершеннѣе меня.

— Но я съ нимъ вовсе не знакомъ...

— А со мной вы развѣ были знакомы?

— Къ вамъ у меня была хоть рекомендація.

— Такъ и я дамъ вамъ къ нему записочку.

Минуту спустя новая записочка была въ карманѣ Гоголя.

Попалъ онъ къ Плетневымъ, оказалось, не совсѣмъ кстати: они сидѣли за обѣденнымъ столомъ (по случаю праздничнаго дня часомъ раньше обычновеннаго), и горничная, взявъ у гостя записку Жуковскаго, самого его провела въ кабинетъ барина.

Сейчасъ тоже видно обиталище «книжнаго» человѣка, но, вмѣсто рѣзныхъ, полированныхъ, палисандроваго дерева книжныхъ шкаповъ, по стѣнамъ, сверху до низу, открытыя полки, полки да полки съ плотными рядами книгъ; на окнахъ, вмѣсто тяжелыхъ штофныхъ гардинъ, простыя бѣлые шторы, впускающія массу трезваго дневного свѣта; на незатѣйливомъ, но умѣстительномъ письменномъ столѣ никакихъ дорогихъ бездѣлушки, однѣ необходимыя письменныя принадлежности да прекрасно исполненный портретъ блѣднолицей дамы,—безъ сомнѣнія, жены; а въ глубинѣ комнаты надъ диваномъ также картина—сельскій ландшафтъ, но въ простой черной рамкѣ, подъ стекломъ, и исполненный не масляными красками, а гуашью.

«То-же тяготѣніе къ матери-природѣ, что у друга его Жуковскаго», подумалъ Гоголь, подходя къ картинѣ, представлявшей раскинутое на берегу многоводной рѣки село съ деревянною церковью, около которой, надъ обрывомъ, укромно ютился среди фруктоваго сада домъ священника. «Ужъ не родительской ли домъ его?»

— Это моя родина на Волгѣ,—раздался вдругъ негромко, но такъ неожиданно отвѣтъ на мысленный вопросъ надъ самыми ухомъ погруженного въ созерцаніе картины, что онъ вздрогнулъ и быстро обернулся.

Передъ нимъ стоялъ самъ Плетневъ, который и обувь но-

силъ нарочно, должно быть, безъ каблуковъ, чтобы никого не беспокоить. Не приглашая гостя сѣсть, онъ принялъ отъ него рукоились и положилъ на столъ.

— Сегодня же, какъ немножко отдохну,—сказалъ онъ,— примусь за ваши разсказы. На поляхъ, если позволите, я буду дѣлать карандашемъ помѣтки...

— Объ этомъ именно я хотѣлъ просить васъ. Я—малороссъ и потому не вполнѣ еще, пожалуй, усвоилъ себѣ обороты великорусской рѣчи...

— Слогъ вамъ исправлять я во всякомъ случаѣ не стану: каждый писатель прежде всего долженъ быть самимъ собой. И вы меня не слишкомъ торопите. Зайдите какъ-нибудь на той недѣлѣ вечеркомъ къ чаю, только не въ субботу: субботы принадлежать Жуковскому.

Пріемъ былъ тоже простъ, но далеко не задушевенъ. Ужели онъ будетъ таковъ же и по прочтеніи разсказовъ?





Петръ Александровичъ  
ПЛЕТНЕВЪ.





## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

### Подъ скальпелемъ критики.

---

**П**а, на этотъ-то разъ Плетневъ принялъ его совсѣмъ иначе! Онъ подвелъ его за руку къ дивану и, все не выпуская руки, усѣлся съ нимъ рядомъ.

— Разскажите-ка мнѣ, гдѣ вы родились, гдѣ воспитывались?

Узнавъ то и другое, онъ тихонько вздохнулъ.

— Вы имѣли счастье уже въ ранніе годы проникнуться духомъ родной литературы. Мнѣ, замкнутому въ стѣнахъ духовной семинаріи, счастье это далось значительно позже, и, тѣмъ не менѣе, я обѣ этомъ не особенно жалѣю, потому что за-то классический міръ Гомера и Виргилія, наполнявшій, веселившій мое дѣтство, продолжавшій услаждать меня и по переходѣ въ педагогической институтъ, доселѣ звучить для меня какою-то родною музыкой.

— Какъ-то не вѣрится, Петръ Александровичъ, чтобы вы предпочитали когда-нибудь Гомера и Виргилія русскимъ поэтамъ! Какъ же вышелъ изъ васъ такой словесникъ?

— Да какіе же были у насъ тогда поэты? Жуковскій и Батюшковъ едва начинали только настраивать свои лиры. Быть, правда, Державинъ; но пышные цвѣты его придворной музы были не по мнѣ, деревенскому мальчику. Гораздо ближе были мнѣ скромные полевые цвѣты Дмитріева. Множество затрагиваемыхъ имъ предметовъ, драгоценныхъ для русскаго сердца, шутки оstryя, но благородныя—привлекали мальчика, разви-

вали въ немъ литературный вкусъ, обогащали память... Да, есть неизъяснимая сладость въ тѣхъ воспоминаніяхъ, которыя уносятъ насть къ началу нашихъ умственныхъ трудовъ. Это первая чистая любовь, врожденное желаніе совершенства, благодатный источникъ нравственныхъ началъ, нерѣдко иллюзій, но самыхъ чистыхъ, окрыляющихъ духъ къ подвижничеству...

Пока Плетневъ говорилъ это, Гоголь имѣлъ полный досугъ ближе разглядѣть черты его лица. Онъ дышали тѣмъ-же благодушіемъ, какъ у Жуковскаго, глаза глядѣли такъ-же честно и прямо, но, вмѣсто самоувѣренной благости и какъ-бы юношеской игривости, въ нихъ свѣтилась какая-то необычайная кротость, христіанско смиреніе. Они могли и улыбаться, но не искрились, не зажигали въ собесѣдникѣ яркаго огня веселости, а обвѣвали его лишь мимолетнымъ тепломъ. То быль не лучезарный закатъ, а пріятный сѣренъкій и тепленъкій денекъ.

— Но не заняться ли намъ теперь нашимъ дѣломъ? — прервать тутъ Плетневъ самъ себя и, вставъ, перенесь съ письменного стола лампу, вмѣстѣ съ знакомою рукописью, на преддиванный столъ.

— Я отвлекъ васъ, кажется, отъ дѣла? — сказалъ Гоголь, указывая на огромные листы, разложенные на письменномъ столѣ. — Вы были заняты корректурой?

— Да, но она не такъ уже къ спѣху, хотя рѣдко, признаться, я вѣрь корректуру съ такимъ наслажденіемъ!

— А что это такое, смѣю спросить?

— Новая драма Пушкина — «Борисъ Годуновъ».

— Такъ наконецъ-то ее разрѣшили напечатать!

— И притомъ безъ всякихъ урѣзокъ. 1-го января она будетъ преподнесена публикѣ въ видѣ новогодняго подарка. Такого подарка давно ей не было — нѣчто шекспировское!

— И посвящается, вѣроятно, опять вамъ, Петръ Александровичъ?

— Нѣть, памяти Карамзина; въ самомъ посвященіи указывается, что «сей трудъ гeniemъ его вдохновленъ». Что-то скажутъ недруги Пушкина — Булгаринъ съ компаніей?

— Зашипать, конечно, а самихъ ихъ, какъ змѣй, и мечь не береть: разсѣчешь на-двоє—сростаются.

— Да, много труда даютъ себѣ эти господа возвеличить своего брата—мелкаго человѣка, а еще болѣе—умалить великаго; послѣднее даже легче въ глазахъ толпы, потому что всякое пятно, всякая заплата куда виднѣе на пышномъ нарядѣ, чѣмъ на рубищѣ. Самому Пушкину впрочемъ пока не до враговъ: впереди у него семейное счастье.

— Онъ женится?

— Да, и на первой красавицѣ московской—Гончаровой.

— Дай ему Богъ! Такъ онъ теперь въ Москвѣ?

— Былъ тамъ до первыхъ чиселъ сентября. Но потомъ, чтобы привести передъ свадьбой въ нѣкоторый порядокъ свои денежныя дѣла, отправился въ свое нижегородское имѣніе Болдино да тамъ и застрялъ: по слухамъ холеры вокругъ Москвы устроенъ строгій карантинъ.

— И бѣднаго жениха не пускаютъ къ невѣстѣ? То-то, я чай, стосковался!

— Не думаю: это удивительно уравновѣшенная натура. Въ письмахъ своихъ онъ по крайней мѣрѣ шутить не разучился. Могу дать вамъ сейчасъ образчикъ его настроенія.

Письмами Пушкина Плетневъ, видно, очень дорожилъ, потому что они хранились у него отдельно, и подѣлиться ихъ содержаніемъ съ другими доставляло ему, повидимому, особенное удовольствіе.

— Вотъ, что онъ, напримѣръ, пишетъ мнѣ: «Около меня колера морбусъ. Знаешь ли, что это за звѣрь? Того и гляди, что забѣжитъ и къ намъ въ Болдино да всѣхъ насъ перекусаетъ; того и гляди, что къ дядѣ Василью отправлюсь<sup>1)</sup>; а ты и пиши мою біографію. Бѣдный дядя Василій! Знаешь ли его послѣднія слова? Пріѣзжаю къ нему, нахожу его въ забытьи; очнувшись, онъ узналъ меня, погоревавъ, потомъ, помолчавъ: «какъ скучны статьи Катенина!» и болѣе ни слова. Каково?

<sup>1)</sup> Василій Львовичъ Пушкинъ скончался въ Москвѣ въ томъ же 1830 году.

Вотъ, чѣдъ значить умереть честнымъ воиномъ на щитѣ, le cri de guerre à la bouche!.. Ты не можешьъ вообразить, какъ весело удрачъ отъ невѣсты да и засѣсть стихи писать. Жена не то, что невѣста. Куда, жена свой братъ. При ней пиши сколько хочешь. А невѣста пуще цензора Щеглова языки и руки связываетъ... Сегодня отъ своей получилъ я премиленькое письмо. Зоветъ меня въ Москву—я пріѣду не прежде мѣсяца, а оттолѣ къ тебѣ, моя радость. Чѣдъ дѣлаешь Дельвигъ, видишь ли ты его? Скажи ему, пожалуйста, чтобы онъ мнѣ припасъ денегъ, деньгами нечего шутить, деньги вещь важная,— спроси у Канкрина<sup>1)</sup> и у Булгарина. Ахъ, мой милый! Что за прелестъ здѣшняя деревня, вообрази: степь, сосѣдей ни души; єзди верхомъ сколько душѣ угодно, пиши дома сколько вздумается, никто не помѣшаетъ. Ужъ я тебѣ приготовлю всячины, и прозы, и стиховъ». — Такъ вотъ какъ онъ проводить свое время въ деревнѣ,— заключилъ Плетневъ, бережно складывая опять письмо друга-поэта и пряча на прежнее мѣсто.— Баронъ Дельвигъ молить только Бога, чтобы карантинъ задержалъ Пушкина въ Болдинѣ мѣсяца три: тогда его «Литературная Газета» будетъ обеспечена прекраснѣйшимъ материаломъ на цѣлый годъ. Пушкинъ, коли разъ засядеть, такъ напишетъ въ десять разъ болѣе, да и лучше всякаго другого<sup>2)</sup>. Теперь, однако же, обратимся отъ Пушкина къ вамъ...

— Отъ великаго къ смѣшному!— досказалъ въ нѣсколько минорномъ тонѣ Гоголь.

<sup>1)</sup> Тогдашній министръ финансовъ.

<sup>2)</sup> Мольба барона Дельвига была какъ будто услышана: Пушкинъ два раза тщетно порывался пробраться сквозь карантинъ въ Москву и только въ началѣ декабря былъ, наконецъ, туда впущенъ. Зато эти три мѣсяца дали ему небывало-обильную литературную жатву: онъ окончилъ двѣ послѣднія главы «Онѣгина» и написалъ (вчернѣ) стихотворную повѣсть «Домикъ въ Коломнѣ», четыре драматическія поэмы: «Моцартъ и Сальери», «Скупой рыцарь», «Пиръ во время чумы» и «Донъ-Жуанъ», пять повѣстей Бѣлкина и до 30-ти мелкихъ стихотвореній. Но самому Дельвигу не пришло уже пользоваться плодами музы своего лицейскаго друга: давно недомогая, онъ былъ окончательно сраженъ времененнымъ запрещеніемъ его «Литературной Газеты» и умеръ вслѣдъ за тѣмъ (14-го января 1831 г.).

— И смѣшное можетъ быть велико; вспомните хоть «Донъ-Кихота». У васъ здѣсь, оказывается, одна вещь уже въ печатномъ видѣ...

— Да, «Вечеръ наканунѣ Ивана Купала»; но Свињинъ позволилъ себѣ въ ней безъ моего согласія столько измѣненій, что я ее заново переработалъ.

— И хорошо сдѣлали: большую часть вашихъ передѣлокъ я могу только одобрить. Особенно выдвинулся у васъ теперь характеръ главнаго героя, хотя, по правдѣ сказать... вы не взыщете, если я буду говорить вамъ одну чистую правду?

— Напротивъ. Не странно ли, право, что мы извиняемся, когда говоримъ правду...

— А не извиняемся, когда лжемъ? Потому что пріятную ложь намъ охотно прощаются, а горькую правду нѣтъ. Итакъ, говоря откровенно, мнѣ сдается, что при переработкѣ этого рассказа вы были подъ вліяніемъ повѣсти Тика «Liebeszauber» — «Чары любви».

Гоголь покраснѣлъ и долженъ былъ сознаться, что, дѣйствительно, не такъ давно прочелъ повѣсть Тика<sup>1)</sup>.

— Вы не смущайтесь,— успокоилъ его Плетневъ,— разсказать вашъ отъ этого во всякомъ случаѣ только выиграль. Пчела беретъ медъ изъ всякаго цвѣтка, не причиняя ему вреда.

— Но все-таки могутъ сказать, что я пою съ чужого голоса.

— Природа нигдѣ не повторяется, и едва ли есть на свѣтѣ двѣ мухи, совершенно сходныя между собою. То же и съ оригиналыми писателями. Въ общемъ вы самобытны и никому не подражаете; а это я цѣню въ васъ всего выше. Многое у васъ, правда, еще не додумано, не додѣлано, словомъ — не до-зрѣло. Вамъ надо серьезно поработать надъ собою. Писатель постоянно долженъ помнить, что онъ пишеть не для себя, а для тысячей другихъ людей, что если онъ на какой-нибудь частный раутъ не является въ халатѣ, нечесаннымъ, небритымъ, то тѣмъ менѣе ему позволительно являться въ такомъ

<sup>1)</sup> Она была напечатана въ журналѣ Раича «Галатея» 1830 г.

неприглядномъ видѣ передъ всей читающей Россіей. Если вы желаете, чтобы васъ читали и черезъ 10 лѣтъ, быть можетъ, даже послѣ вашей смерти,—вы должны взвѣшивать каждое ваше выраженіе, каждое слово. И относясь къ вашимъ рассказамъ съ этой точки зрѣнія, я долженъ сказать вамъ, что они меня далеко не удовлетворяютъ. Лучше теперь же тонкимъ скальпелемъ эстетической критики удалить всѣ болѣзnenные нарости.

— Чтобы потомъ журнальные живодеры своими кухонными ножами не вырѣзали вмѣстѣ и лучшіе куски здороваго мяса? — досказалъ Гоголь.

— А вы все еще не можете простить Свинину? Онъ принесъ вамъ пользу уже тѣмъ, что заставилъ васъ внимательнѣе отнестись къ своей работе.

И тѣмъ же ровнымъ, можетъ быть, еще болѣе ласковымъ тономъ критикъ-эстетикъ началъ комментировать свои загадочные вопросительные и восклицательные знаки, которыми были испещрены чуть ли не всѣ страницы рукописи молодого автора.

Тутъ скрипнула дверь, и въ комнату заглянула блѣдная дама, въ которой Гоголь тотчасъ призналъ оригиналъ того портрета, который обратилъ въ первый разъ его вниманіе на письменномъ столѣ хозяина.

— Жена моя,—рекомендовалъ ее Плетневъ гостю.—Что скажешь, милая?

Застѣнчиво и молчаливо отвѣтивъ на поклонъ Гоголя, хозяйка наклонилась къ уху мужа.

— Да, да, лучше сюда, мой другъ,—отвѣчалъ Плетневъ:—мы долго еще не кончимъ.

Вслѣдъ за горничною, принесшую имъ чай, вошла дѣвочка съ сухарницей, наполненной всякимъ печеньемъ и буттербродами.

— Моя единственная, совсѣмъ въ маму,—съ нѣжностью проговорилъ Плетневъ и потрепалъ дочку по щекѣ.—А ты все еще не спишь?

— Манечка тоже не спить,—тихонько отвѣчала дѣвочка, изъ-за плеча отца украдкой поглядывая на гостя.

— Это ея кукла,—съ улыбкой пояснилъ Плетневъ гостю.— Такъ ты бы ее уложила.

— Да ей еще не хочется.

Отецъ беззвучно разсмѣялся.

— Въ самомъ дѣлѣ? Ну, можетъ быть, теперь и захочется: поди, посмотри.

Онъ поцѣловалъ дочку въ лобъ и осѣнилъ крестомъ.

— Вы не повѣрите,—обратился онъ къ Гоголю, когда она на цыпочкахъ опять вышла,—какъ этаکая дѣтская наивность утѣшаешь, освѣжаешь родительское сердце! точно самъ вдругъ опять молодѣшь.

И онъ съ новыми силами принялся за свои комментарій. Уже близко къ полночи была просмотрѣна послѣдняя тетрадка.

— Ну, вотъ,—заключилъ Плетневъ, проводя ладонью по утомленному лицу и слегка отдуваясь:—если имѣете что возразить, то, сдѣлайте милость, говорите: и мнѣ, какъ всякому, свойственно ошибаться.

— Чѣмъ я могу возразить?—прошепталъ упавшимъ голосомъ Гоголь.—Всѣ ваши замѣчанія безусловно вѣрны, и я понимаю, что вы могли бы еще многое замѣтить, но по добротѣ своей меня пощадили. Вотъ Пушкинъ выработался самъ собой, безъ чужой указки...

— Нѣть, Жуковскій былъ его главнымъ учителемъ, пока самъ не призналъ себя побѣжденнымъ. Мнѣ припоминается одинъ случай,—продолжалъ Плетневъ, безстрастныя черты которого при этомъ нѣсколько опять оживились.—Жилъ Василій Андреевичъ тогда еще не во дворцѣ (онъ былъ еще простой смертный), а въ Коломнѣ, у Кашина моста, въ семействѣ своего деревенского друга Плещеева. Но по субботамъ у него и тогда уже собирался литературный кружокъ: Пушкинъ, Дельвигъ, Вѣземскій, Баратынскій... Василій Андреевичъ взялъ привычку—при исправленіи своихъ стиховъ въ перебѣленной уже тетради не зачеркивать забракованныя строки, а заклеивать сверху полосками бумаги. И вотъ, однажды, когда онъ прочитывалъ намъ такие исправленные стихи, кто-то изъ присут-

ствующихъ замѣтилъ, что прежняя редакція стиховъ была удачнѣе, и сорвалъ наклеенную бумажку. Вдругъ смотримъ, чѣмъ такое? Пушкинъ лѣзетъ подъ столъ за бумажкой и прятать ее въ карманъ съ важнымъ видомъ: «Чѣмъ Жуковскій бросаетъ, тѣ намъ еще пригодится!»

Гоголь не разсмѣялся, а только грустно усмѣхнулся.

— Пушкину-то хорошо такъ шутить, когда весь свѣтъ признается его громадный талантъ!

— И вашъ талантъ, Николай Васильевичъ, со временемъ, надѣюсь, признаются; но для этого, повторяю, вы должны быть своимъ собственнымъ критикомъ, передѣльвать по нѣсколько разъ тѣ, чѣмъ самимъ не нравится. Талантливому писателю это не можетъ представлять особеннаго труда: птицу не спрашиваютъ, трудно ли ей летать.

Плетневъ не выражалъ восторга, и впослѣдствіи Гоголь никогда не замѣчалъ, чтобы этотъ проницательный и невозмутимо-спокойный критикъ чѣмъ-либо шумно восхищался; только въ рѣдкихъ случаяхъ, именно, когда появлялось какое-нибудь художественное произведеніе его молодого друга—Пушкина, онъ, бывало, приходилъ въ тихое умиленіе. Но уже тотъ искренний отеческій тонъ, которымъ была произнесена эта умѣренная похвала, вызвалъ въ Гоголя сильный подъемъ духа.

— О, я готовъ залетѣть хоть за облака! — воскликнулъ онъ.— Такъ вы, Петръ Александровичъ, стало-быть, ни одной изъ моихъ вещей не бракуете?

— Гмъ... Посмотримъ, каковы онъ выйдутъ въ окончательной отѣлѣ. Кажется, что всѣ могутъ быть напечатаны. Во всякомъ случаѣ я не напечаталъ бы ихъ вмѣстѣ.

— А какъ же иначе?

— Да вотъ, четыре вашихъ крупныхъ рассказа: «Вечеръ наканунѣ Ивана Купала», «Сорочинская ярмарка», «Майская ночь» и «Страшная месть» носятъ всѣ одинъ и тотъ-же характеръ—легендарной Малороссіи. Ихъ я выпустилъ бы въ одной книжкѣ подъ какимъ-нибудь общимъ заглавиемъ. Объ этомъ мы еще потолкуемъ съ Жуковскимъ, какъ

и о томъ, выступить ли вамъ подъ своимъ собственнымъ именемъ или подъ псевдонимомъ.

— А что же сдѣлать съ остальными вещами?

— Да вѣдь все это мелочи, расходная монета, которая уронила бы цѣну всего сборника! Имъ мѣсто въ текущей литературѣ—въ журналахъ, гдѣ мы ихъ и пристроимъ.

И точно, благодаря Плетневу, всѣ мелкія статьи Гоголя были вскорѣ напечатаны въ альманахѣ «Сѣверные Цвѣты» и въ «Литературной Газетѣ», но съ разными подписями: «0000» (такъ какъ буква *o* въ подписи «Николай Гоголь-Яновскій» встречается четыре раза), «Г. Яновъ», «Глечикъ» (т.-е. Полковникъ Глечикъ—одно изъ дѣйствующихъ лицъ романа «Гетманъ») и одна только статья «Женщина»—за настоящимъ его именемъ, какъ-будто молодому автору не хотѣлось даже, чтобы читающая публика знала, что вся эта «расходная монета» вышла изъ однѣхъ и тѣхъ-же рукъ.

Какъ искренне сочувствовалъ ему столь сдержанній вообще Плетневъ, какъ вѣрилъ уже въ его талантъ и болѣе отзывчивый Жуковскій, когда ознакомился также съ его первыми опытами,—объ этомъ нагляднѣе всего свидѣтельствуютъ слѣдующія строки изъ письма Плетнева къ Пушкину въ Москву (отъ 22 февраля 1831 г.):

«Надобно познакомить тебя съ молодымъ писателемъ, который обѣщаетъ что-то очень хорошее. Ты, можетъ-быть, замѣтилъ въ «Сѣверныхъ Цвѣтахъ» отрывокъ изъ историческаго романа съ подписью 0000, также въ «Литер. Газетѣ»—«Мысли о преподаваніи географії», статью «Женщина» и главу изъ малороссійской повѣсти: «Учитель». Ихъ писалъ Гоголь-Яновскій... Жуковскій отъ него въ восторгѣ. Я нетерпѣливо желаю подвести его къ тебѣ подъ благословеніе. Онъ любить науки только для нихъ самихъ, и какъ художникъ готовъ для нихъ подвергать себя всѣмъ лишеніямъ. Это меня трогаетъ и восхищаетъ.»





## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

### Басня о сапожникѣ и пирожникѣ.

**О** средамъ у Плетнева сходились на чашку чаю его сослуживцы-педагоги и пріятели-литераторы. Однимъ изъ усерднѣйшихъ посѣтителей этихъ вечеровъ сталъ теперь и Гоголь. Самъ почти не раскрывая рта, онъ тѣмъ внимательнѣе наблюдалъ и слушалъ. Всего охотнѣе, конечно, слушалъ онъ Жуковскаго, который умѣлъ внести оживленіе и въ самую специальную тему.

Такъ, въ одну изъ средъ, когда однимъ изъ присутствовавшихъ педагоговъ было выражено сожалѣніе Жуковскому, что онъ, «русскій Тиртей», въ послѣдніе годы изъ-за своей службы при наследникѣ-цесаревичѣ не даритъ ничего новаго литературѣ, Жуковскій замѣтилъ, что никакой службы нельзя сравнить съ отвѣтственной задачей—воспитать будущаго Монарха къ управлению миллионами жизней.

«Да встрѣтить онъ обильный честью вѣкъ,  
Да славнаго участника славный будетъ,  
Да на чредѣ высокой не забудеть  
Святѣшаго изъ званій—человѣкъ!»<sup>1)</sup>

— И лучшаго наставника для будущаго царя-человѣка трудно было бы найти,—подхватилъ другой собесѣдникъ,—какъ по душевнымъ качествамъ, такъ и по образованію, учености...

<sup>1)</sup> Изъ посланія Жуковскаго Великой Княгинѣ Александрѣ Феодоровнѣ на рожденіе Великаго Князя Александра Николаевича—впослѣдствіи Царя-Освободителя Александра II.

— Чтобы быть наставникомъ наслѣдника престола, господа, мало быть обыкновеннымъ ученымъ,—отвѣчалъ Жуковскій:— надо быть ученымъ въ наукѣ человѣчества съ точки зрѣнія всѣхъ временъ и въ особенности своей эпохи. Когда мнѣ сдѣлали столь лестное предложеніе, я для самообразованія нарочно отправился въ Швейцарію—изучить на мѣстѣ методу Песталоцци. Возвратясь назадъ, я составилъ себѣ на весь курсъ ученія определенный планъ. Моему царственному воспитаннику было тогда всего 8 лѣтъ. До его двадцатилѣтняго возраста я разсчитывалъ закончить его воспитаніе и эти 12 лѣтъ распредѣлилъ на три периода: первый—отрочество, отъ 8-ми до 13-ти лѣтъ,—ученіе приготовительное, второй—юношество, отъ 13-ти до 18-ти лѣтъ,—ученіе подробное, и третій—первые годы молодости, отъ 18-ти до 20-ти лѣтъ—ученіе примѣнительное, когда воспитанникъ болѣе дѣйствуетъ самъ, не жели пріобрѣтаетъ отъ наставника, чтеніемъ немногихъ классическихъ книгъ: хорошія книги—вѣрнѣйшіе друзья человѣка.

— Но пока-то онъ еще не вышелъ изъ первого периода? Ему не минуло вѣдь еще и 13-ти?

— Да, онъ, такъ-сказать, готовится еще только къ путешествію: надо дать ему въ руки компасъ, познакомить съ картою, снабдить орудіями, разумѣя подъ компасомъ предварительное образованіе ума и сердца, подъ картою—краткія научныя знанія, а подъ орудіями—языки. По каждому предмету приглашены, разумѣется, извѣстные специалисты.

— А вы не боитесь, что они сдѣлаютъ изъ него кабинет-наго ученаго?

— О, нѣтъ. Мы хотія и даемъ ему всестороннее образованіе, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, развиваемъ, укрѣпляемъ также его тѣлесныя силы посредствомъ воинскихъ и гимнастическихъ упражненій, чтобы пріучить его всегда владѣть собою. На этомъ особенно настаиваетъ самъ Государь. Такъ въ прошломъ году лѣтомъ, на другой же день по возвращеніи Наслѣдника изъ Берлина, когда пришла отъ Паскевича депеша о нашей побѣдѣ надъ турками, Его Величество вызвалъ дивизіонъ артиллерій-

скаго училища для салютационной пальбы, и Цесаревичъ долженъ бытъ все время выстоять съ пальникомъ у орудія. А три дня спустя, онъ участвовалъ вмѣстѣ съ кадетами въ штурмѣ петергофскихъ каскадовъ. Ихъ Величества со свитой сидѣли на верхней площадкѣ. По командѣ Государя: «Разы! два! три!» кадеты въ перегонку съ крикомъ «ура!» стали карабкаться на крутизну, заливаемые бьющими имъ навстрѣчу каскадами; а наверху первые изъ нихъ получали призы изъ рукъ Императрицы.

Тутъ Гоголь не утерпѣлъ также вмѣшаться въ разговоръ:

— Но одного, Василій Андреевичъ, навѣрное все-таки нѣть въ вашей программѣ, чтѣ для меня составляетъ одно изъ самыхъ пріятныхъ воспоминаній моей школьнай жизни.

— Чѣдѣ же именно?

— Мы съ товарищами издавали рукописные журналы...

Жуковскій улыбнулся своей хорошей улыбкой.

— Вотъ вы и ошиблись,—сказалъ онъ:—и у насъ издается и даже печатается школьнай журналъ—«Муравейникъ».

— А кто же сотрудники Наслѣдника?

— Двѣ сестры его—Великія Княжны Марія Николаевна и Ольга Николаевна, и два его воспитанника: графъ Іосифъ Віельгорскій и Александръ Паткуль. Но Наслѣднику принадлежитъ между ними пальма первенства...

Бесѣда перешла снова на общія задачи воспитанія, и Гоголь на весь остатной вечеръ умолкъ. Но онъ выждалъ, пока не удалился послѣдній изъ другихъ гостей, а затѣмъ обратился съ просьбою къ Плетневу—быть отцомъ роднымъ и пристроить его гдѣ-нибудь по учебной части.

Плетневъ не мало удивился.

— Но вы, какъ чиновникъ, имѣете уже обеспеченный кусокъ хлѣба?—сказалъ онъ.

— Да Богъ съ нимъ, съ этимъ кускомъ, который въ горлѣ застриваетъ! Всѣ эти сослуживцы ваши, что были сейчасъ здѣсь, какъ вы, какъ Василій Андреевичъ, и душой, и тѣломъ преданы своему любимому дѣлу, а я изволъ погружаться до

макушки волосъ въ канцеляршину, отъ которой духъ захватываетъ, все внутри тебя такъ и переворачивается, какъ передъ морскою болѣзнью.

— Но господа эти—люди науки...

— Да и для меня нѣтъ ничего выше науки! Вы не повѣрите, съ какимъ наслажденiemъ я перечитываю теперь дѣянія народовъ, подвиги ума и труда. Что я и въ педагогикѣ не совсѣмъ профанъ, доказывается, мнѣ кажется, статья моя о преподаваніи географіи. Голубчикъ, Петръ Александровичъ! вы—вѣдь инспекторъ института; ну, чтѣ вамъ значитъ предоставить мнѣ хоть парочку уроковъ географіи или исторіи!

Плетневъ наступилъ и медлилъ отвѣтомъ: въ немъ происходила явная борьба.

— Богъ свидѣтель, какъ охотно я исполнилъ бы ваше желаніе,—произнесъ онъ наконецъ,—еслибы я былъ сколько-нибудь увѣренъ, что это принесетъ пользу и вамъ, и дѣлу. Къ наукѣ, въ строгомъ ея значеніи, наставнику надобно приготовиться въ возможномъ совершенствѣ,—что вы, Николай Васильевичъ, про себя пока едва ли можете сказать. Но это еще не все: можно знать хорошо науку и плохо ее преподавать. По другимъ путямъ гражданской дѣятельности идутъ въ сообществѣ съ товарищами, равными силою, лѣтами и назначениемъ. Не таково положеніе образователя юношества: стоя самъ въ центрѣ отдѣльного маленькаго міра, онъ обязанъ внести въ него все, чтѣ необходимо для сообщенія ему жизни, и трудится одинъ, предоставленъ самому себѣ.

— Въ народной школѣ, гдѣ всего одинъ учитель, оно, конечно, такъ; но въ институтѣ, Петръ Александровичъ, гдѣ по каждому предмету есть свой учитель, учителя эти могутъ идти также рука объ руку, особенно при содѣйствіи инспектора?

— Несомнѣнно; но тѣмъ не менѣе каждый изъ нихъ по своему предмету совершенно независимъ и несетъ полную отвѣтственность за успѣхи дѣтей. Уладить ихъ трудъ, разсѣять ихъ утомленіе, побѣдить ихъ скучу—на все должно стать его собственныхъ душевныхъ силъ. Мало того: чтобы возбужденная

имъ жизнь снова не охладѣла, не остановилась, онъ долженъ идти впередъ съ наукой, постоянно обновлять материалы. Отъ педагога, какъ видите, требуется полное самоотверженіе. Найдется ли оно у васъ?

— Я приложу всѣ старанія...

— И этому готовъ вѣрить. Человѣкъ благоразумный, съ характеромъ, свѣдущій и трудолюбивый, рано или поздно дойдетъ въ дѣлѣ воспитанія до нѣкоторой степени совершенства. Одного только качества при всемъ стараніи нельзѧ пріобрѣсти, если имъ не надѣлила васъ природа: я говорю о любящемъ сердцѣ, которое само собой, безъ усилий, безъ совѣтовъ благоразумія или опыта, безъ внѣшнихъ побужденій честолюбія, дѣйствуетъ такъ благотворно, такъ неизмѣнно, что всѣ тяжести на этомъ труднѣйшемъ поприщѣ переносятся легко и отрадно. Скажите по совѣсти, Николай Васильевичъ, положа руку на сердце: чувствуете ли вы въ себѣ такую беззавѣтную любовь къ подростающему поколѣнію?

Прямодушный взоръ Плетнева, казалось, хотѣлъ проникнуть въ самую глубь его души; Гоголь невольно отвелъ глаза.

— Сестрицъ своихъ я очень люблю,—промолвилъ онъ,— и не безъ удовольствія занимался съ ними... Другихъ дѣтей, признаюсь, мнѣ не приходилось еще учить.

— Вотъ видите ли! А помните крыловскую басню:

«Бѣда, коль пироги начнетъ печи сапожникъ,  
А сапоги тачать пирожникъ...»

— Да не сами ли вы, Петръ Александровичъ, говорили, что у меня есть нѣкоторый писательскій талантъ; а талантливый писатель, согласитесь, не сапожникъ?

— Не сапожникъ, но пирожникъ. А умѣете ли вы шить сапоги?

— Зачѣмъ же сапоги, помилуйте, для молодыхъ дѣвицъ? Я буду шить имъ башмачки, ботиночки, наисубтильные, какъ воздушное пирожное, чтобы первый шагъ ихъ въ жизнь былъ наивозможнѣй легокъ и граціозенъ.

Послѣднія слова свои Гоголь иллюстрировалъ такимъ «гра-

ціознымъ» жестомъ, что вызвалъ и на серьезномъ лицѣ Плетнева улыбку.

— Ну, вотъ,—сказалъ онъ,—не угодно ли пустить васъ послѣ этого въ наставники къ моимъ дѣвицамъ! Вы такъ еще юны...

— И такъ неотразимъ—Аполлонъ Бельведерскій! Того и гляди, что своей обворожительной персоной всѣмъ головы вскружу.

Плетневъ окинулъ «персону» молодого человѣка испытующимъ взглядомъ и молча прошелся взадъ и впередъ по комнатѣ.

— Въ этомъ-то отношеніи особенной опасности имъ, по-жалуй, не грозить,—проговорилъ онъ и, остановившись передъ Гоголемъ, положилъ ему на плечо руку.—Вотъ что, Николай Васильевичъ. Недавно мы въ Патріотическомъ институтѣ схоронили прекраснаго учителя исторіи—Близнецова, котораго замѣнить еще не удалось. Часть его уроковъ я поневолѣ поручилъ другому преподавателю, безъ того заваленному работой. Шесть уроковъ до времени я взялъ себѣ. Эти-то, такъ и быть, могу уступить вамъ. Осеню, быть-можетъ, откроются уроки и въ другихъ заведеніяхъ; а на лѣтнія каникулы, когда вы будете свободны отъ учебныхъ занятій, я постараюсь добыть вамъ мѣсто воспитателя въ какомъ-нибудь частномъ домѣ... Хорошо, хорошо! — остановилъ Плетневъ Гоголя, когда тотъ началъ-было благодарить.—Посмотримъ, какъ-то вы еще покажетесь нашей маман.

— Какой маман?

— А начальницѣ—Вистингхаузенъ.

— Да вѣдь выборъ учителей зависитъ, кажется, отъ васъ однихъ, какъ инспектора?

— Выборъ—да, но докладъ императрицѣ объ ихъ утвержденіи идетъ отъ начальницы. Наша Луиза Федоровна, впрочемъ, пропочтенная дама. Съ тѣхъ поръ, какъ она лишилась своихъ собственныхъ дѣтей: четырехъ дочерей и сына, она вся отдалась институту, и воспитанницы для нея—тѣ-же родные дѣти. Обѣдаетъ она вмѣстѣ съ ними за однимъ столомъ, спальню себѣ устроила нарочно около лазаретной комнаты съ

самыми трудными больными и ночью не разъ встаетъ съ постели, чтобы приглядѣть за ними, подать лекарство, утѣшить добрымъ словомъ. Она добра, но и строга — къ себѣ и къ другимъ.

— И къ учителямъ?

— Ихъ она также, разумѣется, не упускаетъ изъ виду съ воспитательной точки зрењія. Она у насъ вездѣсуща и всевѣдуща, а потому зачастую входитъ во время уроковъ въ классы.

— И дѣлаетъ учителямъ замѣчанія?

— Случается; но всегда уже по выходѣ изъ класса, чтобы не ронять старшихъ въ глазахъ дѣтей. Во всякомъ случаѣ вамъ придется прочесть въ ея присутствіи пробную лекцію.

— Ой, вай миръ!

Лицо Гоголя такъ испуганно при этомъ вытянулось, что Плетневъ счелъ нужнымъ его успокоить:

— Ну, можетъ-быть, и безъ того какъ-нибудь обойдемся.

И въ самомъ дѣлѣ, когда наступилъ день представленія Гоголя начальницѣ института, Плетневъ выбралъ такой моментъ, когда Луизѣ Федоровнѣ было не до новаго учителя. Въ встревоженномъ воображеніи Гоголя рисовалась высокая, дородная дама съ величественной осанкой, съ сверкающимъ взоромъ, въ родѣ нѣкотої сказочной королевы, а вмѣсто того онъ увидѣлъ передъ собою маленькую, горбатую старушку съ болѣзненно-блѣднымъ лицомъ, съ печальными и тусклыми глазами. Удручающе-грустный видъ ея усугублялся еще траурнымъ креповымъ чепцомъ и чернымъ платьемъ, которыхъ она не снимала со смерти своихъ дѣтей. На душѣ Гоголя нѣсколько полегчало; но Вистингхаузенъ тутъ же заговорила съ нимъ по-французски, и онъ, запинаясь, долженъ былъ извиниться, что недостаточно силенъ во французскомъ языкѣ. Тонкія, безкровныя губы старушки строго скжались.

— Будемъ надѣяться, что въ исторіи вы тѣмъ сильнѣе, — сказала она по-русски съ нѣмецкимъ акцентомъ. — Жалѣю только, что не могу быть сегодня на вашей первой лекціи.

— А мы, Луиза Федоровна, сдѣлаемъ сегодня воспитан-

ницамъ легонъкій экзаменъ,—ввернуль Плетневъ,—чтобы Николай Васильевичъ съ первого же дня получилъ понятіе о тѣхъ познаніяхъ, какія пріобрѣли онъ у его предшественника.

— Да, это будеть всего лучше.

Съ чиннымъ кивкомъ и съ тою же унылою миной Луиза Федоровна протянула новому подчиненному свою крохотную, сморщенную ручку, и тотъ съ угловатымъ поклономъ отретировался вслѣдъ за своимъ новымъ начальникомъ—инспекто-ромъ классовъ.

— А теперь къ вашимъ ученицамъ,—сказалъ Плетневъ и рядомъ коридоръ провелъ его въ классъ, наполненный дѣвочками-подростками, которымъ тутъ же его и отрекомендовалъ:—Николай Васильевичъ Гоголь. Прошу заниматься у него такъ же хорошо, какъ у покойного Близнецова.

Сидѣвшія за классными столами барышни въ платьяхъ однообразнаго покроя—съ открытыми шеями и короткими рукавами, въ бѣлыхъ пелеринкахъ и передникахъ съ нагрудниками, всѣ разомъ приподнялись съ мѣстъ и разомъ же отдали реверансъ.

«Ни дать, ни взять, вѣтерокъ пробѣжалъ по колосистой нивѣ», мелькнуло въ головѣ Гоголя; но въ тотъ же мигъ онъ долженъ былъ уже отвести взоръ, потому что у каждого колоса оказалась также пара прелюбопытныхъ глазъ, критически разглядывавшихъ «блѣднаго бѣлокураго молодого человѣка съ неизмѣримымъ хохломъ, съ большимъ острымъ носомъ, съ быстрыми карими глазами и съ порывистыми, торопливыми движеніями». (какъ описывала его впослѣдствіи въ своихъ воспоминаніяхъ одна изъ его ученицъ).

Не садясь, Плетневъ началъ предлагать вопросы изъ прошедшаго курса исторіи поочередно то одной, то другой ученицѣ. Отвѣты были въ общемъ очень удовлетворительны: имена и годы такъ и сыпались, какъ изъ рога изобилія.

«Скажите, пожалуйста! Задолбили сороки Якова про всякаго. А вотъ есть у меня, сударыни, еще одинъ орѣшекъ: раскусите, да язычка не прикусите».

— А не можете ли вы мнѣ сказать,—внезапно заговорилъ молчавшій до сихъ поръ Гоголь,—кто былъ Баръ Кохба?

— Баръ Кохба былъ знаменитый вождь евреевъ,—не задумываясь, отвѣчала спрошенная воспитаница и затараторила бойко, какъ по книжкѣ, что, въ 127 году по Рождествѣ Христовомъ, этаотъ «вождь» возмутилъ-де своихъ соплеменниковъ противъ римскаго гнета въ Сиріи и Іудеѣ; что въ сообществѣ съ книжникомъ Акибомъ онъ неоднократно побѣждалъ римлянъ, завладѣль Йерусалимомъ и провозгласилъ себя царемъ; что посланный противъ него императоромъ Адріаномъ Юлій Северъ разсѣялъ бунтовщиковъ, взялъ и сжегъ Йерусалимъ и, наконецъ, въ 135 г. разгромилъ послѣднюю твердыню евреевъ—Бетеръ; что при этомъ погибъ и самъ Баръ Кохба, но что изъ-за него успѣло ужъ погибнуть также до полумилліона его сородичей, а сколько ихъ было еще уведено въ неволю!

«Батюшки, сватушки, выносите, святые угодники! Не то коноплянка урчить въ полѣ, не то журавль въ небѣ турлыкаеть; а ужъ тумана книжнаго—ума помраченье! Въ ушахъ звенитъ, въ головѣ шумитъ»...

— Ну, что, не будетъ ли?—отнесся Плетневъ къ молодому учителю, замѣтивъ, что тотъ не задаетъ уже другихъ вопросовъ, а нервно покусываетъ только кончикъ своего бѣлаго носового платка.

— О, да! совершенно достаточно.

— Какъ вы нашли познанія нашихъ дѣвицъ?—поинтересовалась начальница, когда Гоголь передъ уходомъ зашелъ къ ней проститься.

Онъ настолько собрался уже съ духомъ, что отвѣчалъ довольно развязно:

— Познанія ихъ въ учебномъ отношеніи весьма даже систематичны, отдаю полную справедливость моему предметнику. Но систематичность въ исторіи легко переходитъ въ сухую схоластику и возбуждаетъ въ молодежи, особенно въ дѣвицахъ, отвращеніе къ самому предмету. Дѣло не столько въ хронологіи, сколько въ яркихъ историческихъ образахъ и кар-

тинахъ, чтобы вѣка давно минувшіе съ ихъ бытомъ, нравами и всѣмъ духовнымъ міромъ воочію возставали передъ юными слушательницами и запечатлѣлись въ ихъ памяти на цѣлую жизнь.

— Дѣвицы въ этомъ возрастѣ, дѣйствительно, впечатлительнѣе мальчиковъ...

— Впечатлительнѣе и воспріимчивѣе,—подхватилъ Гоголь,— а вмѣстѣ съ тѣмъ неопытнѣе и чище. Это-то учителю особенно дорого. Мнѣ невольно вспоминается, какъ я малымъ ребенкомъ получилъ въ подарокъ луковицу бѣлой ліліи. Въ мартѣ мѣсяцѣ она пустила уже ростки, и каждое утро я первымъ дѣломъ подбѣгалъ къ своей луковичкѣ—посмотрѣть, сколько у нея новыхъ листочековъ распустилось, отъ холоднаго окошка бережно переносилъ ее къ теплой печкѣ, а потомъ опять отъ темной печки къ свѣтлому окошку, къ божьему солнышку...

— И мои институтки, по вашему, такія же луковички бѣлыхъ лілій?—слабо улыбнулась Вистингхаузенъ.

— Именно, а вы, Луиза Федоровна, старшая садовница, растите ихъ и холите съ утра до поздней ночи, поливаете свѣжей водицей и грѣвте на весеннемъ солнышкѣ, пока не вырастите изъ нихъ прелестныхъ, пышныхъ лілій, себѣ на славу и людямъ на заглядѣніе!

— Съ вашею помощью, мосье Гоголь, потому что вы будете въ этомъ дѣлѣ, какъ я вижу, однимъ изъ моихъ усерднѣйшихъ помощниковъ,—благосклонно досказала Вистингхаузенъ, подавая ему руку.

— Цѣлуйте же,—шепнуль сзади Плетневъ, и Гоголь по-торопился приложиться.

— Выработается ли изъ васъ хороший садовникъ или дурной сапожникъ—покажетъ будущее,—шутливо замѣтилъ Плетневъ, когда они вышли опять отъ начальницы,—но пирожникъ вы и теперь хоть куда!

Тѣмъ же «пирожникомъ» выказалъ себя Гоголь затѣмъ и на дѣлѣ—на своихъ урокахъ исторії.

«Преподаваніе его было неровное, отрывочное,—говорить въ вышеупомянутыхъ воспоминаніяхъ своихъ его бывшая учени-

ница,—однихъ событій онъ едва касался, о другихъ же слишкомъ распространялся; главной заботой его была наглядность, живость представлений. Однажды, пробѣгая общимъ обзоромъ исторію Франціи, Гоголь схватилъ мѣль и, продолжая рассказывать, въ то же время чертилъ на черной доскѣ какія-то фигуры въ родѣ горъ, площадокъ и обрывовъ; на каждомъ подъемѣ или спускѣ писалъ имя государя, возвысившаго или уронившаго Францію; нась особенно удивила высокая скала, на подъемѣ, на верхушкѣ и на подошвѣ которой стояло одно и то же имя—Людовика XIV-го. Мы ахнули, а Гоголь весело засмѣялся: онъ достигъ своей цѣли—увлекъ нась».

Для большей наглядности онъ на слѣдующій урокъ прінесъ раскрашенныя картины временъ Людовика XIV. На другихъ урокахъ, смотря по тому, относились ли они къ исторіи древней или средней, онъ показывалъ ученикамъ рисунки, изображавшіе либо памятники древности, оружіе, одежду, домашнюю утварь древнихъ, либо готическіе соборы и замки, разряженныхъ дамъ и рыцарей. На одной и той же лекціи, въ порывѣ фантазіи, онъ, бывало, переносился изъ Рима въ Грецію, а оттуда въ Египетъ.

«Одна картина смѣялась другою,—говорится въ тѣхъ же воспоминаніяхъ,—едва дыша, слѣдили мы за нимъ и не замѣчали того, что ораторъ въ пылу разсказа дралъ перо, комкалъ и рвалъ тетрадь или опрокидывалъ чернильницу».

Одну изъ первыхъ его лекцій посѣтила и начальница. Присутствіе ея не могло не стѣснить его, и лекція, по собственному его мнѣнію, «не вытанцовалаась!» Каково же было ему вслѣдъ затѣмъ услышать отъ Плетнева, что онъ заслужилъ полное одобреніе Луизы Федоровны: «сейчасъ видна-де неиспорченная натура: застѣнчивъ, какъ красная дѣвица».

На другой же день, не выжидая еще доклада императрицѣ, Гоголь, явясь на службу въ департаментъ, подалъ начальнику отдѣленія прошеніе объ отставкѣ. Панаевъ не возлагалъ уже, должно быть, на него особыхъ надеждъ на государственномъ поприщѣ, потому что безъ всякихъ возраженій далъ его

прошению ходъ. Съ 9 марта 1831 г. Гоголь былъ уволенъ отъ службы въ департаментѣ удѣловъ, а 1 апрѣля состоялся высочайший указъ объ опредѣленіи его въ Патріотическій институтъ старшимъ учителемъ исторіи «со дня вступленія въ должность»—10 марта.

Что въ первое по крайней мѣрѣ время дѣятельность педагога была ему вполнѣ по душѣ—можно судить по слѣдующимъ строкамъ его къ матери (отъ 16 апрѣля): «Вмѣсто му-чительнаго сидѣнія по цѣлымъ утрамъ, вмѣсто 42 часовъ въ недѣлю, я занимаюсь теперь 6, между тѣмъ какъ жалованье даже немного болѣе; вмѣсто глупой, безтолковой работы, кото-рой ничтожность я всегда ненавидѣль, занятія мои теперь со-ставляютъ неизъяснимыя для души удовольствія».

«Обожать» Плетнева считали долгомъ поголовно всѣ во-обще воспитанницы; Гоголь отъ многихъ изъ нихъ также удо-стоился этой чести, хотя со временемъ его рвение замѣтно охладѣло. «Если онъ приходилъ не въ духѣ, то зѣвалъ, гово-риль вяло, не подымая глазъ, грызъ перо или кончикъ носо-вого платка, спрашивалъ слабыхъ, насмѣхался; не досиживая своихъ часовъ, бросалъ урокъ и уходилъ. Иногда недѣлями не являлся, и ему это спускали ради Плетнева».

Вслѣдъ за дебютомъ своимъ въ Патріотическомъ инсти-тутѣ Гоголю открылся случай, благодаря опять-таки Плетневу, а также, кажется, Жуковскому, испытать свои педагогическія способности и въ трехъ аристократическихъ домахъ: сперва Лонгиновыхъ и Балабиныхъ, а затѣмъ и Васильчиковыхъ.

«Первое впечатлѣніе, произведенное имъ на насть,—раз-сказываетъ младшій изъ трехъ учениковъ его Лонгиновыхъ,—было довольно выгодно, потому что въ добродушной физіономіи новаго нашего учителя, не лишенной, впрочемъ, какой-то на-смѣшилости, не нашли мы и тѣни педантизма, угрюности и взыскательности, которыя считаются часто принадлежностью званія наставника. Не могу скрыть, что, съ другой стороны, одно чувство приличія, можетъ быть, удерживало насть отъ поры-ва свойственной нашему возрасту смѣшилости, которую должна

была возбудить въ насъ наружность Гоголя и отрывистая рѣчъ, безпрестанно прерываемая легкимъ носовымъ звукомъ».

Хотя его пригласили къ Лонгиновымъ въ качествѣ преподавателя русскаго языка, но, къ немалому удивленію учениковъ, онъ на первомъ же урокѣ сталъ просвѣщать ихъ въ трехъ царствахъ природы, на второмъ—разговорился о географическомъ дѣлѣніи земли, о горахъ и рѣкахъ, а на третьемъ—далъ краткій обзоръ всеобщей исторіи.

— Когда же мы, Николай Васильевичъ, начнемъ уроки русскаго языка?—рѣшился спросить его старшій ученикъ.

— Да на что вамъ это, господа?—усмѣхнулся въ отвѣтъ Гоголь.—Въ русскомъ языкѣ первое дѣло—умѣть ставить *н* да *е*, а это вы и такъ уже знаете, какъ я убѣдился изъ вашихъ тетрадей. Выучить же писать гладко и увлекательно не можетъ никто: это дается природой, а не ученьемъ.

И уроки продолжались тѣмъ же порядкомъ: разъ толковали о естественной исторіи, въ другой—о географіи, въ третій—о всеобщей исторіи. Это не было правильное ученіе, но онъ рассказывалъ имъ такъ много нового, уснащалъ свой разсказъ веселыми анекдотами, иногда очень мало относившимися къ дѣлу, и самъ въ заключеніе такъ простодушно хохоталъ вмѣстѣ съ своими маленькими слушателями, что тѣ его скоро очень полюбили. Уроки происходили вечеромъ, сейчасъ послѣ обѣда, и потому Гоголь зачастую приходилъ уже къ обѣденному столу. Здѣсь онъ садился около своихъ учениковъ и подсыпалъ перцу къ ихъ дѣтской болтовнѣ. Только когда бывший тутъ же ихъ отецъ-сановникъ обращался къ нему вдругъ съ какимъ-нибудь вопросомъ, онъ, какъ облитый холодной водой, разомъ съеживался и умолкалъ.

Что касается затѣмъ занятій нашего педагога-пирожника у Балабиныхъ и Васильчиковыхъ, то обѣ этомъ будетъ сказано далѣе въ своемъ мѣстѣ.





## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

### Пасичникъ на Олимпѣ.

**О** мѣрѣ окончательной отѣлки своихъ четырехъ рассказовъ, Гоголь представлялъ ихъ на новый просмотръ Плетнева. Къ маю мѣсяцу всѣ четыре были одобрены, до отдачи ихъ въ цензуру оставалось только рѣшить: пустить ли ихъ въ публику подъ собственнымъ именемъ автора или подъ псевдонимомъ, а также придумать заглавіе для самого сборника. Въ обсужденіи первого вопроса принималъ живое участіе и Жуковскій; въ концѣ концовъ остановились на псевдонимѣ, предложенномъ Плетневымъ: «Пасичникъ Рудый Панько».

— Я предполагаю, что на вашемъ мѣстѣ и предисловіе отъ имени пасичника,—сказалъ онъ,—что записалъ онъ будто бы свои разсказы со словъ сосѣдей, собирающихся у него по вечерамъ на хуторѣ въ вашемъ Миргородскомъ уѣздѣ.

— Гдѣ-нибудь близъ Диканьки!—подхватилъ Гоголь.

— Прекрасная мысль. Съ легкой руки Пушкина Диканька извѣстна теперь всей грамотной Россіи:

«Прѣтетъ въ Диканькѣ древній рядъ  
Дубовъ, дружьями насажденныхъ;  
Они о праотцахъ казненныхъ  
Донынѣ внукамъ говорятъ».

— Такъ, значитъ, и окрестить мой сборникъ: «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки»?

— Такъ и окрестите. Чтобы не задержали въ цензурѣ, я самъ могу передать рукопись цензору Бутырскому, котораго знаю еще съ педагогического института.

— Онъ теперь, кажется, также профессоромъ въ здѣшнемъ университѣтѣ?

— Да, и большой эстетикъ, милѣйший и благороднѣйший человѣкъ. И такъ, я жду вашего предисловія.

Ждать Плетневу пришлось недолго: дня черезъ два Гоголь принесъ уже свое предисловіе и самъ прочиталъ ему его.

Читая, Гоголь по временамъ вскидывалъ исподлобья глаза на своего судью и видѣль, какъ спокойныя черты послѣдняго все болѣе оживлялись. Когда же пасичникъ въ заключеніе принялся расхваливать стряпню хуторскихъ бабъ: «Пили ли вы когда-либо, господа, грушевый квасъ съ терновыми ягодами или варенуху съ изюмомъ и сливами? Или не случалось ли вамъ подчасъ Ѳсть путрю съ молокомъ? Боже Ты мой, какихъ на свѣтѣ нѣть кушаньевъ! Станешь Ѳсть—объяденье, да и полно; сладость неописанная! Прошлаго года... Однакожъ, что я въ самомъ дѣлѣ разболтался?.. Пріѣзжайте только, пріѣзжайте поскорѣе; а накормимъ такъ, что будете рассказывать и встрѣчному и поперечному», — тутъ даже хладнокровный всегда Плетневъ не вытерпѣлъ и потрепалъ пасичника по спинѣ!

— Браво, браво! Вы такъ расписываете, что даже у нашего брата, горожанина, слонки потекутъ.

— Значитъ, вы, Петръ Александровичъ, одобряете?

— Ни слова ни прибавить, ни убавить.

— А у меня есть еще второе предисловище «Къ вечеру наканунѣ Ивана Купала» специально для Свиринина.

— Это для чего?

— Для того, чтобы отблагодарить его за непрошеннаго поправки.

Миролюбивому Плетневу такая злопамятность была совсѣмъ не по душѣ.

— Ну, полноте, любезный Николай Васильевичъ! — сказалъ онъ. — Кто старое вспомянеть, тому глазъ вонъ.

— Да вѣдь я его не называю; вся отповѣдь у меня оби-  
няками, которые ему одному могутъ быть понятны: имѣющій  
уши да слышитъ. Позвольте, я вамъ прочитаю.

Это было то самое предисловіе, которое съ тѣхъ поръ печатается въ началѣ названного разсказа. Пара «крѣпкихъ словечекъ» заставили Плетнева слегка поморщиться, точно въ ротъ ему попало что-то горькое.

— Въ этомъ великомудромъ паничѣ изъ Полтавы въ гороховомъ кафтанѣ непосвященному, дѣйствительно, довольно трудно угадать Свиньина,—замѣтилъ онъ.—А дѣякъ диканьской церкви Фома Григорьевичъ у васъ тоже живое или вымыщенное лицо?

— Вымыщенное, но въ то же время одинъ изъ моихъ самыхъ старинныхъ знакомыхъ—дѣякъ Хома Григоровичъ, дѣйствующій въ комедіи моего покойнаго отца «Простакъ».

— И вы помянули его теперь добрымъ словомъ? Знаете ли что, Николай Васильевичъ: на-дняхъ долженъ прибыть сюда изъ Москвы Пушкинъ. Чѣмъ скажетъ Пушкинъ, тѣмъ и благо.

Можно себѣ представить, съ какимъ нетерпѣніемъ и сердечнымъ трепетомъ ожидалъ Гоголь прїѣзда своего кумира—Пушкина!

И вотъ, наканунѣ одной изъ субботъ Жуковскаго, на которыхъ имѣлъ теперь доступъ и Гоголь, Плетневъ, встрѣтясь съ послѣднимъ въ институтѣ, сообщилъ ему, что Пушкинъ прибылъ и будетъ завтра у Василія Андреевича.

— Не забудьте же взять съ собой ваши разсказы,—напомнилъ онъ.

Еще бы не взять! Но на душѣ у Гоголя было такъ неспокойно, что передъ выходомъ изъ дома онъ на всякий случай принялъ гофманскихъ капель.

— А вотъ и Гоголѣкъ нашъ!—радушно встрѣтилъ его Жуковскій.—Гдѣ это вы, пане добродю, такъ замѣшкались? У насъ тутъ весь Олимпъ уже въ сборѣ.

Въ самомъ дѣлѣ, въ виду окончанія зимняго сезона, передъ разѣздомъ на дачи, а еще болѣе, быть можетъ, въ разсчетѣ встрѣтиться опять съ Пушкинымъ послѣ долгаго его отсутствія изъ Петербурга,—здѣсь оказались на лицо князья Одоевскій и Вяземскій, Крыловъ, Гнѣдичъ, Воейковъ. Но у Го-

голя не было теперь глазъ ни для кого, кромѣ Пушкина, который раньше всѣхъ поздоровался съ нимъ со словами:

— Слышалъ о васъ не мало, но до сихъ поръ, грѣшный человѣкъ, не читалъ ни единой вашей строчки. Нынче однако вы исправите, говорятъ, мой грѣхъ?

Но какъ это было сказано! съ какой чарующей улыбкой! Великолѣпные, словно выточены изъ слоновой кости, зубы такъ и блестали, сверкали бѣлизной; а глаза, глаза!

Совсѣмъ растерявшись, Гоголь пробормоталъ про хрипоту, которая едва ли позволить ему читать.

— Да ты, Александръ Сергеевичъ, не осаживай его съ мѣста,—вмѣшался Жуковскій и обратился затѣмъ къ князю Одоевскому:—вы, Владимиръ Федоровичъ, начали что-то про вашу поѣздку въ Павловскъ?

Въ 1831 году Одоевскому шелъ всего 28 годъ, но и тогда уже онъ былъ большимъ знатокомъ и страстнымъ любителемъ музыки, тогда уже началъ рядъ своихъ разсказовъ изъ области музыки. Мягкимъ и такъ-сказать «музыкальнымъ» голосомъ заговорилъ онъ о «музыкальномъ» же предметѣ.

— Хотя аллеи въ павловскомъ паркѣ послѣ зимы не совсѣмъ еще просохли, меня безотчетно какъ-то потянуло къ «Розовому Павильону», откуда издали уже долетали ко мнѣ звуки эоловой арфы, точно голосъ съ того свѣта незабвенної императрицы Маріи. Когда же я вступилъ въ павильонъ, меня охватило жутко-тайновенное чувство, точно свѣтлый образъ самой государыни незримо виталъ еще въ этихъ мирныхъ покояхъ. Каждая вещь кругомъ напоминала вѣдь обѣ ней! Я раскрылъ клавесинъ, коснулся одной клавиши—и она издала такой жалобный тонъ, что у меня дрогнуло сердце, навернулись слезы. Третій годъ вѣдь уже, что благодѣтельницы нашей не стало, а все какъ-то не вѣрится, что никогда, никогда ея не увидишь...

Одоевскій умолкъ, и на нѣсколько мгновеній вокругъ воцарилось молчаніе.

— Въ альбомѣ тамъ я нашелъ также вашъ автографъ,



И. А. Крыловъ, А. С. Пушкинъ, В. А. Жуковскій  
и Н. И. Гнѣдичъ

въ 1832 г.

(Съ картины Григ. Чернецова).



Иванъ Андреевичъ,—заговорилъ онъ снова:—посвященную го-  
сударынѣ-солнышку басню «Василекъ»:

«Въ глухи расцвѣтшій Василекъ  
Вдругъ захирѣлъ, завялъ почти до половины  
И, голову склоня на стебелекъ,  
Уныло ждалъ своей кончины...»

— Ну, теперь-то стебелекъ, пожалуй, не обломится,—замѣтилъ князь Вяземскій, и лежавшее на всѣхъ присутствующихъ грустное очарованіе какъ рукой сняло: всѣ весело оглянулись на старика-баснописца, тучный станъ котораго не даромъ заслужилъ ему отъ Карамзиной (вдовы исторіографа) прозвище Слона.

Самъ Крыловъ не повернулъ даже головы на толстой короткой шеѣ, какъ бы опасаясь нарушить найденное разъ въ креслѣ удобное положеніе, и только сверху покосился на большой брилліантовый перстень, пожалованный ему императрицею Марию Феодоровною и ярко сверкавшій теперь на его жирной руцѣ, покоившейся на ручкѣ кресла.

— Смѣйтесь, смѣйтесь!—проворчалъ онъ.—Какое вамъ еще доказательство волшебной силы солнца, коли василекъ оно обратило въ слона?

— На бывни котораго не дай Богъ попасть!—досказалъ Пушкинъ.—А что, Иванъ Андреевичъ, прочитали бы вы намъ которую-нибудь изъ вашихъ басенъ?

— Не умѣю я читать...

— Вы-то не умѣете? Какъ сейчасъ помню: у Олениныхъ<sup>1)</sup> играли въ фанты; вамъ вышелъ фантъ—прочитать басню. Усадили вѣсъ на средину залы, и стали вы читать басню: «О сель и Мужикъ»,—да какъ этакъ многозначительно оглядѣлись:

„Оセルъ бытъ самыхъ честныхъ правиль!“

мы всѣ, обступившіе вѣсъ, такъ и покатились со смѣху.

Самому Крылову, должно быть, припомнилось описанное чтеніе, потому что онъ чуть-чуть усмѣхнулся и вздохнулъ:

<sup>1)</sup> Алексѣй Ивановичъ Оленинъ—директоръ Императорской Публичной библіотеки.

— Да, бывало, бывало!

— Не только бывало, но можно сказать: «былывало», — поправил Пушкинъ.

— Можно сказать даже «былывывало», — подхватилъ Вяземскій.

— Можно-то можно, — съ самымъ серьезнымъ видомъ согласился Крыловъ, — да только этого и трезвому не выговорить.

Пушкинъ залился такимъ звонкимъ, заразительнымъ хохотомъ, что никто не могъ устоять, — никто, кромъ одного старика Воейкова: безобразный, желтый, изможденный, онъ угрюмо сидѣлъ поодаль отъ всѣхъ въ углу и недоброжелательно исподлобья озиралъ смѣющихся.

— Всѣ басни Ивана Андреевича я готовъ отдать за одну, — проговорилъ онъ: — про общаго нашего друга-пріятеля — змѣю подколодную.

— Это про Булгарина? — тихонько спросилъ Гоголь сидѣвшаго около него Плетнева.

— А то про кого же? — отозвался Плетневъ. — Вы знаете вѣдь басню: «Крестьянинъ и Змѣя?»

— Господь ужъ съ нимъ! — миролюбиво вступилъ Жуковскій. — Ты самъ, Александръ Федоровичъ, усадилъ его въ Желтый Домъ<sup>1)</sup>, ну, и пускай сидѣть себѣ тамъ.

— Да вѣдь и тебѣ, Василій Андреевичъ, отведенъ тамъ особый покой, — сказалъ Пушкинъ. — Такъ не лучше ли всѣхъ вѣдь оттуда временно выпустить — на людей поглядѣть и себя показать? Александръ Федоровичъ! покажите-ка намъ, право, опять всѣхъ вашихъ постояльцевъ.

Къ просьбѣ Пушкина присоединились и другіе. Сдѣлавшись предметомъ общаго вниманія, старый свѣттоненавистникъ пріосанился и съ язвительной усмѣшкой сказалъ наизусть цѣлый рядъ куплетовъ изъ своей безконечно-длинной сатиры «Домъ

<sup>1)</sup> Умалишенные до перевода ихъ въ Больницу Всѣхъ Скорбящихъ за Нарвскою заставой помѣщались въ Обуховской больнице. Зданіе ея въ тѣ времена было окрашено въ желтый цветъ, откуда и название «Желтый Домъ».

сумасшедшихъ». Гоголь слышалъ ее въ первый разъ и потому заслушался уже съ самаго вступленія автора въ «Желтый Домъ».

«Вечеркомъ, простишись съ вами,  
Въ уголку сидѣлъ одинъ  
И Кутузова стихами  
Я растапливаль каминъ;  
Подбавляль изъ Глинки сору,  
И твоихъ, о, Мерзляковъ,  
Изъ Омира по сю-пору  
Недочитанныхъ стиховъ!

«Дымъ отъ смѣси этой Ѣдкой  
Нось мнѣ сажей закоптиль,  
Но, въ награду, крѣпко, крѣпко  
И пріятно усыпиль!  
Снилось мнѣ, что въ Петроградѣ,  
Чреезъ Обуховъ мостъ пѣшкомъ  
Перешедъ, спѣшу къ оградѣ  
И вступаю въ «Желтый Домъ».

Кого-кого жолчный сатирикъ не усадилъ въ свой «Желтый Домъ»! Когда въ числѣ его жильцовъ оказался и Жуковскій, Гоголь, вмѣстѣ съ другими, невольно взглянулъ на хозяина-поэта; но тотъ, какъ ни въ чемъ не бывало, благодушно только улыбался. Изъ другихъ помѣшанныхъ наиболѣе заинтересовали Гоголя Свининъ, Гречъ и Булгаринъ.

Въ заключеніе сатиры авторъ готовъ былъ бѣжать безъ оглядки изъ «Желтаго Дома», но смотритель дома удерживаетъ его и читаетъ ему указъ:

«Тотъ Воейковъ, что браниця,  
Съ Гречемъ въ подлый бой вступалъ,  
Что съ Булгариномъ возился  
И себя тѣмъ замаралъ,  
Долженъ быть, какъ сумасбродный,  
Самъ посаженъ въ «Желтый Домъ».  
Голову обрить сегодня  
И тереть почаше льдомъ!»

Хотя всѣ присутствующіе, за исключеніемъ одного лишь Гоголя, знали уже сатиру Воейкова, но, повидимому, выслушали ее не безъ удовольствія и, вслѣдъ за Жуковскимъ, довольно дружно захлопали въ ладоши.

— А ты, мой Гнѣдко, чего надулся? Или обиженъ, что

тебя тоже забыли? — замѣтилъ Жуковскій Гнѣдичу, который едва ли не одинъ изъ всѣхъ съ явнымъ неодобреніемъ относился къ хлесткимъ стихамъ сатирика.

Какъ уже извѣстно было Гоголю, Гнѣдичъ, подобно Крылову, служилъ библіотекаремъ въ Императорской Публичной библіотекѣ, подобно ему, пользовался тамъ казенной квартирой и жилъ бобылемъ. Видаясь изо дня въ день, они, несмотря на разность лѣтъ, состояли въ дружескихъ отношеніяхъ и должны бы были, кажется, невольно перенять одинъ отъ другого нѣкоторыя привычки. Между тѣмъ трудно было встрѣтить двухъ людей болѣе противоположныхъ. Крыловъ былъ олицетвореніемъ славянской стихійной натуры — простой, неряшливой и лѣнивой. Гнѣдичъ, напротивъ, былъ чопорной европеецъ, завивавъ волосы, одѣвался по модѣ и держалъ себя такъ, будто считалъ себя Адонисомъ, тогда какъ въ дѣйствительности лицо его, изрытое оспою, было ни мало не привлекательно. Даже въ горячемъ спорѣ онъ сохранялъ свою величавость, самая простыя вещи говорилъ какъ-бы гекзаметрами и слегка въ носъ, точно по-французски, при чемъ охотно также украшалъ свою рѣчь французскими фразами, которыя впрочемъ не всегда согласовались съ правилами французской грамматики.

— *C'est simplement triviale*, — прогнулся въ отвѣтъ Гнѣдичъ: — *ce ne sont pas des figures, mais, comme disent les Français, ce sont des figurlettes*<sup>1)</sup>.

— Однако, и нашъ Иванъ Андреевичъ выводитъ въ своихъ басняхъ своего рода фигурлетокъ, — улыбнулся Жуковскій, — вместо Сидора да Карпа у него выступаютъ самыя подлые твари, а Сидоръ да Карпъ тотчасъ узнаютъ себя.

— *Quod licet Jovi, non licet bovi* (что дозволено Юпитеру, тѣ не дозволено быку).

— Вы это, Николай Ивановичъ, на чей счетъ? — огрызнулся тутъ изъ своего угла Воейковъ.

<sup>1)</sup> Это попросту пошло, это не лица, а какъ говорятъ французы, — рожицы (такъ хотѣлъ по крайней мѣрѣ, надо думать, выразиться Гнѣдичъ, вышеприведенная фраза котораго нашла потомъ мѣсто, въ числѣ курьезовъ, въ записной книжкѣ Вяземскаго).

Жуковскій, въ качествѣ хозяина, поспѣшилъ вступиться посредникомъ:

— Bos, bovis, въ просторѣчіи быкъ — общесобирательное имя средней руки поэтовъ, представителемъ коихъ являюсь я, быкъ по преимуществу, такъ и именуемый въ ковчегѣ Арзамаса Бычкомъ, тогда какъ нашъ поэтъ Слонъ и по вашему собственному «Парнасскому адресу-календарю» есть «дѣйствительный поэтъ 1-го класса и входить къ его парнасскому величеству безъ доклада».

— Музу свою вообще посвящая низкимъ предметамъ, Слонъ нашъ съ бессмертными также бесѣду ведеть на Парнасѣ! — съ важностью добавилъ отъ себя Гнѣдичъ.

— Не по-гречески ли, какъ ваша милость? — колко отозвался Воейковъ.

— Именно такъ! Онъ не меньшій знатокъ древней эллинской рѣчи, какъ слуга вашъ покорный.

— Вотъ на! Съ какихъ это поръ?

— Да неужто ты обѣ этомъ еще не слышалъ, Александръ Федоровичъ? — спросилъ Жуковскій. — Единственный, можно сказать, примѣръ, что труднѣйшему языку лѣнивѣйшій человѣкъ въ подлунномъ мрѣ научился на старости лѣтъ. Расскажи-ка, Николай Ивановичъ, какъ это было.

— Было то вотъ какъ, — началъ Гнѣдичъ, самодовольно озираясь и оправляя на шеѣ толстый модный шарфъ, видимо сдавливавшій ему голосовыя связки. — Однажды, едва я поднялся съ постели, слышу за дверью слоновую поступь сосѣда (живемъ мы вѣдь съ нимъ на одномъ коридорѣ). Чѣмъ бы то значило? — думаю: — вѣрно по самонужнѣйшему дѣлу! И точно:

« — Такъ и такъ, — говоритъ, — былъ я вечеромъ у Орлова. Сталъ онъ меня подбивать по-гречески вмѣстѣ учиться; прибылъ такой, моль, французъ изъ Парижа, что въ короткое время берется и стариковъ обучить этой мудrosti. Какъ ты разсудишь, дружище?

« — Какъ разсужу? — говорю, а самъ усмѣхалось: стоять предо мной мой Иванъ Андреевичъ въ туфляхъ на босу ногу,

въ шлафорѣ—грудь на распашку.—Ты и теперь ужъ въ классической тогѣ, въ сандаляхъ. Ступай! И передѣваться не нужно.

«— Будто я такъ ужъ лѣнивъ?

«— Воплощенная лѣнь, братъ! Я бы на мѣстѣ твоемъ купилъ себѣ греческій Новый Завѣтъ да въ ящикѣ ночного стола положилъ бы: авось и собрался бы разъ почитать на досугѣ.

«— Гмъ,—промычалъ онъ въ отвѣтъ, повернулся и вышелъ.

«Какъ-то потомъ заглянуть мнѣ случилось въ ночной его столикъ. Такъ вѣдь и есть! Лежитъ тамъ евангеліе съ греческимъ текстомъ: только сверху-то пыли чуть не на палецъ.

«— Что, cher ami,—говорю,—греки не свой братъ?

«— Да,—говорить,—хотѣлъ поучиться, да лѣнь раньше насть родилася.

«Такъ вотъ проходятъ два года. Позвалъ насъ обѣдать Оленинъ. Послѣ обѣда хозяинъ съ Иваномъ Андреичемъ скрылись,—вѣрно, въ объятья къ Морфею, думаю; самъ заболтался съ хозяйкой. Глядь, къ намъ Варюша и Петя (хозяйскія дѣти) Ивана Андреича подъ руки тащатъ, а слѣдомъ за нимъ Алексѣй Николаичъ, да три фоліанта подъ мышкой.

«— Вотъ вы, Иванъ Андреевичъ, спорили все, что «нѣмц» имѣть одно лишь значеніе: «пасу», а вотъ у Гомера и Ксенофона нашель я другое значеніе еще: «раздѣляю».

«— Дайте взглянуть,—говорить мой Иванъ Андреичъ, и что же? представьте, береть Иліаду и, какъ ни въ чемъ не бывало, читаетъ себѣ, переводить по-русски.

«— Э!—говорю,—не обманешь. И самъ я по-англійски разъ страницу вызубрилъ, чтобы друзей провести. А нѣ, прочитай-ка изъ этой вотъ пѣсни.

«Взялъ онъ, читаетъ опять, переводить.

«— Нѣть, братъ, пустое! не вѣрю. У васъ, Алексѣй Николаичъ, есть тутъ, я вижу, еще Ксенофонтъ; на немъ-то ужъ вѣрно запнется.

«Анъ не запнется вѣдь!

«— Ну,—говорю,—Иванъ Андреевичъ! Было въ древности

семь чудесъ, а ты ужъ восьмое! Какъ это, братецъ, скажи, ты въ эллина вдругъ превратился?

«— А вѣдь не боги жъ,—въ отвѣтъ онъ,—горшки обожгаютъ. Каждую ночь до четвертаго часа читалъ я въ постели; ради мелкой печати очками еще обзавелся. Ну, а теперь все едино, чтѣ по-гречески мнѣ, чтѣ по-русски».

Рассказывая такъ, Гнѣдичъ безотчетно скандировалъ каждую фразу. Всѣ съ улыбкой поглядывали то на него, то на Крылова; самъ же Крыловъ, точно рѣчъ шла вовсе и не объ немъ, сидѣлъ попрежнему неподвижно, по временамъ протягивая руку за стаканомъ остывшего чаю.

— А что, Николай Васильевичъ,—тихонько отнесся тутъ къ Гоголю Плетневъ,—не пора ли выступить и вамъ?

Того какъ варомъ обожгло.

— Нѣть, Петръ Александровичъ, лучше отложимъ до осени...

— До осени? Ну, нѣть, извините. Господа!—громко возгласилъ Плетневъ:—вотъ у Николая Васильевича взята съ собой рукопись его талантливаго земляка-хокла—пасичника Рудого Панька. Не желаете ли послушать одинъ разскажецъ?

— И весьма!—подхватилъ первымъ Пушкинъ.—Василий Андреевичъ, стаканъ сахарной воды и пару свѣчей.

Не успѣль очнуться Гоголь, какъ сидѣлъ уже посреди комнаты за маленькимъ столикомъ съ двумя восковыми свѣчами (стеариновыхъ въ то время не было еще и въ поминѣ).

— Смѣлый, смѣлый,—шепнуль ему Жуковскій, ставя къ нему на столикъ стаканъ сахарной воды.

Было это не лишне: Гоголь чувствовалъ, какъ вся кровь у него отлила къ сердцу, и дрожащей рукой онъ поднесъ къ губамъ стаканъ сахарной воды.

— Книгу свою пасичникъ назвалъ «Вечерами на хуторѣ близъ Диканьки»,—предварилъ онъ слушателей; затѣмъ откашлялся и сталъ читать:

— «Это что за невидаль: «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки?» Что это за вечера? И швырнуль въ свѣтъ какой-то пасичникъ! Слава Богу! еще мало ободрали гусей на

перья и тряпья на бумагу! еще мало народу, всякаго званія и сброду, вымарало пальцы въ чернилахъ!..»

Съ первыхъ же строкъ, едва только окунувшись въ родную стихію, Гоголь, какъ рыба въ водѣ, ожильт. Куда и робость его дѣлася! Читалъ онъ такъ просто, такъ естественно, точно и въ самомъ дѣлѣ говорилъ это старый пасичникъ. Когда же, среди общаго напряженного молчанія, прорывался на томъ или другомъ концѣ комнаты сдержанній смѣхъ, по губамъ читающаго пробѣгала также усмѣшка, старики-пасичники лукаво посмѣшивался въ бороду: «будто ужъ такъ смѣшно? Смѣйтесь на здоровье, люди добрые!»

Когда онъ дочель свое предисловіе, Пушкинъ опять-таки первый ударилъ въ ладоши; но Жуковскій остановилъ его:

— Это только присказка, сказка впереди.

По прочтенію затѣмъ и самой сказки: «Вечеръ наканунѣ Ивана Купала» чтеца наградили еще болѣе шумныхъ рукоплесканія, чѣмъ давеча Воейкова.

— Вотъ, господа, чистая родниковая вода, истинная поэзія! — воскликнулъ Пушкинъ.

— Ну, какая же это поэзія? Это повседневная проза... — стыдливо пробормоталъ Гоголь, но самъ былъ такъ счастливъ, о, какъ счастливъ!

— Именно поэзія! — продолжалъ Пушкинъ. — Даже предисловіе пасичника полно безыскусственной красоты. Настоящій комизмъ есть прекращенное безобразіе и возстановленная красота. При случай вы, пожалуйста, еще кое-что мнѣ прочитайте. Вы гдѣ располагаете провести лѣто?

— Въ Павловскѣ — на кондиціяхъ въ одномъ домѣ...

— Ну, вотъ, чего же лучше? Изъ Павловска до Царскаго рукой подать. Я буду жить тамъ (не забудьте!) по Колпинской на дачѣ Китаевой; Василій Андреевичъ — въ Александровскомъ дворцѣ. По образу пѣшаго хожденія можете навѣщать насъ хоть каждый день; милости просимъ.





## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

**Donna Sol.**

**Е**ще до переъезда своего на лѣто въ Павловскъ Гоголю пришлось познакомиться съ молодою фрейлиной, Александрой Осиповной Россеттъ, которой суждено было впослѣдствіи найти въ немъ лучшаго друга и первого совѣтчика въ вопросахъ религіи и совѣсти.

Хотя ей минулъ всего 21 годъ, но, благодаря ея необыкновенно привлекательной наружности, плѣнительному обращенію, живому уму и многостороннему образованію, она играла уже видную роль какъ въ интимномъ кружкѣ молодой императрицы, такъ и литературномъ мірѣ: въ гостиной ея собирались первые тогдашніе литераторы, находившіе въ ней всегда самую отзывчивую и самую влѣятельную защитницу отъ строгостей цензуры. Она умѣла цѣнить впрочемъ не только Байрона и Пушкина, но и Рафаэля и Брюлова, Гайдна и Глинку; изучивъ генераль-басъ, она была также прекрасная музыкантша. Чтобы лучше уразумѣть восточное богослуженіе, поученія Григорія Назіанскаго и Иоанна Златоуста, она брала уроки греческаго языка; послѣ же урока тотчасъ отправлялась на дипломатической раутѣ, гдѣ бесѣдовала съ французскимъ посланникомъ о парижскихъ дѣлахъ, какъ старый политикъ, а вслѣдъ затѣмъ передъ цвѣтомъ придворной молодежи разсыпала блестки остроумія.

Какъ благодатное солнце, всѣхъ равно освѣщающее, она получила отъ князя Вяземскаго прозвище *donna Sol*, по имени

главнаго дѣйствующаго лица въ драмѣ Виктора Гюго «Эрнани». Но у нея было, кромѣ того, нѣсколько не менѣе лестныхъ наименованій: тотъ-же Вяземскій титуловалъ ее еще «мадамъ Фонвизинъ» и «Ласточкой», Жуковскій—«Вѣчною принцессой» и «Небеснымъ дьяволенкомъ», Мятлевъ—«Пэри» и «Колибри», Хомяковъ—«Дѣвой Розой», Глинка—«Инезильей». При Дворѣ же она, брюнетка, была извѣстна болѣе подъ именемъ «Саши Черненькой», въ отличие отъ другой фрейлины, Александры Эйлеръ, блондинки, «Саши Бѣленькой», какъ называла ихъ маленькая княжна Александра Николаевна.

Обо всемъ этомъ Гоголь слышалъ еще зимою у Жуковскаго и Плетнева, какъ и о томъ, что въ жилахъ Россетъ не было ни капли русской крови<sup>1)</sup>, но что она провела свое раннее дѣтство въ Малороссіи, воспитывалась въ Екатерининскомъ институтѣ и въ душѣ была настоящей русской.

И вотъ, однажды, въ маѣ мѣсяцѣ, когда онъ только-что давалъ (по собственнымъ его словамъ) «прескучный» урокъ въ домѣ Балабиныхъ и его «бѣдная ученица зѣвала», совершенно неожиданно вошла къ немъ Россетъ.

— А я пришла проститься съ тобой, Мари: послѣ завтра мы съ императрицей переѣзжаемъ въ Царское, — объявила Александра Осиповна, съ любопытствомъ оглядывая учителя-хохла, о талантѣ котораго наслышалась также отъ его двухъ покровителей.

Но Гоголь показался ей такимъ «неловкимъ, робкимъ и печальнымъ», что она оставила его на этотъ разъ въ покое. Зато на другой же день, по запискѣ Плетнева, онъ былъ вытребованъ къ половинѣ седьмого вечера къ Жуковскому; когда же явился туда, то засталъ тамъ, кромѣ Плетнева, еще и Пушкина, который встрѣтилъ его со смѣхомъ:

— Попался, пасичникъ! Я всегда вѣдь говорилъ, что жен-

<sup>1)</sup> Отецъ ея, le chevalier Joseph (Осипъ Ивановичъ) de Rosset, былъ французы-эмигрантъ; а мать ея происходила отъ брака полуфранцуза-полунѣмана Лорера съ грузинскою княжной Циціановой.



Александра Осиповна

РОССЕТЬ,

впослѣдствии СМИРНОВА.



щины дипломатичнѣе нашего брата. Пожалуйте-ка теперь съ нами.

— Куда? — перепугался Гоголь.

— Очень недалеко: до фрейлинского коридора.

— Но къ кому? Неужели...

— Къ доннѣ Sol? Именно. Она видѣла васъ вчера у Балабиныхъ.

— И взяла съ насть слово привести къ ней земляка сего дня же во что бы то ни стало, потому что завтра ужъ перебирается въ Царское, — пояснилъ Жуковскій.

— При чмъ сама подала мысль — не говорить вамъ впредъ, для чего васъ вызываютъ... — добавилъ Плетневъ.

— Потому что знала, что вы упрямый хохолъ, — заключилъ Пушкинъ.

Гоголь совсѣмъ оторопѣлъ.

— Нѣть, господа, воля ваша, я не могу, ей-ей, не могу!

— Если кто не можетъ чего, то говорить: «не хочу»; если же не хочетъ, то говорить: «не могу». Вы можете, но не хотите.

— Да какъ онъ смѣеть не хотѣть! — вскричалъ Жуковскій. — Онъ долженъ за великую честь почитать! Вы, Николай Васильевичъ, поймите, просто глупый молодой человѣкъ...

— И невѣжа, поймите, и грубіянъ! — подхватилъ опять Пушкинъ. — Всѣ должны слушаться Александры Осиповны, и никто не смѣеть упираться, когда она приказывается.

Подъ такимъ градомъ неотразимыхъ аргументовъ Гоголь поникъ головой.

— Ну, слава Богу, кажется, урезонили, — сказалъ Плетневъ, берясь за шляпу. — Меня ужъ извините, господа, передъ Александрой Осиповной: въ половинѣ восьмого у меня въ институтѣ конференція. Смотрите только, чтобы арестантъ не сбѣжалъ у васъ по пути.

— Не сбѣжитъ.

— Орестъ и Пиладъ! — радостно привѣтствовала Россетъ своихъ двухъ старыхъ друзей, а затѣмъ, когда Пушкинъ за-

явила, что они насили привели къ ней упрямца, и просила пріотить послѣдняго, чтобы онъ не хандрилъ по своей Украйнѣ,—она съ тою-же обворожительною улыбкой обратилась и къ Гоголю, склонившемуся было за широкой спиной Жуковскаго: — Васъ вѣрно тоже давить это сѣверное небо, какъ свинцовая шапка? Я семи лѣтъ уже уѣхала изъ милой моей Малороссіи на сѣверъ — на скучный сѣверъ! и все вотъ не могу забыть и хуторовъ, и степи, и солнца... Однако, позвольте васъ познакомить съ моими двумя подругами.

Подруги эти были сидѣвшія тутъ же на диванѣ другія фрейлины императрицы: Урусова и Эйлеръ.

«Саша Бѣленъская»! — вспомнилось Гоголю при видѣ высокой и полной, флегматического вида блондинки-нѣмки.

На столѣ передъ гостями стояла ваза съ крупной земляникой.

— Первые ягоды изъ царскосельскихъ оранжерей, — объяснила молодая хозяйка, накладывая полную хрустальную тарелочку самыхъ сочныхъ ягодъ и густо посыпая ихъ сахаромъ. — Васъ, Бычокъ и Сверчокъ, угостятъ ваши дамы. Я угощаю теперь только своего земляка. Вы, конечно, не откажетесь?

— Пріиде коза до воза, каже: «ме-е-е!» — отвѣчалъ Гоголь, скрѣпя сердце, съ натянутой улыбкой.

— Такъ хохландіей и повѣяло! — разсмѣялась Россеть. — Пойдемте-ка сюда, къ оконку: тутъ ни одинъ москаль намъ не помѣшаетъ.

Усѣвшись съ землякомъ у открытаго окна, выходившаго на Неву, она завязала съ нимъ оживленную бесѣду о родной Украинѣ. Чѣмъ значить, съ кѣмъ говорить и о чѣмъ! Пересказывая съ русскаго языка на малороссийскій, а съ малороссийскаго опять на русскій, она живо вывѣдала у него все, что ей нужно было, о Васильевкѣ и ея обитателяхъ, а потомъ принялась сама рассказывать о малороссийскомъ хуторѣ своей бабушки Громоклеѣ-Водинѣ и аистахъ на его крышахъ, о самой бабушкѣ, хорошо говорившей также по-малороссийски, но съ

грузинскимъ акцентомъ, о своей боннѣ-швейцаркѣ Амаліи Ивановнѣ, выписанной изъ Невшателя, о своей нянѣ Гонкѣ, которая такъ стращала ее своими рассказами о Вѣ...

— Это — вампиръ грековъ и южныхъ славянъ, — подальше изъ глубины комнаты Пушкинъ, прислушивавшійся, по-видимому, къ болтовнѣ хохла и хохлушки.

— Сверчокъ, подъ печку! — шутливо цыкнула на него Россеть и принялась декламировать малороссійскіе стихи.

— А теперь спойте ему «Грыцю», — сказалъ Жуковскій. — Угощать, такъ угощать.

Россеть, не чинясь, сѣла за фортепіано и затянула: «Ой, не ходы, Грыцю, на вечерныцю». Въ голосѣ у нея нашлись такія задушевныя ноты, что когда она кончила, всѣ слушатели просидѣли еще нѣсколько мгновеній молча, какъ-бы ловя улетѣвшіе звуки, а потомъ всѣ разомъ вдругъ объявили, что она никогда еще такъ не пѣла, — всѣ, кромѣ Гоголя, который только тяжело дышалъ да хлопалъ рѣсицами, точно у него за ними что-то накипало. Пѣвица не могла, конечно, не замѣтить произведенаго на него впечатленія.

— Ахъ, наша милая, милая Украина! — вырвалось у нея. — Я отдала бы, кажется, все на свѣтѣ, чтобы увидѣть опять нашу чудную степь съ ея весенними цвѣтами: колокольчиками, нарциссами, васильками...

— Васильковъ-то и здѣсь сколько вамъ угодно, — сказалъ Пушкинъ, — а здѣшніе ландышы даже ароматнѣе всѣхъ вашихъ степныхъ цвѣтовъ.

— О, нѣтъ, я не согласна! Васильки на Украинѣ ярче; неправда ли, Николай Васильевичъ?

Гоголь теперь лишь, казалось, очнулся и послѣшилъ подтвердить:

— Ярче, еще бы!..

— Чѣдѣ я говорю? А что до запаха, то есть ли цвѣты ароматнѣе тѣхъ маленькихъ цвѣточковъ, помните, Александръ Сергеевичъ, что растуть въ Одессѣ около моря, голубеньkie и бѣленъкіе?

— Помню: цвѣточекъ этотъ похожъ на гіацинтъ и пахнетъ земляникой и персикомъ<sup>1)</sup>). Но согласитесь все-таки, что здѣшніе ландышы...

— Ни, ни, ни—и слышать не хочу! Противъ нашего юга я не позволю ничего говорить. Я увѣрена, что могла бы быть тамъ вполнѣ счастлива вдали отъ всякихъ удовольствій.

— Дай вамъ только хорошихъ книгъ да добрыхъ собесѣдниковъ...

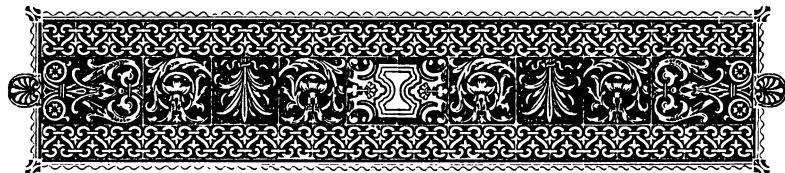
— Въ родѣ насть вотъ,—замѣтилъ Жуковскій.—Въ Царскомъ Селѣ мы во всякомъ случаѣ приложимъ всѣ старанія...

Россеть хотѣла еще что-то возразить. Но тутъ каминные часы начали бить, и она ахнула:

— Уже 9! Государыня ждетъ насть, mesdames. И такъ, господа, до Царскаго!



<sup>1)</sup> Рѣчь шла о луковичномъ растеніи—Muskerr Europa .



## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

### Двѣ писательскія идилліи.

**Н**а кондиціяхъ» Гоголь состоялъ въ теченіе лѣта 1831 г. въ домѣ княгини Александры Ивановны Васильчиковой, въ качествѣ не столько воспитателя, сколько дядьки ея младшаго сына—идюта Васи. О пребываніи его въ этомъ аристократическомъ домѣ племянникъ княгини, графъ Вл. А. Сологубъ—въ то время дерптскій студентъ, а вслѣдствіи известный авторъ «Тарантаса»—оставилъ въ своихъ «Воспоминаніяхъ» двѣ небольшія, но чрезвычайно характеристичныя картишки.

Пріѣхавъ на вакаціи къ своимъ родителямъ въ Павловскъ, Сологубъ отправился вечеромъ на поклонъ къ своей бабушкѣ—Архаровой, жившой вмѣстѣ съ своими приживалками на одной дачѣ съ Васильчиковыми. Старушка укладывалась уже спать и послала внука къ Васильчиковымъ.

— Тамъ у нихъ ты найдешь такого же студента,—прибавила она,—говорятъ, тоже пописываетъ.

И вотъ, когда Сологубъ проходилъ темнымъ коридоромъ, изъ-за одной двери ему послышался мужской голосъ, будто прочитывавший.

«Вѣрно студентъ», сообразилъ молодой графъ и тихонько пріотворилъ дверь. Очевидно, то было обиталище одной изъ бабушкиныхъ приживалокъ. Кровать ея прижалась къ сторонкѣ и закрылась ширмами, чтобы дать мѣсто круглому столу передъ большимъ стариннымъ диваномъ. Столъ былъ покрытъ

кумачною скатертью, и посреди его горьла лампа подъ темно-зеленымъ абажуромъ. Диванъ и стулья были настолько ниже стола, что сидѣвшіе вокругъ него ярко освѣщались изъ-подъ абажура. Было ихъ четверо: три бѣдно-одѣтые старушки съ вязальными спицами въ рукахъ и столь же скромный на видъ молодой человѣкъ съ рукописью передъ собою. При входѣ незванаго гостя чтецъ тотчасъ умолкъ.

— Ничего, продолжайте,—покровительственно ободрилъ его племянникъ княгини,—я самъ пишу и очень интересуюсь русскою словесностью.

Молодой человѣкъ откашлялся и продолжалъ:

— «Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи!..»

«Кто не слыхалъ читавшаго Гоголя,—замѣчаетъ отъ себя Сологубъ,—тотъ не знаетъ вполнѣ его произведеній. Онъ придавалъ имъ особый колоритъ своимъ спокойствиемъ, своимъ произношеніемъ, неуловимыми оттенками насыщенности и комизма, дрожавшими въ его голосѣ и быстро пробѣгавшими по его оригинальному остроносому лицу, въ то время какъ маленькие его глаза добродушно улыбались и онъ встряхивалъ всегда падавшими ему на лобъ волосами. Описывая украинскую ночь, онъ какъ будто переливалъ въ душу впечатлѣнія лѣтней свѣжести, синей, усѣянной звѣздами выси, благоуханія, душевнаго простора... Признаюсь откровенно, я былъ пораженъ, уничтоженъ; мнѣ хотѣлось взять его на руки, вынести на свѣжій воздухъ, на настоящее его мѣсто»...

И вдругъ среди своего восторженного гимна украинской ночи молодой украинецъ произнесъ грубымъ мужицкимъ голосомъ:

— «Да, гопакъ не такъ танцуется!»

Переходъ былъ такъ неожиданъ, что всѣ три приживалки опустили на колѣни свои спицы и, уставясь поверхъ очковъ на чтеца, вскрикнули всѣ въ одинъ голосъ:

— А какъ же?

Гоголь чуть-чуть про себя усмѣхнулся и продолжалъ молодогъ пьянаго Каленика:



Наталья Николаевна  
ГОНЧАРОВА,

невестою А. С. Пушкина въ 1830 г.



— «То-то я гляжу — не kleится все! Что же это рассказывается кумъ?.. А ну: гопъ-трава! гопъ-трава! гопъ-гопъ-гопъ!»

На слѣдующій день Сологубъ снова завернулъ на дачу къ теткѣ и засталъ Гоголя съ его слабоумнымъ питомцемъ на балконѣ. Мальчикъ полулежалъ на колѣняхъ своего учителя-дядьки, который, сидя на низенькомъ соломенномъ стулѣ, водилъ пальцемъ по книжкѣ съ картинками, изображавшими разныхъ животныхъ, и предбродушно подражалъ голосамъ этихъ животныхъ:

— Вотъ это, Васенька, барашекъ: «бе-е-е!»; вотъ это корова: «му-у-у!», а вотъ это собачка: «гау-ау-ау!»

Такъ-то съ убогими старушками и съ мальчикомъ-идиотомъ проводилъ свои лѣтнія каникулы славный впослѣдствіи юмористъ! Диво ли, что отъ этой мертвовой обстановки его тянуло въ Царское Село къ живымъ людямъ — къ Пушкину и Жуковскому?

Первый визитъ свой Гоголь счѣмъ долгомъ сдѣлать Пушкину и его молодой женѣ, которой онъ до тѣхъ поръ не былъ еще представленъ. Выбралъ онъ для этого воскресный день, когда могъ отлучиться изъ дома съ самаго утра. Такимъ образомъ онъ засталъ молодыхъ супруговъ еще за завтракомъ. Пушкинъ видимо обрадовался гостю.

— Вотъ легки на поминѣ! Сейчасъ вѣдь только говорилъ про васъ Натальѣ Николаевнѣ. Позвольте васъ познакомить... Да вы вѣрно еще не завтракали?

— Нѣть...

— Такъ прошу не побрезгать — чѣмъ Богъ послалъ. A la guerre comme à la guerre.

— Mais, Alexandre!.. — пробормотала Наталья Николаевна; очень ужъ простъ былъ завтракъ: селедка съ печенымъ картофелемъ, редиска да простокваша.

— О, г-нъ пасичникъ тоже деревенскій житель, насчетъ пищи не привередливъ, — успокоилъ ее мужъ. — Для меня нѣть ничего вкуснѣе этакаго печенаго картофеля.

— А для меня простокваша, — увѣрилъ Гоголь.

— Ну, вотъ. Она удивительно освѣжаетъ, особливо когда передъ тѣмъ цѣлое утро проработаешь этакъ у себя на вышкѣ подъ накаленной крышей.

— А кабинетъ у васть наверху?

— Да, въ мансардѣ: никто тебѣ, знаете, не мѣшаетъ. Тепленько, правда; но въ Одессѣ, въ Кишиневѣ такъ ли я еще жарился! Съ утра совсѣмъ даже сносно. Съ постели прямо въ холодную ванну — и за дѣло. Мысли такъ и роятся, гонять одна другую, только записывай. Чтобы духъ перевести, пройдешься развѣ по комнатѣ, выпьешь стаканъ воды со льдомъ, выйдешь на балконъ — подышать свѣжимъ воздухомъ. Глядь — и завтракъ на столѣ. А тутъ противъ тебя сидить этакая женочка — картинка писанная, ненаглядная...

— Mais, Alexandre!.. — снова возмутилась было Наталья Николаевна; но мужъ съ такой нѣжной, примиряющей улыбкой протянулъ ей черезъ столъ руку, что она не могла не протянуть ему навстрѣчу свою руку и смущенно также улыбнулась.

«Не даромъ онъ ее такъ воспѣваетъ!» говорилъ себѣ Гоголь, который и до этого уже украдкой вскидывалъ взоры на красавицу-хозяйку, а теперь просто глазъ не могъ оторвать: «Все въ ней гармонія, все диво» — и стань, и профиль. Фідії, Праксители! гдѣ вы, чтобыувѣковѣчить эту божественную красоту: «чистѣйшей прелести чистѣйшій образецъ».

Между тѣмъ Пушкинъ заговорилъ о послѣднихъ новостяхъ французской литературы, находя въ прозѣ Шатобріана проблески генія, восхищаясь Ламартиномъ, классическіе стихи котораго «столь же прекрасны, какъ и его душа», и Викторомъ Гюго, сила котораго — въ краскахъ и картинахъ неисчерпающей фантазіи.

— Но это все же не Байронъ, не Шиллеръ, не Гёте, — говорилъ онъ. — Между геніемъ и большимъ талантомъ есть разница, которая не столько сознается, сколько чувствуется.

Гоголь слушалъ, боясь упустить хоть одно слово. Это была не лекція ученаго профессора, а блестящая импровизація поэта.

Что за начитанность и широта взгляда! И въ то же время, что за простота и ясность изложенія!

— Прости, мой ангель: я нагналъ на тебя зѣвоту,—спохватился вдругъ Пушкинъ, когда жена его прикрыла ротъ рукою.—Вѣдь десерта ты намъ не предложишь?

Они встали изъ-за стола. Тутъ въ дверяхъ показалась новая гостья—*donna Sol*. Словно солнцемъ все кругомъ разомъ озарилось; даже скучающія черты Натальи Николаевны прояснились, когда Александра Осиповна сообщила ей, что въ дворцовомъ «китайскомъ» театрѣ затѣвается спектакль и что ей, Натальѣ Николаевнѣ, будетъ также прислано приглашеніе.

— Не знаю только, поспѣемъ ли до переѣзда въ Петергофъ,—озабоченно добавила Россетъ:—столько возни съ костюмами... конечно, не столько, какъ прошлую зимою на костюмированномъ балу во дворцѣ, гдѣ мнѣ выпала роль *de la Folie du carnaval* (*Масляничная шалость*).

— А это что такое?—спросила Наталья Николаевна.

— Разскажите, Александра Осиповна, разскажите, пожалуйста!—подхватилъ Пушкинъ, которому хотѣлось, видно, доставить женѣ нѣкоторое хоть удовлетвореніе послѣ скучнаго для нея литературнаго разговора.

— *La Folie du carnaval* должна была сказать импровизованную рѣчь,—начала Александра Осиповна.—Но никто не хотѣлъ за это взяться. «Сдѣлайте это для меня, Черненская,—сказала мнѣ государыня:—васъ никто вѣдь не узнаетъ, кромѣ меня да Жуковскаго. Онъ напишетъ щутовскіе стихи по-нѣмецки и по-русски; вы ихъ скажете и закончите по-французски вашей собственной импровизацией». Такъ оно и было. Одѣвалась я у самой императрицы въ Ея же присутствіи. Новый парижскій куаферъ Эме приготовилъ мнѣ прелестный бѣлокурый парикъ, который такъ измѣнилъ мою физіономію, что я сама себя въ зеркалѣ не узнала. На мой серебряный дурацкій колпакъ и на лифъ мнѣ нашли брилліантовъ...

— А платье?—полюбопытствовала Пушкина.

— Платье на мнѣ было изъ бѣлаго атласа съ серебромъ

и съ серебряными бубенчиками: я, Черненькая, стала совсѣмъ бѣленькой, такъ что Жуковскій сравнилъ меня даже съ мухой въ молокѣ. Шествіе было открыто, разумѣется, мною, а сзади потянулся цѣлый рой паяцевъ и штухъ въ малиновыхъ и голубыхъ съ серебромъ костюмахъ. Подойдя къ Ихъ Величествамъ, я прочла стихи Василія Андреевича, сперва русскіе, потомъ нѣмецкіе...

— А они не сохранились?—позволилъ себѣ вставить съ своей стороны вопросъ и Гоголь.

— Къ сожалѣнію, нѣтъ: Жуковскій изорвалъ ихъ. Могу сказать только, что это была самая удачная галиматья, на которую онъ такой мастеръ. Послѣ стиховъ я заговорила по-французски—наговорила всякой всячины о русской маслянице, о ледяныхъ горахъ, качеляхъ и блинахъ, которые я будто въ первый разъ вижу, потому что сейчасъ только прибыла изъ Парижа, гдѣ водили по улицамъ масляничнаго быка—*le boeuf gras*, да изъ Рима и Венеции, гдѣ меня закидали цвѣтами и конфетти. Сидѣвшіе за Царской фамиліей придворные были совсѣмъ ошеломлены моей развязностью и глядѣли на меня такими испуганными глазами, что я не выдержала и расхохоталась. Тутъ всѣ меня разомъ узнали и стали апплодировать. «Французскій языкъ у васъ прекрасный,—сказалъ мнѣ государь,—но вы говорили такъ быстро, что я ничего не понялъ».—«Не мудрено, Ваше Величество,—отвѣчала я,—сама я тоже ничего не поняла. Безъ парика я никогда не рѣшилась бы говорить такой вздоръ».

— А кого, скажите, изображали другія дамы?—спросила опять Наталья Николаевна.

— Юсупова была Ночью съ полумѣсяцемъ и звѣздами изъ брилліантовъ, Annete Щербатова—*Belle-de-nuit*, Чудо-цвѣтомъ (такъ, кажется, называется этотъ цвѣтокъ?), вся въ бѣломъ съ серебряными лиліями и каплями росы, Любенька Ярцева—Авророй, вся въ розовомъ, осыпанная розовыми лепестками, Софи Урусова—Утренней Звѣздой, въ бѣломъ, съ распущенными локонами и съ брилліантовой звѣздой во

лбу, Сашенька Бѣленькая, т. е. моя *Alexandrine Эйлеръ*—Вечеромъ, въ голубомъ платьѣ съ серебромъ...

Наконецъ-то была найдена тема, которая заняла все внимание Натальи Николаевны. Молодая фрейлина должна была описать ей такъ же обстоятельно наряды четырехъ временъ года, четырехъ стихій и участвовавшихъ въ заключительной кадрили ундинъ, сильфовъ, саламандръ и гномовъ.

— Я вамъ, Александра Осиповна, несказанно благодаренъ!—съ искренностью проговорилъ Пушкинъ.—У васъ, какъ у волшебницы, есть магическія слова не только для мужчинъ, но и для женщинъ. Когда вы воодушевляйтесь этакъ разными тряпками, не вѣрится даже какъ-то, чтобы въ этой маленькой дѣтской головкѣ могли вмѣщаться также лейденская банка и Вольтовъ столбъ, Лапласъ, Лавуазье, Франклінъ...

— Можетъ-быть, я чувствую головою, а думаю сердцемъ?—отозвалась Россетъ. — Впрочемъ, вѣдь и нашъ милѣйшій Василий Андреевичъ — кладезь не только всякой мудрости, но и глупости. Вчера еще онъ меня такъ разсердилъ, а сегодня такъ разсмѣшилъ...

— Опять какой-нибудь «галиматьей»?

— Именно. Присталъ, знаете, ко мнѣ вчера, чтобы я сыграла ему вальсъ Вебера. «Да я вѣдь играла его вамъ уже сто разъ», — говорю. — «Такъ вотъ теперь сыграйте въ сто первый». — «У васъ, Бычокъ, — говорю, — въ музыкѣ рѣшиительно нѣть чувства мѣры. Вѣрно, испортилъ вамъ слухъ камердинеръ вашъ своей дрянной скрипкой». — «Дрянной? — промычала онъ. — Какъ же такъ? Надобно добыть ему хорошую. А вальсъ-то мнѣ вы все-таки сыграйте». — «Нѣть, не сыграю!» — «Нѣть, сыграете». Ну, словомъ, такъ онъ мнѣ надѣлъ, такъ надѣлъ, что я его прогнала вонъ. А сегодня вотъ поутру онъ присыпаетъ мнѣ преуморительное посланіе въ гекзаметрахъ—шедевръ въ своемъ родѣ.

— Какъ жаль, что вы этого шедевра не захватили съ собой! Что же онъ пишетъ вамъ?

— Что мнѣ не изъ-за чего было «вскользь» подобно

Черному морю», и спрашивается, чѣмъ ему, «недостойному псу», снова милость мою заслужить? «О, Царь мой Небесный!» восклицаетъ онъ:

«Я на все рѣшиться готовъ! Прикажете ль кожу  
Дать содрать съ своего благородного тѣла, чтобъ сшить вамъ  
Дюжину теплыхъ калошей, дабы, гуляя по травѣ,  
Ножекъ своихъ замочить не могли вы? Прикажете ль уши  
Дать отрѣзать себѣ, чтобъ въ лѣтнее время, хлопушкой  
Вамъ усердно служа, колотили они дерзновенныхъ  
Мухъ, досаждающихъ вамъ неотступной своею любовью  
Къ вашему смуглому лицуку?...»

— Очень хорошо! — расхохотался Пушкинъ. — Однакожъ память у васъ! Видно, много разъ перечли?

— Еще бы не перечесть такую прелестъ. Но «Царь Берендей» у него выйдетъ, кажется, еще лучше. А вашъ «Царь Салтанъ», Александръ Сергеевичъ, скоро ли поспѣть?

— Сегодня какъ разъ окончилъ. Угодно выслушать?

— Пожалуйста!

— Не подняться ли намъ наверхъ въ мой кабинетъ? Ты, Natalie, тѣмъ временемъ, можетъ-быть, распорядишься насчетъ обѣда? Николай Васильевичъ вѣдь нынче кушаетъ съ нами.

Кабинетъ поэта, куда снизу вела крутая и тѣсная деревянная лѣсенка, представлялъ небольшую комнату съ низкимъ потолкомъ и самого простого убранства. Очистивъ для гостей мѣсто на неуклюжемъ старинномъ диванѣ, заваленномъ книгами, Пушкинъ прочиталъ имъ свою «Сказку о царѣ Салтанѣ».

— Нѣть, нѣть, не хвалите! — остановилъ онъ своихъ слушателей, когда тѣ стали было выражать свое восхищеніе. — Я самъ теперь вижу, что надо многое еще передѣлать.

— Вы слишкомъ строги къ себѣ, — замѣтила Россеть. — Одобряете ли вы вообще все тѣ, что прежде написали?

Оживленныя черты поэта подернулись облакомъ грусти.

— И все то, чего я не писалъ, но что мнѣ приписываютъ? — сказалъ онъ. — Только богатымъ и вѣрятъ въ долгъ; а теперь мнѣ приходится краснѣть не только за свои долги, но и за чужие. Какъ глупъ человѣкъ, когда молодъ! Мои герои того времени скрежещутъ зубами и заставляютъ меня самого

скрежетать. Какъ охотно сжегъ бы я все это; но какъ собрать тѣ, чтѣ ходитъ по рукамъ по всей Россіи?

— И сожгли бы, пожалуй, многое, что можетъ воспламенить молодое сердце.

— Не знаю; все это ужасно молодо, ходульно. Одно только знаю, что никогда не говорилъ пошлостей, не убивалъ ни грамматики, ни здраваго смысла. Все, чтѣ я и теперь пишу,— ниже того, чтѣ хотѣль бы сказать. Мои мысли бѣгутъ быстрѣ пера и на бумагѣ остываютъ. Мы всѣ должны умереть, не высказавшись,— заключилъ Пушкинъ со вздохомъ. — Какой языкъ человѣческій можетъ выразить все, что чувствуетъ сердце и думаетъ мозгъ, все, что предвидитъ и угадываетъ душа?

— Какъ это вамъ, Александръ Сергеевичъ, съ Васильемъ Андреевичемъ вообще пришло вдругъ въ голову писать сказки? — позволилъ себѣ спросить Гоголь.

— А что же другое дѣлать обитателямъ благословенной Аркадіи? Потому что мы здѣсь совсѣмъ аркадскіе пастушки. Вотъ въ перегонку и перекладываемъ на стихи простонародныя сказки, которыя слышали когда-то: онъ — отъ деревенскихъ старухъ, которыя при этомъ должны были гладить ему пятки, а я — въ моемъ миломъ Михайловскомъ отъ старушки-няни. А славно тамъ было, чтѣ ни говори! Пиши, сколько душѣ угодно. За оконшкомъ только вѣтеръ завываетъ, волки воютъ, да въ комнатѣ рядомъ порою старые часы зашипятъ, захрипятъ, пока не пробьютъ свой урочный часъ. Надо бы, право, осенюю собраться туда съ женочкой...

Увлеченный воспоминаніемъ о деревнѣ, поэтъ не замѣтилъ, что «женочка» его съ полминуты уже стоитъ въ дверяхъ, какъ вкопанная. При послѣднихъ словахъ мужа она не выдержала:

— Восхищаться, какъ завываетъ вѣтеръ, воютъ волки и бываютъ старые часы! И для этого-то ты хочешь везти меня въ такую глушь? Да ты съ ума сошелъ!

Изъ прекрасныхъ глазъ ея брызнули слезы. Свѣтлое настроеніе другихъ было уже омрачено, и Россеть поспѣшила проститься.

За обѣдомъ Пушкинъ, какъ-будто нарочно избѣгая всякихъ литературныхъ темъ, занималъ Гоголя рассказами о своемъ пребываніи въ Одессѣ, которая «лѣтомъ песочница, а зимою чернильница» (въ то время тамъ не было еще ни одной москвишней улицы); послѣ же обѣда, подъ руку съ женою, повелъ его въ царскій паркъ къ большому пруду и покаталъ на лодкѣ. Прудъ этотъ, какъ оказалось, былъ конечно цѣлью ежедневныхъ послѣобѣденныхъ прогулокъ молодой четы. Наталия Николаевна, въ широкополой круглой шляпѣ, удивительно эффектно оттѣнявшей верхнюю половину ея лица отъ вечерняго солнца, вся въ бѣломъ, но съ пунцовою шалью, свитою, по тогдашней модѣ, вокругъ плечъ, была такъ поразительно, идеально хороша, что всѣ гуляющіе останавливались. Какъ это обстоятельство, такъ еще болѣе, быть-можеть, одушевленная, острогумная болтовня мужа совсѣмъ ее развеселили. За чаемъ она приняла также довольно оживленное участіе въ разговорѣ, а при прощаніи съ такой любезной улыбкой попросила гостя — не забывать ея Alexandre'a, что Гоголь не могъ не простить ей давешняго обращенія ея съ мужемъ: дитя! пастушка!

Да, это подлинная Аркадія... и эта ночь тоже какая-то аркадская: таинственно-мирная, ни листокъ не шелохнется, словно вся природа кругомъ затаила дыханіе, порою лишь переведя духъ томнымъ вздохомъ, чтобы сейчасъ опять замереть. Но вотъ пробѣжалъ не шелестъ, нѣть, а точно неслышный, угадываемый только трепетъ, согласное біеніе тысячей тысячъ міровыхъ сердецъ, и собственное сердце твое охватывается тѣмъ-же трепетомъ, начинаетъ биться въ ладъ съ другими, и тебѣ становятся вдругъ понятными міровая любовь, міровое благо...





## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

### Г р о з н а я г о с т ь .

---

Немного дней—и царскосельская идиллія лишилась двухъ своихъ членовъ: Жуковскаго и Россетъ; съ времененнымъ переѣздомъ Императорской фамиліи въ Петергофъ, они также покинули Царское. Оставался одинъ Пушкинъ съ женою; но слишкомъ часто надобѣть Натальѣ Николаевнѣ своимъ присутствиемъ Гоголь стѣснялся и, такимъ образомъ, большую часть дня волей-неволей проводилъ съ своимъ слабоумнымъ воспитанникомъ. Между тѣмъ шагъ за шагомъ надвинулась индійская гость—холера морбусъ. Ни въ Павловскѣ, ни въ Царскомъ, правда, не было еще ни одного случая заболѣванія этою новою въ то время и потому еще болѣе ужасною болѣзнью; но до Петербурга она уже добралась и начала расправляться съ народомъ, какъ лютый, безпощадный врагъ, ко-сить безъ разбора и богатыхъ и бѣдныхъ. Какъ на грѣхъ, ягоды въ 1831 году уродились въ небываломъ изобилии, продавались за безцѣнокъ—только бы обѣдаться; да что подѣлаешь съ проклятою мнительностью, унаследованною отъ маменьки! Мухи вотъ, какъ ни въ чемъ не бывало, разгуливаютъ себѣ по тарелкѣ съ мухоморомъ, обсыпанномъ сахаромъ, точно имъ смерть на роду не писана, хотя между сахаромъ тутъ же валяются уже десятками трупы такихъ же мухъ. Но человѣкъ—не муха, видѣть очень хорошо, какъ къ нему подбирается эта загадочная грозная гостья,—подкраилась и хлошь! безъ ружья уложить.

«Нынѣшнія всеобщія несчастія заставляютъ меня дрожать за безцѣнное здоровье ваше», писалъ Гоголь матери, посыпая ей нѣсколько рецептовъ отъ холеры. Пушкинъ же болѣе тяготился карантиномъ, которымъ оцѣнили Царское и Павловскъ.

— Столица пошаливаетъ,— говорилъ онъ,— а провинція отдувайся своими боками; совсѣмъ, какъ бывало, при королевскихъ дворахъ: за шалости принца сѣкли пажа.

«Шалости» столицы, однако, принимали уже нешуточные размѣры. Столичная чернь, обуянная ужасомъ отъ массы смертныхъ слушаевъ и отъ нелѣпаго слуха, будто бы доктора для распросраненія заразы нарочно отравляютъ воду, ворвалась въ холерную больницу, устроенную въ большомъ домѣ Таирова на Сѣнной площади, и выбросила изъ четвертаго этажа на улицу докторовъ; но императоръ Николай Павловичъ, прибывшій на пароходѣ изъ Петергофа, своимъ мощнымъ царскимъ словомъ разомъ успокоилъ обезумѣвшихъ. Подробности объ этомъ въ Царское Село привезъ Жуковскій, который возвратился туда уже во второй половинѣ іюля, вмѣстѣ съ Высочайшимъ Дворомъ. Самъ Жуковскій хотя и не былъ свидѣтелемъ холерныхъ волненій, но слышалъ объ нихъ изъ первыхъ рукъ—отъ царского кучера и отъ князя Меншикова, сопровождавшаго государя изъ Петергофа.

— Въ самую критическую минуту народнаго помраченія молодой императоръ нашъ выступилъ во всемъ своемъ царственномъ величіи,— говорилъ онъ.— Прямо съ парохода государь сѣлъ въ открытую коляску, и по всему пути его до Сѣнной, центра безпорядковъ, народъ несмѣтной толпой бѣжалъ за нимъ. Подобно одионокому кораблю среди бушующихъ волнъ, царская коляска остановилась на краю площади у церкви Спаса, посреди шумящей черни. Но вотъ государь приподнялся въ экипажѣ, и магическимъ обаяніемъ его величественной фигуры, его строгаго вида, его звучнаго голоса, покрывшаго окружающій гамъ и гулъ, все это беззначальное полчище тысячъ въ 20—25 было разомъ покорено и смолкло. Среди общей тишины раздавался одинъ только голосъ, «какъ звонъ святой» (выраженіе царского кучера)...

— Какъ жаль, что никто не могъ записать государевыхъ словъ! — замѣтилъ Гоголь.

— Никто ихъ хотѣ и не записалъ,—отвѣчалъ Жуковскій,—но Меншиковъ, бывшій въ коляскѣ вмѣстѣ съ государемъ, передалъ мнѣ эту истинно державную рѣчь, какъ увѣрялъ онъ, почти дословно. «Вѣнчаясь на царство,—говорилъ государь,—я поклялся поддерживать порядокъ и законы. Я исполню мою присягу. Я добръ для добрыхъ: они всегда найдутъ во мнѣ друга и отца. Но горе злонамѣреннымъ! Намъ послано великое испытаніе—зараза: надо было принять мѣры, дабы остановить ея распространеніе; всѣ эти мѣры приняты по моимъ повелѣніямъ. Горе тѣмъ, кто позволяетъ себѣ противиться моимъ повелѣніямъ. Теперь расходитесь. Въ городѣ зараза; вредно собираться толпами. Но напередъ слѣдуетъ примириться съ Богомъ. Если вы оскорбили меня вашимъ непослушаніемъ, то еще больше оскорбили Бога преступленіемъ; невинная кровь пролита! Молитесь Богу, чтобы Онъ васъ простиль!» При этомъ государь обнажилъ голову и, обернувшись къ церкви, набожно перекрестился. Тутъ вся толпа, какъ одинъ человѣкъ, пала въ раскаяніи на колѣни, принялась молиться. Волненія какъ не бывало. Царскій экипажъ медленно проѣхалъ далѣе, и площадь, какъ послѣ оконченного торжища, въ нѣсколько минутъ опустѣла.

Къ концу іюля, благодаря принятymъ мѣрамъ, страшная эпидемія въ Петербургѣ начала ослабѣвать; но карантинъ, окружавшій Царское Село и Павловскъ, еще не снимался, и всѣ сношенія поэтовъ-идилликовъ съ остальнымъ міромъ ограничивались письмами, которыя на почтѣ протыкались и окุривались. Изъ корреспондентовъ ихъ особенно паль духомъ Плетневъ, котораго никогда не унывавшій Пушкинъ не преминулъ ободрить добрымъ словомъ:

«Эй, смотри: хандра хуже холеры; одна убиваетъ только тѣло, другая убиваетъ душу. Дельвигъ умеръ, Молчановъ умеръ, погоди, умретъ и Жуковскій, умремъ и мы. Но жизнь все еще богата, мы встрѣтимъ еще новыхъ знакомцевъ, но-

вые созрѣютъ намъ друзья, дочь у тебя будетъ рости, выро-  
стеть невѣстой. Мы будемъ старые хрычи, жены наши ста-  
рыя хрычовки, а дѣтки будутъ славные, молодые ребята; маль-  
чики станутъ повѣсничать, а дѣвчонки сентиментальничать, а  
намъ то и любо. Вздоръ, душа моя; не хандри—холера на-дняхъ  
пройдетъ, были бы мы живы, будемъ когда-нибудь и веселы».

Самъ Пушкинъ съ Жуковскимъ продолжали изощряться въ  
писаніи веселыхъ стиховъ и особенно сказокъ.

«О, еслибы ты зналъ, сколько прелестей вышло изъ подъ  
пера сихъ мужей,—писалъ Гоголь своему другу Данилевскому  
въ Сординцы.—У Пушкина повѣсть октавами писанная—  
«Кухарка»<sup>1)</sup>, въ которой вся Коломна и петербургская при-  
рода живая. Кромѣ того, сказки русскія народныя,—не то,  
что «Русланъ и Людмила», но совершенно русскія. Одна  
писана даже безъ размѣра, только съ риѳмами, и прелестъ не-  
вообразимая<sup>2)</sup>. У Жуковскаго тоже русскія народныя сказки,  
однѣ гекзаметрами, другія четырехстопными стихами, и—чуд-  
ное дѣло,—Жуковскаго узнать нельзя».

Насколько простыя пріятельскія отношенія установились  
у Гоголя съ Пушкинымъ, видно уже изъ того, что даже письма  
къ себѣ онъ просилъ родныхъ адресовать въ Царское Село на  
имя Пушкина.

Когда онъ въ августѣ мѣсяцѣ собрался въ Петербургъ,  
куда звали его какъ преподавательскія обязанности въ Па-  
триотическомъ институтѣ, такъ и хлопоты по изданію «Вече-  
ровъ на хуторѣ»,—Пушкинъ поручилъ ему отвезти Плет-  
неву рукопись своихъ «Повѣстей Бѣлкина».

Особенно, впрочемъ, торопиться Гоголю на службу, оказа-  
лось, было нечего. Когда онъ вошелъ въ подъѣздъ института,  
швейцарь съ поклономъ объявилъ ему, что никого-де не вѣ-  
льно пускатъ.

— Какъ не вѣльно? почему?

<sup>1)</sup> «Домикъ въ Коломнѣ», вчернѣ оконченная еще осенью 1830 г.  
въ Болдинѣ.

<sup>2)</sup> Очевидно, «Сказка о купцѣ Остолопѣ».

— Карантинъ-сь.

— Но вѣдь, по газетамъ, холера въ Петербургѣ совсѣмъ прекратилась?

— По газетамъ, да-сь, но г-жа начальница все-же опасаются.

Гоголь вышелъ на середину улицы и окинувъ оттуда взоромъ все зданіе института: не выглядятъ ли кто? А тамъ, у закрытыхъ оконъ, дѣйствительно, стояло уже нѣсколько воспитанницъ средняго возраста—ученицъ его, которыхъ обрадовались ему точно также, какъ онъ имъ, и на поклонъ его весело ему закивали. Онъ пожалъ съ собою изнованіемъ плечами, вторично снялъ шляпу и повернувъ обратно къ набережной. А за окнами продолжали слѣдить за нимъ:

— Mesdames! смотрите, Гоголь! онъ живъ, слава Богу!

— Mesdames! онъ и на улицѣ машетъ платкомъ!

Когда, въ началѣ сентября, двери института наконецъ открылись, Гоголь засталъ въ пріемной трогательную группу: нѣсколько классныхъ дамъ обступили какую-то молоденькую барышню въ глубокомъ траурѣ, горько плачущую, и наперерывъ ее обнимали, утѣшали. Гоголь послѣшилъ проскользнуть мимо, но, войдя въ классъ и поздоровавшись съ ученицами, спросилъ ихъ о видѣнной сейчасъ сценѣ.

— Какъ! вы не знаете Вальпульскую?—вскричали тѣ ходомъ.—Вѣдь это дочь нашего бѣднаго, милаго Вальпульскаго!

— Нѣмецкаго учителя? Да развѣ онъ умеръ?

— Умеръ, умеръ отъ этой ужасной холеры! Такъ же, какъ и французъ Бавіонъ; но Бавіона не такъ ужъ жалко: онъ училъ у насъ недавно.

— Такъ и меня вамъ не было бы жалко?

— Что вы, Николай Васильевичъ! Нѣкоторая изъ насъ сшили по Вальпульскому на свои салфетки черныя кольца съ плерезами. И по васъ бы сшили.

Суевѣрнаго Гоголя покоробило.

— Благодарю покорно!—сказалъ онъ съ натянутой улыбкой.—А какъ же старикъ Вальпульскій-то не уберегся?

— Да онъ самъ сглазилъ: «Если холера можетъ приключиться отъ кваса и ботвины,— говорилъ онъ намъ, прощаюсь,— то я навѣрное помру, потому что не могу жить лѣтомъ безъ ботвины». — «Нѣтъ, нѣтъ! пожалуйста, не кушайте ея!» зачрикали мы. А вотъ, оно такъ и вышло!

Еще болѣе института, впрочемъ, занималь теперь Гоголя наборъ его книги, которая печаталась въ казенной типографіи министерства народнаго просвѣщенія. Когда онъ въ самый день своего прѣѣзда въ Петербургъ заглянулъ въ наборную и спросилъ, почему въ теченіе всего лѣта ему не присыпалось въ Павловскъ ни одной корректуры, всѣ наборщики, стоявшіе рядомъ за своими станками, вмѣсто отвѣта, запрыскали въ руку. Онъ отправился въ контору къ фактору. Тотъ сталъ было оправдываться карантиномъ и множествомъ работы, но въ заключеніе признался, что во время холеры съ рабочимъ людомъ просто сладу не было: съ горя цѣльые дни гуляютъ: «все одно, молъ, помирать-то».

— Ну, моя книжка передъ смертью во всякомъ случаѣ ихъ нѣсколько развеселила,— сказалъ Гоголь.—Когда я сунулся въ наборную, они, уже глядя на меня, зафыркали.

— Да-съ, ваши штучки оченно даже, можно сказать, до чрезвычайности забавны,— согласился факторъ,— и наборщикамъ нашимъ принесли большую пользу.

«Изъ этого я заключиль, что я—писатель совершенно во вкусѣ черни», писалъ затѣмъ Гоголь Пушкину.

Благодаря постояннымъ его напоминаніямъ въ типографіи, «Вечера на хуторѣ» увидѣли свѣтъ Божій уже въ первой половинѣ сентября, и счастливый авторъ послѣшилъ подѣлиться своею радостію съ дорогими его сердцу людьми въ нижеслѣдующемъ, вполнѣ «гоголевскомъ» письмѣ къ Жуковскому, который, какъ и Пушкинъ и Россетъ, жилъ еще въ Царскомъ:

«Насилу могъ я управиться съ своею книгою и теперь только получилъ экземпляры для отправленія вамъ. Одинъ собственно для васъ, другой для Пушкина, третій съ сентиментальною надписью для Россетъ, а остальные—тѣмъ, кому вы

по усмотрѣнію своему опредѣлите. Сколько хлопотъ надѣлала мнѣ эта книга! Три дня я толкался изъ типографіи въ цензурный комитетъ, и наконецъ теперь только перевелъ духъ. Боже мой! сколько экземпляровъ я бы отдалъ за то, чтобы увидѣть васъ хоть на минуту. Еслибы,—часто думаю себѣ,—появился въ окрестностяхъ Петербурга какой-нибудь бродяга, ночной разбойникъ, и укралъ этотъ несносный кусокъ земли, эти 24 версты отъ Петербурга до Царскаго Села, и съ ними бы далъ тягу на край свѣта, или какой-нибудь проголодавшійся медвѣдь упряталъ ихъ, вместо завтрака, въ свой медвѣжій желудокъ. О, съ какимъ бы я тогда восторгомъ стражнуль власами головы моей прахъ сапоговъ вашихъ, возлегъ у ногъ вашего превосходительства и ловилъ бы жаднымъ ухомъ сладчайшій нектаръ изъ усть вашихъ, пріготовленный самими богами изъ тѣмочисленнаго количества вѣдьмъ, чертей и всего любезнаго нашему сердцу. Но не такова досадная дѣйствительность или существенность. Карантины превратили эти 24 версты въ дорогу отъ Петербурга до Камчатки. Знаете ли, что я узналъ надняхъ только? что э... но вы не повѣрите мнѣ, назовете меня суевѣромъ; что всему этому виною никто другой, какъ врагъ честнаго креста церквей Господнихъ и всего огражденнаго святымъ знаменiemъ. Это чортъ надѣлъ на себя зеленый мундиръ съ гербовыми пуговицами, привѣсилъ сбоку остроконечную шпагу и стала карантиннымъ надзирателемъ. Но Пушкинъ, какъ ангель святой, не побоялся сего рогатаго чиновника, какъ духъ пронесся его мимо и во мгновеніе ока очутился въ Петербургѣ, на Вознесенскомъ проспектѣ, и воззвалъ голосомъ трубнымъ ко мнѣ, лѣпившему по низменному тротуару, подъ высокими домами. Это была радостная минута; она уже прошла. Это случилось 8-го августа, и къ вечеру того-же дня стало все снова скучно, темно, какъ въ домѣ опустѣломъ:

«Окна мѣломъ  
Забѣлены, хозяйки нѣть;  
А гдѣ—Богъ вѣсть! пропалъ и слѣдъ!»<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Изъ «Евг. Онѣгина».

Первая подробная и довольно благоприятная рецензия о «Вечерахъ» появилась тотчасъ по выходѣ книги въ булгаринской «Сѣверной Пчелѣ» (20 и 30 сентября). Вслѣдъ затѣмъ (3 октября) въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ» къ «Русскому Инвалиду» издатель ихъ Воейковъ напечаталъ извлеченіе изъ письма къ нему Пушкина, который, рассказывая о томъ, какъ фыркали наборщики при видѣ автора «Вечеровъ», говорилъ, что «Мольеръ и Фильдингъ, вѣроятно, были бы рады разсмѣшить своихъ наборщиковъ», и поздравляя публику «съ истинно-веселою книгою», а автору «сердечно желалъ дальнѣйшихъ успѣховъ».

Отзыvъ нашего первого поэта былъ немедленно перепечатанъ во французскомъ переводѣ въ еженедѣльникѣ «Le miroir».

А какъ же отнеслась «публика» къ автору-дебютанту? Въ три мѣсяца съ небольшимъ, къ началу слѣдующаго (1832) года, первое изданіе книги его уже разошлось, и надо было подумать о новомъ наборѣ.

Общій курсъ школы жизни былъ Гоголемъ пройденъ, экзаменъ сданъ успешно. Чего же болѣе? Но и въ школѣ жизни для «мастеровъ дѣла» есть еще свой специальный классъ, и самъ Пушкинъ взялся быть его наставникомъ въ этомъ классѣ.





## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

### Въ специальномъ классѣ школы жизни.

---

**В**ъ осеннюю пору деревня представляла для Пушкина, какъ извѣстно, особенную прелесть. Хотя дача и не могла замѣнить ему деревни, но въ Царскомъ Селѣ дышалось все-же гораздо легче, чѣмъ въ Петербургѣ, и онъ перебрался сюда на зимнее житѣе только съ заморозками въ октябрѣ. Тутъ одинъ изъ первыхъ визитовъ его былъ къ Гоголю, который между тѣмъ устроился на новой квартирѣ (въ четвертомъ же этажѣ на Офицерской, въ домѣ Брунста).

— А у васъ здѣсь, ей-богу, премило,—говорилъ Пушкинъ, озираясь въ просторномъ и, дѣйствительно, очень уютномъ жильѣ.—Вся эта обстановка, конечно, хояйская?

— Нѣть, моя собственная,—отвѣчалъ Гоголь, самодовольно потирая руки.—Кое-что у меня уже имѣлось съ первого пріѣзда въ Питеръ; остальное: вотъ письменный столъ съ кресломъ, бюро, да вонъ старинныя гравюры на стѣнѣ прикупилъ теперь на Толкучкѣ...

— На Толкучкѣ!

— А что вы думаете: тамъ такія сокровища, какихъ въ иномъ большомъ магазинѣ не найдете.

— Но мебель какъ-будто совсѣмъ новая, сейчасъ только отполирована...

Тонкая усмѣшкa пробѣжала по губамъ Гоголя.

— Значить, не даромъ столько политуры и силь потратилъ!

— Т.-е. какъ вѣсъ понимать? Не собственоручно же вы полировали?

— Вотъ этими самыми руками: и дешево, знаете, и сердито.

— Не зналъ я за вами такихъ талантовъ! Но хорошенъкія занавѣски эти не сами же вы смастерили?

— Выкроилъ самъ и показывалъ, какъ шить.

— Браво! Какъ станемъ съ Натальей Николаевной обзаводиться своимъ домкомъ, такъ позволимъ себѣ вѣсъ также обезпокоить. Зашелъ я, однако, сегодня къ вамъ не за этимъ.

•Но умыселъ другой тутъ бытъ:  
Хозяинъ музыку любилъ.»

Вѣ какомъ положеніи, скажите, вашъ второй сборникъ «Вечеровъ диканьскихъ»?

— Покамѣсть въ переходномъ, такъ-сказать, въ неглиже: нѣть ни одной штуки вполнѣ отѣланной, чтобы можно было показать вамъ.

— Ну, съ своимъ братомъ писателемъ вамъ нечего чиниться. Меня интересуетъ именно ваше творчество. Покажите-ка, покажите, что у васъ наготовлено.

Пушкинъ, самъ Пушкинъ интересовался его творчествомъ!

Гоголь выгрузилъ на столъ весь ворохъ своихъ писаній и торопливо началъ перелистывать ихъ, не зная, на чёмъ остановиться. Но Пушкинъ рѣшилъ вопросъ, наложивъ руку на самую объемистую тетрадь:

— Вѣдь я вамъ, душенька, все равно ничего не прошу. Чѣдѣ это такое? «Ночь передъ Рождествомъ»? Ну, вотъ и извольте читать.

Гоголя послушно сѣлъ и сталъ читать. Безподобныя сцены Солохи съ чортомъ, Вакулы съ Оксаной, и т. д., и т. д., надъ которыми съ тѣхъ поръ болѣе полузвѣка хохочетъ вся грамотная Россія, впервые развернулись тогда передъ Пушкинымъ, который не разъ во время чтенія награждалъ автора самымъ искреннимъ смѣхомъ.

— Это, пожалуй, еще лучше всѣхъ прежнихъ разсказовъ пасичника,—замѣтилъ онъ, когда Гоголь закрылъ тетрадь.—

Тутъ не столько даже остроумія, сколько здороваго юмора: острота смѣшитъ, юморъ веселить.

— А вы не сдѣлаете мнѣ никакихъ замѣчаній? — спросилъ Гоголь, которому такая похвала, какъ хмель, ударила въ голову.

— Сегодня — нѣть, — уклонился Пушкинъ: — сегодня я гость и смакую только. Но однимъ глазкомъ я охотно заглянуль бы еще въ вашъ чуланчикъ съ сырой провизіей. У васъ вѣдь тоже, конечно, имѣются разныя летучія замѣтки?

— Какъ не быть...

— Ну, такъ выкладывайте-ка свое сырье, изъ котораго стряпаются потомъ такія вкусныя вещи, какъ эта «Ночь передъ Рождествомъ».

Дѣлать нечего — пришлось выкладывать свое «сырье». Какъ знатокъ- антикварій, попавшій къ другому собирателю древностей, съ одинаковымъ интересомъ разглядываетъ и большую мраморную статую и миніатюрную, но рѣдкую камею, такъ же точно Пушкинъ съ неослабѣвающимъ любопытствомъ перебирая выложенную передъ нимъ рукописную груду, не пропуская ни одного клочка бумаги съ случайной замѣткой, набросанной карандашомъ. Всего болѣе же заняла его записная тетрадка Гоголя за время путешествія его изъ Полтавы въ Петербургъ: тутъ были не только мимолетныя наблюденія туриста — описанія мѣстностей, одѣждъ и нравовъ, но и цѣлые разговоры съ встрѣчными людьми.

— Да вы просто Крезъ! — сказалъ Пушкинъ. — И способъ, которымъ вы собираете ваши богатства, надо сознаться, гораздо систематичнѣе моего.

— А вашъ способъ какой? — спросилъ Гоголь.

— Какъ накопится у меня въ головѣ запасъ наблюденій, я нарѣжу себѣ пачку билетиковъ, сдѣлаю на каждомъ подходящій ярлыкъ и положу всю пачку въ вазу на рабочемъ столѣ. А выдастся разъ свободная минута, — достану изъ вазы наугадъ, какъ въ лоттереѣ, тотъ или другой билетикъ, и какой бы мнѣ тутъ ни попался заголовокъ, напр., «Державинъ» или «Русская изба», въ памяти моей разомъ возстанетъ все то, что мнѣ хотѣлось сказать о Державинѣ или русской избѣ...

— И вы тотчас записываете все на томъ-же билетикѣ?

— Если найдется на немъ мѣсто; если же нѣтъ, то продолжаю на другой бумажкѣ. Многое, конечно, такъ и останется безъ употребленія; но наслѣдникамъ моимъ будетъ хоть чѣмъ пополнить посмертное изданіе моихъ сочиненій! — съ грустною шутливостью добавилъ Пушкинъ. — Сами же вы, Николай Васильевичъ, оставайтесь при вашей системѣ. Не все въ вашихъ самородкахъ золото, есть и шлаки; но я помогу вамъ отдѣлить ихъ, по пословицѣ: кого люблю, того и бью.

Такъ все болѣе сближались наши два великие писателя, хотя звѣзда одного изъ нихъ стояла уже въ зенитѣ, а звѣзда другого едва восходила надъ горизонтомъ. Встрѣчались они не только другъ у друга, но и у Жуковскаго, Плетнева и Россетъ. На одномъ изъ понедѣльниковъ у послѣдней Гоголь удостоился читать свою «Майскую ночь» великому князю Михаилу Павловичу; въ другой понедѣльникъ — самому государю. Государь обошелся съ молодымъ писателемъ очень милостиво, поговорилъ съ нимъ о Малороссіи, о гетманахъ Хмельницкомъ и Скоропадскомъ, а когда узналъ, что Гоголь приходится внучатымъ племянникомъ покойному министру юстиціи Трощинскому, то отозвался съ большою похвалою объ этомъ выдающемся сотруднику Екатерины II и Александра I. Тутъ рѣчь зашла и о вѣрности старыхъ русскихъ слугъ.

— Никто такъ звучно не воспѣлъ ихъ, какъ нашъ Искра, — сказала Россеть, давшая Пушкину, между прочимъ, и это прозвище: — его няня Арина Родіоновна будетъ вѣчно жить въ его чудныхъ стихахъ.

— Прочитай-ка намъ что-нибудь про нее, Пушкинъ, — предложилъ государь.

Пушкинъ, немножко подумавъ, сталъ читать свое несравненное стихотвореніе: «Наперсница волшебной старины», гдѣ няня и бабушка поэта, Марья Алексѣевна Ганнибалъ (еще ранѣе няни разсказывавшая ему семейныя преданія) сливаются въ одинъ общій образъ музы-старушки, а та внезапно превращается въ молодую красавицу-музу.

— Какіе восхитительные, мелодичные стихи! — сказалъ государь.

— И какъ плохо прочтены! — подхватила Россеть: — онъ вѣчно мчится галопомъ!

— Однако, вы обращаетесь съ поэтомъ безъ церемоній.

— Это мой самый строгій цензоръ, гораздо строже вашего величества,—сказалъ Пушкинъ.—Она уважаетъ только поэзію, а не поэтовъ, которыхъ третируетъ свысока. Но ухо у нея вѣрное и музыкальное.

— Въ такомъ случаѣ ты на будущее время приноси свои новые стихи ей, а она уже будетъ передавать ихъ мнѣ на послѣднюю цензуру: она будетъ твоимъ фельдѣгеремъ ко мнѣ.

По уходѣ государя разговоръ сдѣлался опять общимъ. Было тутъ не мало людей умныхъ и остроумныхъ, каждый считалъ долгомъ подсыпать свою щепотку аттической соли; это была какъ-бы скачка остроумцевъ, но Пушкинъ велъ скачку и своими неожиданными выводами опрокидывалъ всякия соображенія.

— Ну, Пушкинъ,—замѣтилъ Жуковскій,—ты такъ уменъ, что съ тобой говорить невозможно. Чувствуешь, что ты неправъ, и однако съ тобой соглашаешься.

Отвѣтомъ Пушкина былъ тотъ звонкій, чистосердечный смѣхъ, которому такъ завидовалъ Брюлловъ, говорившій:

— Какой счастливецъ Пушкинъ! смѣется, словно кишкі видны.

Одинъ только новичекъ и дичокъ Гоголь не принималъ участія въ оживленной бесѣдѣ «аристократовъ ума и литературы». Но, сидя въ сторонѣ, онъ не сводилъ глазъ съ Пушкина и тихо-молкомъ заносилъ слова его въ свою карманную записную книжку.

— Записывайте, записывайте,—сказала ему, подходя, молодая хозяйка.—Сверчокъ нынче особенно въ ударѣ; это какой-то фейерверкъ. Знаете ли вы, что говорилъ онъ мнѣ про ваши замѣтки, которые вы показывали ему на дому?—продолжала она, таинственно понижая голосъ.—«Я просто пораженъ наблюданностью нашего молчальника-хохла!—говорилъ онъ:— хохоль все видѣть, все слышать, схватываетъ самые неулов-

вимые оттѣнки, особливо же все смѣшное. Но онъ не только смѣется: онъ бываетъ и грустенъ; онъ разсмѣшить, но заставить и плачать. И помяните мое слово: раньше десяти лѣтъ онъ будетъ русскимъ Стерномъ!»

— Это предсказалъ самъ Александръ Сѣргѣевичъ?

— Да, а вы ужъ постарайтесь оправдать его предсказаніе, слушайтесь его совѣтовъ. Онъ васъ, кажется, сердечно полюбилъ.

— Кажется, что такъ; по крайней мѣрѣ обѣщался примѣнить на мнѣ поговорку: кого люблю, того и бью.

Испытать на себѣ силу этой поговорки Гоголю пришлось, дѣйствительно, въ полной мѣрѣ. Сколько разъ, бывало, въ теченіе послѣдующей зимы Пушкинъ взбѣгалъ къ нему на четвертый этажъ и засиживался у него до глубокой ночи, безпощадно очищая его самородки въ огненномъ горнилѣ своей художественной критики.

Въ томъ-же домѣ и на одной даже лѣстницѣ съ Гоголемъ проживалъ въ 1831 году безвѣстный еще тогда музыкантъ Штейнъ, впослѣдствіи профессоръ Петербургской консерваторіи. Познакомившись со Штейномъ, Гоголь нерѣдко заходилъ къ молодому сосѣду, когда тотъ фантазировалъ на фортепіано. И вотъ, однажды, когда Штейнъ, возвратясь поздно изъ гостей, огласилъ опять лѣстницу чарующими звуками, въ комнату къ нему ворвался Гоголь. Видъ у него былъ до того разстроенный, что Штейнъ испугался.

— Чѣмъ съ вами, Николай Васильевичъ? чѣмъ случилось?

— Ничего, ничего... играйте...— пробормоталъ Гоголь, бросаясь на диванъ.

Штейнъ снова заигралъ. Но вдругъ ему, сквозь музыку, почудились со стороны дивана всхлипы. Что за диво! Онъ прекратилъ игру и оглянулся: Гоголь, этотъ невозмутимый флегматикъ, безпardonный насмѣшникъ, припалъ лицомъ на руки и рыдалъ, да, рыдалъ!

Но когда Штейнъ подошелъ къ нему и участливо тронулъ его за плечо, Гоголь сердито буркнулъ:

— Ахъ, оставьте меня!.. Играйте, пожалуйста...

— Музыка васъ еще болѣе разстроить,—сказалъ Штейнъ.—Не заходилъ ли къ вамъ опять г-нъ Пушкинъ?

Имя Пушкина какъ острымъ ножомъ разбередило свѣжую рану.

— О, не называйте его! — вскричалъ Гоголь въ полномъ отчаянья.—Онъ меня ни въ грошъ не ставить, онъ меня презираеть!..

— Но за что?

— Какая жизнь послѣ этого? — не слушая, продолжалъ всхлипывать Гоголь.—Одно только и остается—умереть...

Не малаго труда стоило Штейну выпытать у бѣдняги, въ чёмъ дѣло. Оказалось, что Пушкинъ распушилъ его въ пухъ и прахъ за его «невѣжество».

— И онъ правъ, онъ тысячу разъ правъ! — въ порывѣ самобичеванія восклицалъ Гоголь. — Что такое талантъ безъ знанія?

— Но вы же прошли университетскій курсъ?

— Въ гимназіи «высшихъ наукъ»—да. Но извѣстны ли мнѣ на самомъ дѣлѣ эти высшія науки? Знаю ли я сколько-нибудь иностранныя литературы? Чѣмъ я читалъ? Я—невѣжда, я — круглый невѣжда! Какимъ же могу я быть писателемъ, глашатаемъ народнымъ, когда самъ едва разбираю азы?

— А г-нъ Пушкинъ не назвалъ вамъ развѣ книгу, кото-  
рыя вамъ слѣдуетъ прочитать?

— Нѣкоторыя назвалъ...

— Такъ и прочитайте. Вы еще такъ молоды, что можете перечитать, выучить наизусть хоть сотню книгъ.

И чтобы поскорѣе успокоить нервиы своего несчастнаго приятеля, Штейнъ сыгралъ ему одну изъ духовныхъ пьесъ Гайдна, смягчающихъ своею величественною, стройною гармо-  
нией самое ожесточенное сердце <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Про описанную выше сцену слышалъ отъ самого профессора Штейна сынъ его Р. Ф. Штейнъ, извѣстный нашъ иллюстраторъ, а отъ послѣдняго—пишущій эти строки.

Совѣты Пушкина Гоголю относительно чтенія иностранныхъ писателей и мыслителей не остались безплодны: въ запискахъ А. О. Россетъ-Смирновой перечислены слѣдующія сочиненія, прочитанныя Гоголемъ по совѣту Пушкина: по англійской литературѣ—тѣ изъ драмъ Шекспира, которыя имѣлись уже тогда въ русскомъ переводѣ, по испанской—«Донъ-Кихотъ» Сервантеса (во французскомъ переводѣ), по нѣмецкой (въ оригиналѣ)—кромѣ Шиллера, уже извѣстнаго Гоголю, «Фаустъ», «Вильгельмъ Мейстеръ» и нѣкоторыя другія произведенія Гёте, «Натанъ Мудрый» и «Гамбургская драматургія» Лессинга; наконецъ, по французской (также въ оригиналѣ)—трагедіи Расина и Корнеля, комедіи Мольера, сказки Вольтера, басни Лафонтена, «Опыты» («Essais») Монтэнга, «Мысли» Паскаля, «Персидскія письма» Монтескье, «Характеры» Ла-Брюйера.

Отчаявшись Гоголю, въ дѣйствительности, было нечего. Благодаря чтенію, а также постоянному общенію съ живыми носителями русской поэзіи и мысли, литературный и умственный кругозоръ его все болѣе расширялся. И Пушкинъ сталъ относиться къ нему уже не какъ къ нерадивому ученику, а какъ къ даровитому младшему товарищу. Въ теченіе всѣхъ пяти лѣтъ, которыя Гоголь оставался еще въ Петербургѣ, Пушкинъ не переставалъ забѣгать къ нему и цѣлые вечера проводилъ съ нимъ съ глазу на глазъ. Гоголь прочитывалъ, а Пушкинъ то ободрялъ его добрымъ смѣхомъ, добрымъ словомъ, то дѣлалъ какое-нибудь мѣткое замѣчаніе. Иной разъ, впрочемъ, и самъ Пушкинъ приносилъ свои новые стихи. По своей живой натурѣ онъ нерѣдко горячился, но уходилъ почти всегда въ наиболѣшемъ расположеніи духа.

— Еще ни у одного писателя,—говорилъ онъ,—не было этого дара выставлять такъ ярко пошлость человѣка, чтобы вся та мелочь, которая ускользаетъ отъ глазъ, мелькнула крупно въ глаза всѣмъ.

Только слушая первыя главы «Мертвыхъ душъ», въ первоначальной редакціи которыхъ, по заявлению самого Го-

голя, были выведены не люди, а «чудовища», Пушкинъ дѣлался все мрачнѣе и мрачнѣе, пока не воскликнулъ:

— Боже, какъ грустна наша Россія!

Однажды, послѣ продолжительной отлучки изъ Петербурга, Пушкинъ, зайдя опять къ Гоголю, не засталъ его дома.

— Да вамъ чего? — спросилъ Якимъ, когда Пушкинъ тѣмъ не менѣе, какъ былъ «въ шинелькѣ», вошелъ въ кабинетъ барина.— Записочку написать?

— Нѣтъ, не записочку,—былъ отвѣтъ,—а посмотретьть, не сочинилъ ли твой баринъ чего новенькаго, хорошенъкаго.

И, говоря такъ, Пушкинъ принялъся рыться въ разбросанныхъ на письменномъ столѣ бумагахъ отсутствовавшаго хозяина.

А ужъ какъ самъ Гоголь цѣнилъ такую привязанность къ нему Пушкина!

«Не робѣй, воробей, дерись съ орломъ!» говорилъ онъ когда-то, когда мнилъ себя поэтомъ. Теперь, напротивъ, самъ орелъ побратался съ нимъ, призналъ его орленкомъ. Мало ли на свѣтѣ породъ орлиныхъ? Не нынче—завтра онъ самъ станетъ орломъ, которому будетъ отъ всѣхъ птицъ почетъ.

Еще лѣтомъ 1831 г. Гоголь отказался отъ всякой денежной помощи матери. Теперь онъ по нѣсколько разъ въ годъ сталъ посыпать ей и сестрамъ разные столичные гостинцы: браслеты, перчатки, башмаки, ридикюли, ковры, конфекты и т. п. Когда отвѣтъ на одну изъ такихъ посылокъ затерялся, онъ шутливо посовѣтывалъ матери:

«Въ предотвращеніе подобныхъ беспорядковъ, впредь прошу адресовать мнѣ просто Гоголю, потому что кончикъ моей фамилии я не знаю куда дѣлся. Можетъ-быть кто-нибудь поднялъ его на большой дорогѣ и носитъ, какъ свою собственность».

Посыпая ей (въ мартѣ 1832 г.) на расходы по свадьбѣ своей старшей сестры Машеньки, или, какъ ее теперь звали, Marie, 500 руб., онъ разъ навсегда отказался и отъ протекціи провинціаловъ:

«Вы все еще, кажется, привыкли почитать меня за нищаго, для которого всякий человѣкъ съ небольшимъ именемъ и знакомствомъ можетъ надѣлать кучу добра. Но прошу васъ не беспокоиться объ этомъ. Пусть я имѣю гораздо прямѣе и, признаюсь, не знаю такого добра, которое бы могъ мнѣ сдѣлать человѣкъ. Добра я желаю отъ Бога, и именно—быть всегда здоровымъ и видѣть васъ всегда здоровыми. Вѣрьте моему слову, маменька, что все, кромѣ этого, гниль и суета».

Когда затѣмъ мать попыталаась затронуть общеподобную тему, сынъ отозвался такъ:

«Вы спрашиваете меня, появилась ли точно комета въ Петербургѣ? Охота же вамъ заниматься ею! Мало ли подобной дряни является каждый годъ! По мнѣ хоть бы двадцать кометъ засвѣтило вдругъ и всѣ звѣзды поприцѣпляли къ себѣ длинные хвосты, придерживаясь старой моды, мнѣ бы это не больше принесло радости, какъ прошлаго года упавшій снѣгъ. Впрочемъ, когда вы мнѣ объявили, что есть комета, то я нарочно обсматривалъ по нѣсколько часамъ небо, но никакой звѣзды, даже короткохвостой или куцой, не встрѣтилъ».

Такимъ же полуупрзительнымъ юморомъ дышали и многія изъ писемъ его къ Данилевскому, какъ напримѣръ, отъ 30 марта 1832 г., гдѣ, по поводу прїѣзда въ Петербургъ ихъ общаго школьнаго товарища, Кукольника, котораго оба никогда не долюбливали, говорится:

«Возвышенный все тотъ-же; трагедіи все тѣ же. «Тассъ» его, котораго онъ написалъ уже въ шестой разъ, необыкновенно толстъ, занимаетъ четверть стопы бумаги. Характеры все необыкновенно благородны, полны самоотверженія, и, вдобавокъ, выведенъ на сцену мальчишка 13 лѣтъ, поэтъ и влюбленный въ Тасса по уши. А сравненіями играетъ, какъ мячиками; небо, землю и адъ потрясаешь, будто перышко. Довольно, что прежнія: «губы посинѣли у него цвѣтомъ моря», или «тростникъ шепчетъ, какъ шепчутъ въ мракѣ цѣпи»—ничто противъ нынѣшнихъ».

Кукольникъ, самъ, видно, чувствуя, что ему не мѣсто въ

кружкѣ Пушкина и Гоголя, тогда уже примкнулъ къ противоположному лагерю—Греча, Булгарина и Сенковскаго.

Что касается другихъ нѣжинцевъ, то Гоголь еще съ осени 1831 г. завелъ для нихъ у себя постоянные вечера, для которыхъ нарочно самъ приготавлялъ особые шоколадные сухарики.

«Что тебѣ сказать о нашихъ?—писалъ онъ Данилевскому.—Они все, слава Богу, здоровы, прозябаютъ попрежнему, навѣщаются каждую среду и воскресенье меня, старика».

Орленокъ, въ предчувствіи своей будущей силы, возносился, пожалуй, даже черезчуръ надъ воробьями, чижами и прочей птичьей мелюзгой.





## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Дипломъ на «мастера своего дѣла».

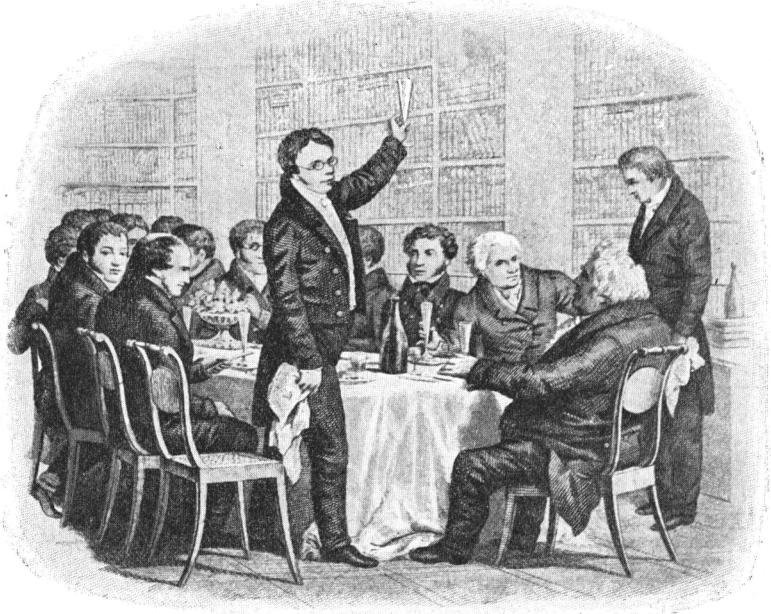
**В**ѣкъ живи—вѣкъ учись», гласить народная мудрость. Школа жизни, въ обширномъ смыслѣ слова, продолжается, конечно, цѣлую жизнь; въ тѣсномъ смыслѣ это—періодъ «ученичества», пока человѣкъ изъ «учениковъ» не выработается до степени «мастера». Талантъ Гоголя росъ не по днямъ, а по часамъ; послѣдняя редакція каждого новаго его произведенія попрежнему не миновала руки геніального учителя—Пушкина. Такъ, уѣхавъ разъ въ деревню, Пушкинъ взялъ съ собой для просмотра и рукопись первой комедіи ученика—«Женіхи» (переименованной затѣмъ въ «Женитьбу»).

Къ нему же Гоголь обращался за новыми темами:

«Сдѣлайте милость,—взыывалъ онъ въ одномъ письмѣ,—дайте какой-нибудь сюжетъ, хоть какой-нибудь смѣшной или несмѣшной, но русскій чисто анекдотъ. Рука дрожитъ написать комедію... Духомъ будетъ комедія изъ пяти актовъ и, клянусь, куда смѣшнѣе чертъ».

И Пушкинъ великодушно уступилъ ему двѣ собственныхъ темы, изъ которыхъ Гоголь создалъ неподражаемую комедію («Ревизоръ») и несравненный бытовый романъ («Мертвые души»).

Но еще до этого ученикъ справился съ своей образцовой работой на званіе «мастера», выпустивъ въ 1835 г. въ свѣтъ третій сборникъ разсказовъ—«Миргородъ». Изъ числа ихъ



## Обѣдъ у Смирдина

въ 1833 г.

(Рисунокъ К. Брюллова).

На хозяйскомъ мѣстѣ сидитъ Крыловъ. Около него стоитъ Смирдинъ. Вправо отъ Крылова помѣщаются: графъ Хвостовъ, Пушкинъ и князь Вяземскій (въ очкахъ). Слѣва стоитъ, провозглашавшая тостъ, Гречъ, нальво отъ которого сидятъ: князь Шаховской и Булгаринъ.



«Скора Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ», написанная еще въ 1831 г. и впервые напечатанная въ альманахѣ Смирдина «Новоселье» въ 1834 г.<sup>1)</sup>), составляла какъ бы переходъ отъ былей и небылицъ пасичника Рудого Панька къ новому роду гораздо глубже продуманныхъ разсказовъ «Вій», «Старосвѣтскіе помѣщики» и «Тарасъ Бульба». Незадолго еще передъ тѣмъ выступившій въ журналистикѣ критикъ, занявший, однако, между собратьями по перу очень скоро первенствующее положеніе,—Бѣлинскій ранѣе всѣхъ привѣтствовалъ въ авторѣ «Миргорода» первокласснаго юмориста - художника. Званіе «мастера» было признано за Гоголемъ официально; недоставало только диплома; но и тотъ, какъ мы сейчасъ увидимъ, былъ ему выданъ въ началѣ лѣта 1836 г. до отъѣзда его на многіе годы за границу.

«А какъ же жилось Гоголю въ теченіе послѣдніхъ пяти лѣтъ?»—полюбопытствуютъ, можетъ быть, читатели.

Задача наша—рассказать объ «ученичествѣ» Гоголя—исполнена, и потому въ отвѣтѣ нашемъ на возможный вопросъ мы ограничимся только главнѣйшими фактами.

Не перенося петербургскаго болотистаго климата, Гоголь постоянно хвораль и лѣтомъ 1832 г. собрался «на подножный кормъ» на родину къ матери и сестрамъ.

<sup>1)</sup> Первый томъ «Новоселья» вышелъ за годъ передъ тѣмъ съ слѣдующимъ объясненіемъ «Отъ издателя»:

...«Простой случай—перемѣщеніе книжнаго магазина моего на Невскій проспектъ (19 февраля 1832 г.)—доставилъ мнѣ счастіе видѣть у себя, на новосельѣ, почти всѣхъ извѣстныхъ литераторовъ.

«Гости-литераторы, изъ особенной благосклонности ко мнѣ, вызвались, по предложенію Василія Андреевича Жуковскаго, подарить меня на новоселье каждый своимъ произведеніемъ, и вотъ дары, коихъ часть издаю нынѣ»...

Заглавный листъ этого альманаха былъ украшенъ прилагаемою виньеткою. Въ числѣ гостей хлѣбосольнаго книгопродавца мы не видимъ здѣсь Гоголя, который или вовсе не былъ приглашенъ, или оставленъ художникомъ безъ вниманія, какъ не давшій еще ничего для альманаха. Зато въ слѣдующемъ томѣ «Новоселья» (за 1834 г.), где появилась «Скора Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ», къ повѣсти былъ приложенъ очень характерный рисунокъ, изображавшій самый моментъ «ссоры».

«Наши нѣжинцы почти всѣ потянулись на это лѣто въ Малороссію, даже Красненькій уѣхалъ,—извѣщалъ онъ Данилевскаго (15 іюня 1832 г.).—А въ іюль мѣсяцѣ, еслибы тебѣ вздумалось заглянуть въ Малороссію, то засталъ бы и меня, лѣниво возвращающагося съ поля отъ косарей, или беззаботно лежащаго подъ широкой яблоней, безъ сюртука, на коврѣ, возлѣ ведра холодной воды со льдомъ, и проч. Пріѣзжай!»

Но поѣздка эта принесла ему мало пользы. Въ письмѣ изъ Васильевки къ новому московскому знакомцу, молодому профессору Погодину, онъ жаловался, что «одинъ видъ проѣзжающаго экипажа производить въ немъ дурноту», что иногда онъ ощущаетъ «небольшую боль въ печенкѣ и въ спинѣ; иногда болитъ голова, немного грудь». Только къ сентябрю мѣсяцу онъ нѣсколько опять поправился, но не совсѣмъ, потому что «никакъ не могу здѣсь соблюдать діэты (сознавался онъ въ другомъ письмѣ къ тому-же Погодину). Проклятая, какъ нарочно въ этотъ годъ, плодовитость Украины соблазняетъ меня безпрестанно, и бѣдный мой желудокъ безпрерывно занимается варенiemъ то грушъ, то яблокъ».

Собираясь обратно въ Петербургъ, Гоголь рѣшился взять съ собой и двухъ своихъ сестрицъ-подростковъ: Annette и Лизаньку, чтобы опредѣлить ихъ въ Патріотическій институтъ. Тутъ встрѣтился однако протестъ со стороны матери, которая никакъ не могла допустить, чтобы дѣвочкиѣ хали въ такую даль только съ братцемъ да съ его человѣкомъ Якимомъ. И вотъ, за три дня до отѣзда, Якимъ былъ повѣнчанъ съ горничной Матреной, которая, сопровождая затѣмъ мужа въ Петербургъ, приняла барышень въ свое непосредственное вѣдѣніе. Впрочемъ, надо отдать брату честь, что онъ постоянно заботился о томъ, чтобы сестрицы не скучали: проѣздомъ черезъ Москву онъ показалъ имъ Бѣлокаменную и свезъ ихъ въ театръ; въ Петербургѣ точно также нѣсколько разъ былъ съ ними въ театрѣ, звѣринцѣ и другихъ мѣстахъ, накупилъ имъ игрушекъ и сластей, при чемъ строго наблюдалъ за тѣмъ, чтобы дѣвочки не обѣдались, хотя самъ не могъ служить имъ въ этомъ отно-



«Ссора Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ».

(Изъ сборника «Новоселье» 1834 г.).



шениј примѣромъ (въ бюро у него всегда имѣлся запасъ орѣховъ и засахаренныхъ сливъ). Разъ купилъ онъ такимъ образомъ большую банку варенья; когда же Лизанька, получившая свою порцію, пристала къ нему дать ей еще, онъ схватилъ ложку и сталъ ей показывать, какъ юсть одинъ его обжораш знакомый.

— Вотъ этакъ... хорошо, а? А другой, смотри-ка, такъ тотъ юсть еще этакъ...

Лизанька покатывалась со смѣху и не замѣтила, какъ опорожнилась вся банка.

Пристроивъ дѣвочекъ въ институтъ, Гоголь и тамъ продолжалъ снабжать ихъ не только лакомствами, но и всякой всячиной, и обѣ до самой смерти брата видѣли въ немъ какъ-бы второго отца. Одна только старшая, замужняя сестра Marie не признавала уже его авторитета, рѣшалась оспаривать его мнѣнія, за что ей при случай и доставалось отъ брата.

«Я думаю, сестра моя хвораетъ, охаетъ и приготовляетъ новыя философскія мудрыя изреченія по поводу весны,—подтрунивалъ онъ въ письмѣ къ матери на Пасхѣ 1834 г.:—я прошу ее написать на особой запискѣ, которую да приложить къ вашему письму, обстоятельно и подробно, сколько разъ въ этомъ году поспорила. Это будетъ очень любопытная и замѣчательная вещь. Для этого я пришлю ей очень красивый альбомъ. Подъ каждымъ числомъ и днемъ написать: сегодня я поспорила столько-то разъ и, благодареніе Богу, очень успѣшно; сегодня—увы! я не поспорила больше одного раза, но съ помощью Божией, можетъ-быть, завтра за все вознагражду, и такъ далѣе».

Въ 1835 г. онъ вторично навѣстилъ мать въ Васильевкѣ, а оттуда сѣѣздили въ Крымъ, чтобы «попачкаться въ минеральныхъ грязяхъ».

Рядомъ съ литературными и семейными интересами, у Гоголя въ эти годы были и другіе. Такъ, прельстившись примѣромъ Пушкина, занявшагося исторіей Пугачевскаго бунта, онъ задался мыслью написать исторію Малороссіи «въ шести

малыхъ или въ четырехъ большихъ томахъ». Усердно принялъ онъ собирать необходимые для того матеріалы, и въ апрѣльской книжкѣ «Журнала Министерства Народнаго Просвѣщенія» 1834 г. напечаталъ «Отрывокъ изъ исторіи Малороссіи. Томъ I, книга I, глава I».

Между тѣмъ явился новый соблазнъ въ малороссийскихъ пѣсняхъ, собранныхъ Ходаковскимъ.

«Какъ бы я желалъ теперь быть съ вами и пересмотрѣть ихъ вмѣстѣ при трепетной свѣчѣ, между стѣнами, убитыми книгами и книжною пылью, съ радостью жида, считающаго червонцы! — писалъ онъ Максимовичу. — Моя радость, жизнь моя—пѣсни! Какъ я васъ люблю! Чѣмъ всѣ черствыя лѣтописи, въ которыхъ я теперь роюсь, предъ этими звонкими, живыми лѣтописями!.. Я не могу жить безъ пѣсенъ. Вы не понимаете, какая это мука. Я знаю, что есть столько пѣсенъ, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, не знаю. Это все равно, еслибы кто передъ женщиной сказалъ, что онъ знаетъ секретъ, и не объявилъ бы ей».

Отъ пѣсенъ родной старины было рукой подать до матери городовъ русскихъ: «Туда, туда, въ Кіевъ! въ древній, въ прекрасный Кіевъ! — восклицалъ онъ далѣе. — Да, это славно бѣдетъ, если мы займемъ съ тобою кіевскія каѳедры: много можно будетъ надѣлать добра».

Онъ серіозно началъ помышлять о профессурѣ. Въ 1834 г., по протекціи Жуковскаго и Пушкина, ему дѣйствительно была предоставлена каѳедра по всеобщей исторіи въ петербургскомъ университетѣ. Двѣ лекціи, вступительная и другая, прочтенная имъ въ присутствіи Жуковскаго и Пушкина, были блестящи. «Видно, что Гоголь зналъ заранѣе о намѣреніи поэтовъ пріѣхать къ нему на лекцію, и потому приготовился угостить ихъ поэтически,—рассказываетъ одинъ изъ его бывшихъ слушателей (Иваницкій). — Всѣ слѣдующія лекціи Гоголя были очень сухи и скучны... Бывало, пріѣдетъ, поговорить пол-часа съ каѳедры, уѣдетъ, да ужъ и не показывается цѣлую недѣлю».

Годъ спустя онъ уже оставилъ университетъ и писать объ этомъ Погодину съ нескрываемою радостью: «Теперь вышелъ я на свѣжій воздухъ. Это освѣженіе нужно въ жизни, какъ цвѣтамъ дождь, какъ засидѣвшемуся въ кабинетѣ прогулка. Смѣяться, смѣяться давай теперь побольше...»

Увлеченіе исторіей, какъ строгой наукой, очевидно, было только мимолетнымъ. Но занятія Гоголя исторіей Малороссіи принесли все-таки роскошный плодъ—«Тараса Бульбу», такую историческую повѣсть, которая одна уже обезсмертіла имя автора.

Натура его однако требовала смѣха, не простого смѣха, а «сквозь слезы», и, порѣшивъ съ ученой и педагогической карьерой, онъ весь отдался выработкѣ предоставленнаго ему Пушкинскимъ «смѣшного» сюжета для «Ревизора». Въ началѣ 1836 г. комедія была готова.

«Если бы самъ государь не оказалъ своего высокаго покровительства и заступничества,— писалъ Гоголь матери,— то вѣроятно комедія не была бы никогда играна или напечатана».

Первое представлениe «Ревизора» состоялось 22 апрѣля 1836 г. Самъ Гоголь глядѣлъ на свою пьесу изъ ложи вмѣстѣ съ Жуковскимъ, княземъ Вяземскимъ и графомъ Вѣльгорскимъ.

«Всѣ участвующіе артисты какъ-то потерялись,—разсказывается про это первое представлениe Головачева-Панаева:— они чувствовали, что типы, выведенныe Гоголемъ въ пьесѣ, новы для нихъ, и что эту пьесу нельзя такъ играть, какъ они привыкли разыгрывать на сценѣ свои роли въ передѣланныхъ на русскіе нравы французскихъ водевиляхъ.»

Едва ли не одинъ только городничій, котораго игралъ Сосницкій, былъ исполненъ какъ слѣдуетъ; невозможнѣе же всѣхъ кривлялись Бобчинскій и Добчинскій, нарядившіеся просто какими-то шутами.

Какъ отнеслась къ новой комедіи публика, мы узнаемъ изъ воспоминаній Анненкова:

«Уже послѣ первого акта недоумѣніе было написано на

всѣхъ лицахъ (публика была избранная, въ полномъ смыслѣ слова), словно никто не зналъ, какъ должно думать о картинѣ, только-что представленной. Недоумѣваніе это возрастало по-томъ съ каждымъ актомъ... Раза два, особенно въ мѣстахъ, наименѣе противорѣчащихъ тому понятію о комедіи вообще, которое сложилось въ большинствѣ зрителей, раздавался общій смѣхъ. Совсѣмъ другое произошло въ четвертомъ актѣ: смѣхъ по временамъ еще перелеталъ изъ конца залы въ другой, но это былъ какой-то робкій смѣхъ, тотчасъ же и пропадавшій; аплодисментовъ почти совсѣмъ не было; зато напряженное вниманіе, судорожное, усиленное слѣдованіе за всѣми оттѣнками пьесы, иногда мертвая тишина показывали, что дѣло, происходившее на сценѣ, страстно захватывало сердца зрителей. По окончаніи акта прежнее недоумѣніе уже переродилось почти во всеобщее негодованіе, которое довершено было пятымъ актомъ. Многіе вызывали автора потомъ за то, что написалъ комедію, другие за то, что видѣнъ талантъ въ нѣкоторыхъ сценахъ, простая публика за то, что смѣялась, но общій голосъ, слышавшійся по всѣмъ сторонамъ избранной публики, былъ: это—невозможность, клевета и фарсъ! <sup>1)</sup>».

А что же долженъ быть испытывать авторъ?

«Съ самаго начала представленія пьесы я уже сидѣлъ въ театрѣ скучный,—признавался онъ потомъ одному пріятелю.—О восторгѣ и пріемѣ публики я не заботился. Одного только суды изъ всѣхъ бывшихъ въ театрѣ, я боялся, и этотъ судья былъ я самъ. Внутри себя я слышалъ упреки и ропотъ противъ моей же пьесы, которые заглушали всѣ другіе.»

Когда, по возвращеніи Гоголя домой, Прокоповичъ съ торжествующимъ видомъ поднесъ ему сейчасъ только присланный

<sup>1)</sup> Въ числѣ негодующихъ былъ и прежній начальникъ и доброжелатель Гоголя, В. И. Панаевъ, который, какъ романтикъ, не могъ простить ему теперь его неприкрашенный реализмъ и находилъ «Ревизора» «безобразной карикатурой на администрацію Россіи», а по выходѣ въ свѣтъ «Мертвыхъ душъ», говорилъ, что «Гоголю надо запретить писать, потому что отъ всѣхъ его сочиненій пахнетъ тѣмъ-же запахомъ, какъ отъ лакея Чичикова».

изъ типографіи экземпляръ «Ревизора», Гоголь швырнуль книгу обь полъ и воскликнулъ:

— Господи Боже! Если бы одинъ, двое ругали, ну, и Богъ съ ними, а то всѣ, всѣ!

Хотя комедію затѣмъ продолжали давать чуть не черезъ день и публика ломилась въ театръ, потому что актеры входили все болѣе въ свои роли, хотя Бѣлинскій отозвался о «Ревизорѣ» съ восторгомъ, но поднявшійся въ остальной журналистикѣ крикъ и гамъ еще болѣе раздражилъ ожесточенное самолюбіе автора. Въ своемъ «Театральномъ Разъѣздѣ» онъ удивительно ярко и мѣтко передалъ затѣмъ всѣ противорѣчивые, нелѣпые толки печати и публики, которые ему пришлось выслушать о своей геніальной комедіи.

«Пророку нѣтъ славы въ отчизнѣ», сказалъ онъ себѣ и рѣшилъ безповоротно на цѣлые годы, если не навсегда, покинуть Россію; благо, и доктора настоятельно посыпали его на заграничныя воды, чтобы возстановить его сильно пошатнувшееся здоровье. Другъ дѣтства Данилевскій долженъ былъ сопровождать его. Но еще до отъѣзда онъ могъ убѣдиться, что вполнѣ оцѣненъ, по крайней мѣрѣ, тѣми, мнѣніемъ которыхъ особенно дорожилъ.

Изъ великосвѣтскихъ салоновъ два были ему давно уже открыты: Карамзиной и донны Sol (вышедшей между тѣмъ за нѣкоего Смирнова, впослѣдствіи губернатора). И тамъ и здѣсь собирался «ковчегъ Арзамаса»; но Карамзина говорила со своими гостями не иначе, какъ по-французски, и только мужчины позволяли себѣ какъ-бы контрабандой переговариваться между собою по-русски. Поэтому Гоголю было тамъ не по себѣ. Въ домѣ Россетъ-Смирновой, напротивъ, и по выходѣ ея замужъ, онъ былъ своимъ человѣкомъ: приходилъ когда угодно, а не заставая дома хозяевъ, шутилъ со старушкой-горничной Марьей Савельевной, большой его почитательницей, которая, бывало, во время его чтенія, подавая гостямъ чай, умилялась до слезъ Пульхеріей Ивановой.

Разъ уже онъ читалъ своего «Тараса Бульбу» у Смир-

новой. Теперь, когда его отъездъ былъ окончательно рѣшенъ, Александра Осиповна потребовала, чтобы онъ прочелъ его у нея еще разъ, притомъ всѣ разговоры дѣйствующихъ лицъ—по-малороссійски, какъ подобаетъ родинѣ Тараса. Присутствовать при чтеніи былъ приглашеннъ самый тѣсный кружокъ настоящихъ знатоковъ: Пушкинъ, Жуковскій, Вяземскій, Плетневъ и Мятлевъ, а не изъ литераторовъ—одинъ только хозяинъ, Николай Михайловичъ Смирновъ. Александра Осиповна была очень довольна, когда жена Пушкина, которой нельзя было обойти, сама уклонилась прибыть подъ предлогомъ, что обѣщалась уже ранѣе съ сестрами быть у своей тетушки Есаве.

Гости прибыли уже къ обѣду, который прошелъ очень оживленно. Послѣ обѣда курящіе удалились въ билліардную, а двое некурящихъ—Плетневъ и Гоголь—остались съ молодой хозяйкой. Прощаясь съ родиной надолго, Гоголь былъ въ грустномъ настроеніи, самъ навелъ разговоръ на своихъ родныхъ и съ особенно нѣжностью отозвался о матери и маленькихъ сестрахъ.

По возвращеніи курящихъ въ гостиную, началось чтеніе, которое прерывалось только два раза: для чая и для ужина. Во время перерывовъ рѣчь вращалась также почти исключительно около прочитанного.

— Это—цѣлая эпопея,—говорилъ Пушкинъ,—въ которой можно было бы найти матеріалъ для прекрасной драмы. Актъ первый: пріѣздъ сыновей и прощаніе съ матерью—двѣ прелестныя сцены по контрасту радости и горя. Актъ второй: объясненіе Андрія съ его красавицей-полячкой и гнѣвъ Тараса. Актъ третій—безподобный: совѣтъ казаковъ. Актъ четвертый: послѣднее прощаніе Андрія съ его польской Джульеттой (въ повѣсти этой сцены нѣтъ, но въ драмѣ она нужна) и пытка Остапа. «Батько! гдѣ ты? слышишь ли ты все?» Этотъ крикъ, въ которомъ заразъ сказываются и казакъ и сынъ, просто великолѣпенъ! Что касается, наконецъ, пятаго акта, то изобразить передъ зрителями воочию рядъ убийствъ немыслимо; поэтому этотъ актъ слѣдовало бы возможно сократить, заста-

вивъ Тараса возвѣстить о катастрофѣ своей женѣ и взбунтовать казаковъ своею пламенною рѣчью.

— Чѣдѣ бы вамъ, Александръ Сергеевичъ, написать драму «Тарасть»! — воскликнулъ Гоголь. — Вы сдѣлали бы это пошекспировски!

— Сюжетъ шекспировскій, правда, но сдѣлать изъ него драму — дѣло автора.

По окончаніи чтенія Пушкинъ вскочилъ съ мѣста, схватилъ Гоголя обѣими руками за голову и поцѣловалъ его въ лобъ.

— Пиши, голубчикъ, пиши! Все, что есть въ этой головѣ, должно вылиться изъ нея. Ты увидишь теперь, чѣдѣ создалъ Западъ въ мірѣ искусства; ты уже понялъ искусство: твои статьи о немъ это доказываютъ. О, какъ я тебѣ завидую, что ты можешь путешествовать! Съ Богомъ же! Пиши, думай, работай, не заглушай ничего: ни ума, ни сердца, ни воображенья, ни души...

Это было напутственное благословеніе геніального учителя геніальному ученику, формальный дипломъ на «мастера», запечатлѣнныи торжественнымъ поцѣлуемъ въ присутствіи другихъ представителей русской литературы.

Наканунѣ самаго отѣзда Гоголя Пушкинъ просидѣлъ у него опять всю ночь напролетъ — въ послѣдній разъ передъ вѣчной разлукой...

Двѣ недѣли спустя Гоголь писалъ изъ Гамбурга Жуковскому:

«Клянусь, я что-то сдѣлаю, чего не дѣлаетъ обыкновенный человѣкъ. Львиную силу чувствую въ душѣ своей и замѣтно слышу переходъ свой изъ дѣтства, проведенного въ школьныхъ занятіяхъ, въ юношескій возрастъ. Въ самомъ дѣлѣ, если разсмотрѣть строго и справедливо, чѣдѣ такое все написанное мною до сихъ поръ? Мне кажется, какъ будто я разворачиваю давнюю тетрадь ученика, въ которой на одной страницѣ видно нерадѣніе и лѣни, на другой — нетерпѣніе и послѣшность, робкая, дрожащая рука начинающаго и смѣлая за-

машка шалуна, вмѣсто буквъ выводящая крючки, за которые бьють по рукамъ. Изрѣдка можетъ быть выберется страница, за которую похвалить развѣ учитель, провидящій въ нихъ зародышъ будущаго. Пора, пора, наконецъ, заняться дѣломъ»...

И самъ онъ, наконецъ, понялъ, что ученическіе годы его пришли къ концу.





## Э П И Л О Г Ъ.

**Ч**то можетъ сказать, какъ развернулся бы еще гений Гоголя, останься живъ его главный руководитель и вдохновитель—Пушкинъ?! Вотъ какъ самъ Гоголь оплакивалъ смерть Пушкина (въ письмѣ къ Погодину отъ 30 марта 1837 г.):

«Моя утрата всѣхъ больше. Ты скорбишь какъ русскій, какъ писатель, а я... я и сotой доли не могу выразить своей скорби. Моя жизнь, мое высшее наслажденіе умерло съ нимъ. Свѣтлые минуты моей жизни были минуты, въ которыхъ я творилъ. Когда я творилъ, я видѣлъ передъ собою только Пушкина. Ничто мнѣ было всѣ толки, я плевалъ на презрѣнную чернь, мнѣ дорого было его вѣчное и непреложное слово. Ничего не предпринималъ, ничего не писалъ я безъ его совѣта. Все, что есть у меня хорошаго, всѣмъ этими я обязанъ ему. И теперешній трудъ мой (*«Мертвые души»*) есть его созданіе. Онъ взялъ съ меня клятву, чтобы я писалъ, и ни одна строка его (т.-е. труда) не писалась безъ того, чтобы онъ не являлся въ то время очамъ моимъ. Я тѣшилъ себя мыслью, какъ будетъ доволенъ онъ, угадывалъ, что будетъ нравиться ему, и это было моимъ высшемъ и первою наградою. Теперь этой награды нѣть впереди! Чѣдъ трудъ мой? Чѣдъ теперь жизнь моя?»...

Тѣмъ не менѣе, онъ продолжалъ свои *«Мертвые души»*, и первая часть ихъ вполнѣ удалась. Но объясненіе этому даютъ слѣдующія строки, написанныя два года спустя:

«Я долженъ продолжать мною начатый большой трудъ, который писать взялъ съ меня слово Пушкинъ, котораго мысль есть его созданіе и который обратился для меня съ этихъ поръ въ священное завѣщаніе».

Шаръ, приведенный въ движение постороннею силой, продолжаетъ еще катиться, хотя бы толкавшая его сила прекратила свое дѣйствіе. Такъ и вліяніе Пушкина еще послѣ его смерти нѣкоторое время продолжалось. Отъ природы слабое здравье Гоголя было въ корнѣ подорвано еще въ Петербургѣ; кончина Пушкина нанесла ему послѣдній рѣшительный ударъ. Вмѣстѣ съ тѣломъ подвергся постепенному разстройству, или, точнѣе сказать, вырожденію и духовный міръ Гоголя. Прослѣдить всѣ фазисы этого болѣзненнаго процесса—дѣло уже не бѣллетриста, а психолога и психіатра.

Въ 1842 г., когда вся образованная Россія зачитывалась сейчасъ только вышедшими въ свѣтъ первымъ томомъ «Мертвыхъ душъ», въ которыхъ, по выражению Бѣлинскаго, «авторъ сдѣлалъ такой великий шагъ, что все, доселѣ имъ написанное, кажется слабымъ и блѣднымъ»,—въ это самое время 33-хъ-лѣтній Гоголь видѣлъ уже для себя «высшимъ удѣломъ на свѣтѣ—званіе монаха». Хотя онъ и протянулъ еще послѣ того 10 лѣтъ, но ничѣмъ уже не обогатилъ русской литературы. Не совладавъ съ поставленной себѣ во второй части «Мертвыхъ душъ» задачей—показать и положительныя стороны русскаго человѣка, отрицательныя стороны котораго были очерчены имъ въ первой части съ такимъ не-подражаемымъ мастерствомъ,—онъ предалъ эту неудачную работу въ 1845 г. огню; а въ слѣдующемъ году, отрекаясь отъ всего, чѣмъ было имъ до тѣхъ поръ написано, рѣшился выступить проповѣдникомъ высшей морали, учителемъ и пророкомъ русскаго общества, не будучи въ дѣйствительности къ тому подготовленнымъ ни по своему образованію, ни по складу ума. Его «Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями», вмѣсто ожидаемаго имъ благоговѣйнаго восторга, возбудили въ одной части общества, болѣе впечатлительной, представителемъ

которой являлся Бълинский, бурю негодованія, въ другой же—глубокое сожалѣніе о пережившемъ себя, погибшемъ геніи. Въ февралѣ 1852 г. Гоголь, въ припадкѣ ипохондрии, вторично сжегъ 11 окончательно отдѣленныхъ главъ второй части «Мертвыхъ душъ» (5 главъ въ черновомъ видѣ совершенно случайно уцѣлѣли), а 21 февраля самого его не стало. Всего болѣе сокрушались о безвременной кончинѣ его,—не какъ писателя, а какъ человѣка,—два лица, ближе другихъ стоявшія къ нему въ жизни: мать и вѣрный слуга Якимъ, пережившіе его—первая на 16 лѣтъ, а послѣдній на 33 года.

Въ заключеніе намъ остается сказать нѣсколько словъ о самомъ творчествѣ Гоголя и о мѣстѣ этого писателя въ исторіи русской литературы.

Свое истинное призваніе Гоголь созналъ довольно поздно. Еще на школьній скамьѣ, «съ самыхъ лѣтъ почти непониманія» (по собственнымъ его словамъ въ письмѣ къ П. П. Косяровскому отъ 3 октября 1827 г.), онъ «пламенѣлъ неутасимою ревностью сдѣлать жизнь свою нужной для блага государства... быть въ мірѣ и не означить своего существованія—это было для него ужасно». Особенно его прельщала судебная карьера, потому что «неправосудіе, величайшее въ свѣтѣ несчастіе, болѣе всего разрывало его сердце». Но бывший министръ юстиціи Трощинскій, при посредствѣ котораго онъ разсчитывалъ пробить себѣ дорогу на намѣченномъ по-прищѣ, умеръ почти тотчасъ по прибытіи Гоголя въ Петербургъ, а другой влиятельной протекціи у него не имѣлось. Сатирической жилкѣ, которая пробивалась у него еще въ отрочествѣ, самъ онъ не придавалъ сколько-нибудь серьезнаго значенія. Иное дѣло—высокая поэзія; не она ли та область, въ которой ему суждено «означить свое существованіе»? Но первая же попытка его въ этой области съ «Ганцомъ Кюхельгарденомъ» претерпѣваетъ полную неудачу. Съ отчаяньемъ въ сердцѣ, ради хлѣба насущнаго, приходится волей-неволей надѣять «чиновничій хомутъ». Чтобы скрасить сѣрую жизнь «канцелярскаго», онъ принимается пересказывать

на свой ладъ старинныя повѣрья родной Украины. Но и тутъ, даже пристроивъ свою первую прозаическую «быль»—«Вечеръ наканунѣ Ивана Купала» въ «Отечественныхъ Запискахъ», онъ еще далеко не увѣренъ, что вышелъ на свою настоящую дорогу. Онъ пытается попасть на императорскую сцену; онъ дѣлается педагогомъ, добивается профес-сурь, ищетъ лавровъ исторіографа—даже тогда, когда Пушкинъ и Жуковскій привѣтствуютъ уже въ немъ достойнаго литературнаго собрата. Только написавъ «Ревизора», онъ, кажется, окончательно освоился съ мыслью, что единственное для него поле «службы» на благо родины—литература. Ожесточенные и безмысленные нападки невѣжественнаго большинства на его безподобную комедію, при безусловномъ одобреніи ея истинными цѣнителями, еще болѣе укрѣпили въ немъ вѣру въ свои «авторскія» обязанности.

«Все, что ни дѣлалось со мною,—говорилъ онъ въ маѣ 1836 г.,—все было спасительно для меня. Всѣ оскорблѣнія, всѣ непріятности посыпались мнѣ высокимъ Провидѣніемъ на мое воспитаніе, и нынѣ я чувствую, что неземная воля направляетъ путь мой».

Яснѣе еще взглядъ его на возложенную на него свыше задачу выразился въ «Авторской Исповѣди»: «Творя твореніе свое, онъ (авторъ) исполняетъ именно тотъ долгъ, для котораго онъ призванъ на землю, для котораго именно даны ему способности и силы, и, исполняя его, онъ служитъ въ то-же самое время такъ-же государству своему, какъ бы онъ дѣйствительно находился на государственной службѣ. Какъ только я почувствовалъ, что на поприщѣ писателя могу сослужить также службу государственную, я бросилъ все...»

Еще подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ вынесенной имъ журнальной браны за «Ревизора», онъ въ «Театральномъ Разъѣздѣ» разъясняетъ настоящее значеніе своего «холоднаго смѣха»:

«Во глубинѣ холоднаго смѣха могутъ отыскаться горячія искры вѣчной, могучей любви. И почему знать, можетъ-быть,

будеть признано потомъ всѣми, что въ силу тѣхъ-же законовъ, почему гордый и сильный человѣкъ является ничтожнымъ и слабымъ въ несчастіи, а слабый возрастаетъ, какъ исполинъ, среди бѣдъ, въ силу тѣхъ-же самыхъ законовъ, кто льетъ часто душевныя, глубокія слезы, тотъ, кажется, болѣе всѣхъ смѣется на свѣтѣ!»

Но гдѣ же ключъ къ такому направленію его поэтическаго творчества? Самъ Гоголь даетъ намъ его въ слѣдующемъ своемъ признаніи (въ «Перепискѣ съ друзьями»):

«Никто изъ читателей моихъ не зналъ, что, смѣясь надъ моими героями, онъ смѣялся надо мною. Во мнѣ не было какого-нибудь одного слишкомъ сильнаго порока, какъ не было также никакой картииной добродѣтели, но зато, вместо того, во мнѣ заключалось собраніе всѣхъ возможныхъ недостатковъ, каждого понемногу... По мѣрѣ того, какъ они стали открываться, чуднымъ высшимъ внушенiemъ усиливалось во мнѣ желаніе избавляться отъ нихъ... Съ этихъ поръ я сталъ надѣлять своихъ героевъ, сверхъ ихъ собственныхъ недостатковъ, моими собственными. Вотъ какъ это дѣжалось: взявши дурное свойство свое, я преслѣдовалъ его въ другомъ званіи и на другомъ поприщѣ, старался себѣ изобразить его въ видѣ смертельный врага, нанесшаго мнѣ самое чувствительное оскорблѣніе, преслѣдовалъ его злобою, насмѣшкою и всѣмъ, чѣмъ ни попало...»

Съ своей стороны мы должны къ этому добавить, что Гоголь, не обладая ни глубокимъ философскимъ умомъ, ни систематическими научными познаніями, былъ одаренъ изумительною наблюдательностью, особенно въ отношеніи пошлыхъ, отрицательныхъ сторонъ жизни, рѣдкою способностью—изъ собранныхъ матеріаловъ создавать живые типы и необычайнымъ поэтическимъ талантомъ,—безъ чего его произведенія, конечно, не имѣли бы и сотой доли своего значенія. Бѣлинский, этотъ компетентнѣйший литературный судья, восторженно привѣтствовавшій въ Гоголя новое направленіе въ русской литературѣ, такъ очерчиваетъ его совершенно своеобразный талантъ:

«Если Гоголь часто и съ умысломъ подшучиваетъ надъ своими героями, то безъ злобы, безъ ненависти; онъ понимаетъ ихъ ничтожность, но не сердится на нее; онъ даже какъ-будто любуется ею, какъ любуется взрослый человѣкъ на игры дѣтей, которая для него смѣшны своею наивностью, но которыхъ онъ не имѣть желанія раздѣлить. Но, тѣмъ не менѣе, это все-таки юморъ, ибо не щадить ничтожества, не скрываетъ и не скрашивается его безобразія, ибо, плѣня изображеніемъ этого ничтожества, возбуждаетъ къ нему отвращеніе... Заставить насъ принять живѣйшее участіе въ ссорѣ Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ, насыщить насъ до слезъ глупостями, ничтожностью и юродствомъ этихъ живыхъ пасквилей на человѣчество—это удивительно; но заставить насъ потомъ пожалѣть объ этихъ идиотахъ, пожалѣть отъ всей души, заставить насъ разстаться съ ними съ какимъ-то глубоко-грустнымъ чувствомъ, заставить насъ восхлиknуть вмѣстѣ съ собою: «Скучно на этомъ свѣтѣ, господа!» —вотъ, вотъ оно, то божественное искусство, которое называется творчествомъ, вотъ онъ, тотъ художническій талантъ, для котораго гдѣ жизнь, тамъ и поэзія!

«И таковы всѣ его повѣсти: сначала смѣшно, потомъ грустно. И такова жизнь наша: сначала смѣшно, потомъ грустно! Сколько тутъ поэзіи, сколько философіи, сколько истины!..

«Онъ всегда одинаковъ, никогда не измѣняетъ себѣ, даже и въ такомъ случаѣ, когда увлекается поэзіею описываемаго имъ предмета. Доказательствомъ этого можетъ служить «Тарасъ Бульба», эта дивная эпопея, написанная кистью смѣлою и широкою, этотъ рѣзкій очеркъ героической жизни младенчествующаго народа, эта огромная картина въ тѣсныхъ рамкахъ, достойная Гомера.

«Послѣ «Горя отъ ума» я не знаю ничего на русскомъ языкѣ, что бы отличалось такою чистѣйшею нравственностью и что бы могло имѣть сильнѣйшее и благодѣтельнѣйшее влияніе на нравы, какъ повѣсти Гоголя.

«Я забылъ еще объ одномъ достоинствѣ его произведеній:

это лиризмъ, которымъ проникнуты его описанія такихъ предметовъ, которыми онъ увлекается. Описываетъ ли онъ бѣдную матерь, это существо высокое и страждущее, это воплощеніе святого чувства любви,—сколько тоски, грусти и любви въ его описаніи! Описываетъ ли онъ юную красоту,—сколько упоенія, восторга въ его описаніи! Описываетъ ли онъ красоту своей родной, своей возлюбленной Малороссіи, — это сынъ, ласкающійся къ обожаемой матери! Помните ли вы его описание безбрежныхъ степей днѣпровскихъ? Какая широкая, размашистая кисть! Какой разгуль чувства! Какая роскошь и простота въ этомъ описаніи! Чортъ васъ возьми, степи, какъ вы хороши у Гоголя!..»

Все это было высказано нашимъ знаменитымъ критикомъ еще по поводу «Миргорода». Въ 1840 г., въ большой критической статьѣ о «Горѣ отъ ума», подробно разбирая Гоголевскаго «Ревизора», онъ отозвался, что въ этой комедіи «нѣть сценъ лучшихъ, потому что нѣть худшихъ, но всѣ превосходны, какъ необходимыя части, художественно образующія собою единое цѣлое».

При выходѣ же въ 1842 г. «Мертвыхъ душъ», Бѣлинскій, указавъ на то, что со смертью Пушкина и Лермонтова «какое-то апатическое уныніе овладѣло литературою», заливалъ, что «вдругъ, словно освѣжительный блескъ молниі среди томительной и тлетворной духоты и засухи, является твореніе чисто-русское, національное, выхваченное изъ тайника народной жизни, столько же истинное, сколько и патріотическое, безпощадно сдергивающее покровъ съ дѣйствительности и дышащее страстью, нервистою, кровною любовію къ плодовитому зерну русской жизни; твореніе необъятно художественное по концепціи и выполненію, по характерамъ дѣйствующихъ лицъ и подробностямъ русского быта, и, въ то же время, глубокое по мысли, соціальное, общественное и историческое...»

Крѣпостное право съ его живыми и мертвыми душами отошло уже для современного поколѣнія чуть не въ область преданія, но выведенные Гоголемъ человѣческие типы попреж-

нему живы, будя въ насть совѣсть и доставляя намъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, неизсякаемое грустное веселье и эстетическое наслажденіе. Гоголь первый изъ нашихъ прозаиковъ заглянулъ въ самую глубину души русскаго человѣка и съ добродушнымъ юморомъ выставилъ передъ нами во всей неприглядности наши коренные нравственные недостатки, въ большей или меньшей степени свойственные всему роду человѣческому. Поэтому Гоголь былъ, есть и будетъ постояннымъ воспитателемъ человѣчества, по преимуществу же русскаго человѣка и, следовательно, по полному праву можетъ почитаться родоначальникомъ всей нашей позднѣйшей «трезвой» литературной прозы, такъ какъ «Капитанская дочка», это лучшее прозаическое произведеніе Пушкина, главы нашей литературной поэзіи, появилась въ свѣтѣ только въ 1836 г., одновременно съ «Ревизоромъ», когда «Вечера на хуторѣ» и «Миргородъ» прославили уже Гоголя, какъ неподражаемаго рассказчика и юмориста. Благодаря Пушкину, русское общество сознalo наконецъ всю важность письменной рѣчи, какъ искусства, для нравственнаго подъема народа; Гоголь же, воплотивъ это искусство въ самыхъ наглядныхъ образахъ, выхваченныхъ прямо изъ жизни, довершилъ дѣло своего учителя-поэта и блестяще выполнилъ такимъ образомъ свое земное призваніе, кратко и краснорѣчиво выраженное въ стихѣ пророка Йереміи, начертанномъ на его могильномъ камнѣ:

«Горькимъ словомъ моимъ посмѣюся».





### Могила Н. В. Гоголя

На кладбищѣ Данилова монастыря въ Москвѣ.



## П Е Р Е Ч Е Н Ъ

главнѣйшихъ источниковъ, послужившихъ матеріаломъ  
для трилогіи «Ученническіе годы Гоголя».

---

- 1) «Сочиненія Н. В. Гоголя», изд. 10-ое, подъ редакцією проф. *H. C. Тихонравова* и *B. И. Шенрока*.
- 2) «Сочиненія и письма Н. В. Гоголя», изд. *P. A. Куллиша*, 1857, т. V. (Письма Гоголя 1821—1832 гг.).
- 3) «Опытъ біографіи Н. В. Гоголя» *H. M.* 1854. (Оттиски изъ «Современника», 1854, II—IV).
- 4) «Записки о жизни Н. В. Гоголя», изд. *P. A. Куллиша*, 1856, т. I.
- 5) «Матеріалы для біографіи Гоголя». *B. И. Шенрока*. 1892—1897, т. I—IV.
- 6) «Дѣтство и юность Гоголя». Біограф. очеркъ проф. *A. Кояловича*. («Московскій Сборникъ», 1887).
- 7) «Отрывокъ изъ записокъ *E. B. Быковой*, родной сестры Гоголя». («Русь», изд. Ив. Аксакова, 1885, № 26).
- 8) «Письма Н. В. Гоголя». Сообщено *B. B.* («Вѣстникъ Европы», 1896, VI).
- 9) «Хуторокъ близъ Диканки» (Васильевка). *G. П. Данилевскаго*. («Московскія Вѣдомости», 1852, № 124).
- 10) «М. И. Гоголь». Біограф. очеркъ *H. A. Бѣлозерской*. («Русская Старина», 1887, III).
- 11) «М. И. Гоголь». *H. A. Трахимовскаго*. («Русская Старина», 1888, VII).
- 12) «Отношенія Гоголя къ матери». *A. Черницкой*. («Исторический Вѣстникъ», 1889, VII).
- 13) «Очеркъ украинской драматической литературы». *Маруси К.* («Русская Сцена», 1865, VI и VII).
- 14) «Простакъ, или Хитрость женщины, перехитренная солдатомъ». Комедія въ одномъ дѣйствіи *B. A. Гоголя*. («Основа», 1862, февраль).
- 15) «Лицей князя Безбородко». Издалъ графъ Г. А. Кушелевъ-Безбородко, 1859.
- 16) «Гимназія высшихъ наукъ кн. Безбородко въ Нѣжинѣ». 1820—

1823 г.» Статья *H. A. Лавровского*. («Ізвѣстія Историко-Филологи-ческаго института князя Безбородко въ Нѣжинѣ», 1879, т. III).

17) «Гимназія высшихъ наукъ и Лицей кн. Безбородко», изд. 1881. (Описаніе Нѣжина. Учебный персоналъ и воспитанники гимназіи 1820—1828 г.г.).

18) «Гимназія высшихъ наукъ кн. Безбородко въ Нѣжинѣ, 1820—1832». Историч. очеркъ *E. B. Плтухова*. 1895.

19) «Очеркъ изъ исторіи Лицея кн. Безбородко». *H. A. Сребницкаго*, 1895.

20) «Изъ ученическихъ лѣтъ Гоголя». *P. B. Владимирова*, 1890.

21) «Воспоминанія учителя». *H. Кулжинскаго*. («Москвитянинъ», 1854, VI).

22) «Гоголь и Кукольникъ въ Нѣжинской гимназіи». *L. Мацьевича*. («Русскій Архивъ», 1877, III).

23) «Разсказы о Гоголѣ и Кукольнике» (со словъ В. И. Любича-Романовича). *M. B. Шевлякова*. («Историч. Вѣстникъ», 1892, XII).

24) «Сочиненія *H. Кукольника*», издан. 1851, VIII. («Торквато Тассо»).

25) «Нѣжинскій журналъ Н. В. Гоголя». *C. Пономарева*. («Киевская Старина», 1884, X).

26) «Очерки Константинополя». Константина Базили, 1835.

27) «Н. Я. Прокоповичъ и отношенія его къ Гоголю». *H. Гербеля*. («Современникъ», 1858, II).

28) «Воспоминанія (о Гоголѣ и Д. П. Трощинскомъ)». *C. B. Скалонъ*. («Историч. Вѣстникъ», 1891, V).

29) «Д. П. Трощинский, 1754—1829 г.г.» («Русская Старина», 1882, VI).

30) «Н. В. Гоголь въ его неизданныхъ письмахъ 1827—1828 г.г.» («Русская Старина», 1876, I).

31) «Замѣтки для біографіи Гоголя». *B. Г-ско*. («Современникъ», 1852, X).

32) «Нѣсколько чертъ для біографіи Гоголя». *Hик. Иваничкаго*. («Отеч. Записки», 1852, IV).

33) «Выправка нѣкоторыхъ біографическихъ извѣстій о Гоголѣ». *Hик. Иваничкаго*. («Отеч. Записки», 1853, II).

34) «Воспоминанія (о Гоголѣ)». *A. Стороженко*. («Отеч. Записки», 1859, IV).

35) «Новые матеріалы для біографіи Н. В. Гоголя». (Отрывки изъ писемъ и послужной списоکъ). («Русская Мысль», 1896, V).

36) «Черты изъ жизни Гоголя». *B. Пашкова*. («Берегъ», 1880, № 268).

- 37) «Попытка Гоголя». *H. Мундта*. («С.-Петербургскія Вѣдомости», 1861, № 235).
- 38) «Записки *P. A. Карагина*» (о себѣ, братѣ своемъ В. Карагинѣ, Мундѣ, кн. С. С. Гагаринѣ и Храповицкому). («Русская Старина», 1873, VII).
- 39) «Записки *P. M. Зотова*» (о князѣ С. С. Гагаринѣ и холерѣ 1831 г.). («Историческій Вѣстникъ», 1896, VIII).
- 40) «Воспоминанія *B. И. Панаева*» (о себѣ, Державинѣ, А. А. Петровскомъ и департаментѣ уѣдовъ). («Вѣстникъ Европы», 1867, III и IV).
- 41) «Л. Ф. Вистинггаузенъ, начальница Патріотического института». *P. К. Яковлевой*. («Русская Старина», 1871, III).
- 42) «Записки институтки. Преданіе о Патріотическомъ институтѣ съ 1818—1834 г. Изъ рукописей В. И. Даля». («Семейные Вечера», 1873, Январь—Апрѣль).
- 43) «Н. В. Гоголь. Служба его въ Патріотическомъ институтѣ. 1831—1835». *H. A. Бѣлозерской*. («Русская Старина», 1887, XII).
- 44) «Къ біографії Н. В. Гоголя». (Поправка къ вышеуказанной статьѣ Н. А. Бѣлозерской). *H. В. Быкова*. («Русская Старина», 1888, III).
- 45) «Выдержки изъ старой записной книжки» (о дониѣ Sol). *Kn. P. A. Вяземскаго*. («Русскій Архивъ», 1874, I).
- 46) «Къ біографії Гоголя. О дружбѣ его съ А. О. Смирновой». *A. Черницкой*. («Сѣверный Вѣстникъ», 1890, I).
- 47) «Воспоминанія» (о Гоголѣ, Пушкинѣ, Н. Н. Пушкиной и Жуковскомъ). *A. O. Смирновой*. («Русскій Архивъ», 1871).
- 48) «Записки *A. O. Смирновой*, 1895, I.
- 49) «Пушкинъ, его лицейскіе товарищи и наставники». *Я. К. Грома*. (О знакомствѣ Пушкина съ Гоголемъ, стр. 245).
- 50) «Изъ воспоминаній (о Гоголѣ, Жуковскомъ и Пушкинѣ) графа *B. A. Солонуба*». («Русскій Архивъ», 1865).
- 51) «Воспоминанія» (о Гоголѣ, Пушкинѣ, Н. Н. Пушкиной, Жуковскомъ и Плетнєвѣ) графа *B. C. Солонуба*. («Историческій Вѣстникъ», 1886, I и III).
- 52) «Пушкинъ о Гоголѣ» *E. B. П.* («Историческій Вѣстникъ» 1887, VII).
- 53) «Гоголь о Пушкинѣ» *P. L. В.* («Историческій Вѣстникъ», 1887, IV).
- 54) «Воспоминанія» (о Гоголѣ, Пушкинѣ и холерѣ 1831 г.) *M. Ф. Каменской*. («Историческій Вѣстникъ», 1894, VII).
- 55) «Письмо Гоголя къ Жуковскому» (о холерѣ 1831 г.). («Русскій Архивъ», 1871).

- 56) Письма Гоголя къ Пушкину 1831 г. («Русскій Архивъ», 1880, II).
- 57) «Воспоминанія о Пушкинѣ» (а также о Дельвигѣ, Мицкевичѣ и Крыловѣ) *A. H. Кернъ*. («Библіотека для чтенія», 1859, III).
- 58) «Сочиненія И. С. Тургенева», изд. 1884, т. X. 1) «Литературный вечеръ у П. А. Плетнева»; 2) «Гоголь» (Жуковскій и Крыловъ).
- 59) «Жизнь русскихъ дѣятелей. № 4. П. А. Плетневъ». *Д. Д. Языкова*. 1896.
- 60) «Сочиненія П. А. Плетнева». 1885, III.
- 61) «В. А. Жуковскій. 1783—1852. Столѣтняя годовщина дня его рожденія. Очеркъ и письма поэта». Сообщ. проф. *H. A. Висковатовъ*, докт. *K. K. Зейдлицъ* и акад. *Я. К. Громъ*. («Русская Старина», 1883).
- 62) «Разсказы обѣ И. А. Крыловѣ». *H. M. Колмакова*. («Русскій Архивъ», 1865).
- 63) «Материалы для біографіи Крылова» (и Гнѣдича). *B. M. Княжесвича*. («Сборникъ статей, читанныхъ въ отдѣленіи русскаго языка и словесности Имп. Академіи Наукъ». VI, 1869).
- 64) «Выдержка изъ старой записной книжки» (о Крыловѣ и Гнѣдичѣ). Князя *P. A. Вяземскаго*. («Русскій Архивъ», 1876, VI).
- 65) «Записки о моей жизни». *H. И. Грече*. 1886.
- 66) «Біографія у. Ѳ. Воейкова, его сатира «Домъ сумасшедшихъ» и «Парнасскій Адресъ-Календарь». («Русская Старина», 1874, I).
- 67) «Очеркъ жизни князя В. Ѳ. Одоевскаго». *H. Путяти*. («Русскій Архивъ», 1874, I).
- 68) Отрывокъ изъ записокъ *M. П. Погодина* о Гоголѣ. («Русскій Архивъ», 1865).
- 69) «Жизнь и труды М. П. Погодина». *H. Барсукова*, кн. II и III (литературныя, общественные и политическія события 1826—1831 г.г.), 1889—1890.
- 70) «Сборникъ Имп. Русского исторического общества». XXX, 1881. (Годы ученія Е. И. В. Наслѣдника Цесаревича Александра Николаевича).
- 71) «Историческія пѣсни малорусскаго народа», съ объясненіями *V. Антоновича* и *M. Драгоманова*. 1874, I.
- 72) «Записка о Южной Руси» (малороссійскія преданія, легенды, повѣрья, думы и пѣсни), изд. *P. Кулиша*, 1856.
- 73) «Сочиненія В. Бѣлинскаго», 1859, I, III и VI (критическія статьи о Гоголѣ).



